80 коп.

ИНДЕКС 73274

Наш современник, 1990, № 2, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК

№2 1990

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№2 1990

К 70-летию со дня рождения Федора Абрамова



Память возвращается как птица...

Статью Владимира Васильева
о творчестве Федора Абрамова читайте на стр. 155 – 169.

Фото Н. Кочнева.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

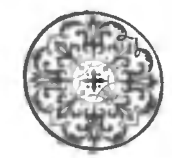
ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№ 2 1990

ИПО
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГАЗЕТА»
МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ



Технический редактор Л. Л. Ежова, Корректор М. И. Кононова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 921-43-59 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-76 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 928-32-16 (международный отдел), 200-24-32 (технический редактор), 200-23-54 (корректоры), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 13.11.89. Подписано к печати 18.01.90 г. А00806. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2 Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 19,25. Тираж 487 000 экз. Заказ 2381. Цена 80 коп.

ИПО «Литературная газета», 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



Депутатская трибуна

РОССИЯ ЖИВЕТ ХУЖЕ, ЧЕМ РАБОТАЕТ

РСФСР НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ

Минувший год, отмеченный небывалой общественной активностью, многое прояснил в расстановке политических сил. Миллионы телезрителей получили возможность сопоставить декларации членов новоизбранного союзного парламента с их реальными позициями по вопросам, от решения которых зависит судьба страны. Выяснилось, кто защищает интересы рвущихся к власти дельцов теневой экономики, кто — интересы людей труда. Кто действительно озабочен судьбой России, а кому — в пылу общественной деятельности — недосуг заняться этой проблемой. Мы считаем необходимым осмыслить этот опыт накануне выборов в Верховный Совет РСФСР. На встречу за «круглым столом», проведенную в редакции журнала, пришли депутат Верховного Совета СССР В. А. Ярин, народный депутат СССР А. С. Самсонов, член-корреспондент АН СССР И. Р. Шафаревич, доктор юридических наук Г. И. Литвинова, доктор экономических наук А. А. Сергеев, ведущий научный сотрудник Института философии АН СССР Ю. М. Бородай, публицист А. С. Салуцкий.

В. А. ЯРИН

Предстоящие выборы народных депутатов РСФСР я считаю решающими. Сегодня ни для кого не секрет, что Россия в нашем, как оказалось, отнюдь не крепком Союзе — на положении заложницы. Мы как-то и не заметили, как великая страна оказалась сырьевым придатком удивительно быстро подросших многочисленных «младших братьев». Россия сегодня теряет ежегодно миллиарды рублей на «игре цен» внешнего и внутреннего рынка. Цифры детской смертности и средней продолжительности жизни в России не хочется лишний раз приводить: они всем известны. Волосы встают дыбом от этих цифр.

С другой стороны, все разрушительные силы сейчас — окончательно оформились и консолидировались. Разрушительные процессы вот-вот примут необратимый характер. Поэтому, пока не стало поздно, мы должны отстоять честь и достоинство нашего Отечества ценой любых усилий, опираясь, прежде всего, на рабочий класс, так как именно он сегодня с наибольшей полнотой выражает интересы России и способен их защитить.

Хочу пожелать кандидатам в народные депутаты России мужества и терпения. И во время предвыборной кампании, и на съезде они столкнутся, многие — впервые в жизни — с чудовищным, хорошо организованным давлением. В ход будут идти «удары ниже пояса»: ложь прессы, ярлыки — с одной стороны; и шантаж, вплоть до анонимных угроз физической расправы — о другой. С самого начала к этому нужно быть готовым и как можно раньше научиться концентрировать внимание на позитивной работе. Все силы — спасению России.

А. А. СЕРГЕЕВ

Восемьдесят девятый год войдет в историю нашей страны как год нерядовой. Это год всестороннего кризиса советского общества. Если мы вступали в перестройку в предкризисном состоянии, то сейчас экономика находится в состоянии глубочайшего — может быть, за всю историю России — кризиса. Сто двадцать миллиардов рублей составляет дефицит государственного бюджета. Продовольственная проблема не решена и усугубляется: с прилавков исчезает даже то, что было в годы войны. Государство утрачивает контроль над денежными доходами населения, и прежде всего над распределением этих доходов между различными слоями. Государство утрачивает контроль над ценами. Государство утрачивает контроль над социальным здоровьем населения, перестает прощупывать пульс жизни.

Кризис переживает и официальная экономическая наука. Принято считать, что те экономисты, которые стоят сейчас за плечом партии, правительства и направляют руку, пишущую законы, раньше были в тени и только теперь получили возможность что-то делать. Это не так. В действительности эти ученые стоят за спиной нашего руководства с 65-го года. Но теперь их возможности оказались резко расширенными по сравнению с тем, что было раньше.

Однако если три года назад они были в зените популярности и власти, и это нашло свое выражение в итогах научно-практической конференции 86-го года, принявшей направления экономической перестройки, плоды которой мы сейчас пожинаем, то такая же конференция в ноябре 89-го года, с теми же организаторами и основными докладчиками, не приняла ничего.

В тяжелейшем кризисе находится партия. Сегодня партия уже не может позволить себе прежнее состояние, когда членским билетом мог обладать кто угодно: от анархиста до монархиста. Такая партия не может быть правящей, не может реализовать ту руководящую роль, которая записана в Конституции.

Но кроме того, 89-й год войдет в историю как год глубокого кризиса антинародных сил. Путем обмана, социальной демагогии антинародные силы прорвались в довольно большом количестве в число депутатов Верховного Совета. Но туман рассеивается, народ начинает отворачиваться от них. И, как мне кажется, минувший год характерен резким поворотом «левых» сил в сторону Запада. Видимо, это воплотится в какие-то серьезные акции и мы услышим от западных лидеров указания и советы, как нам быть. Одна американская программа уже обсуждалась всерьез на совещании экономистов с участием М. С. Горбачева 23 октября и 1 ноября 1989 года.

Я думаю, что объединение антинародных сил внутри страны с антирусскими прежде всего, антироссийскими, антисоветскими силами на Западе будет идти по самым разным направлениям. И одно из них уже можно считать реализованным. Я имею в виду отделение экономики АН СССР, газету «Московские новости» и радиостанцию «Свобода», которые выступают как одно научно-производственное объединение.

Стратегия антинародных сил в условиях кризиса состоит в том, чтобы продолжить разрушение коллективистского начала, присущего душе русского человека и окрепшего, обретшего новые грани за годы Советской власти. Что бы ни говорили сейчас о последних семидесяти годах нашей истории, развитие и укрепление коллективизма народа я считаю позитивной стороной нашего опыта. И именно на разрушение коллективистского начала, на индивидуализм в экономике и в общественной жизни делают ставки антинародные силы. Мы видим это на примере того, с каким напором внедряется идея перехода к частной собственности, на попытках сделать аренду основной формой хозяйствования и т. д.

Эта линия очень опасна. Нельзя не видеть возможности серьезных побед антинародных сил на этом пути. Возьмем забастовку в Воркуте. Там в числе требований есть ряд сугубо эгоистических. Например: продажа сверхпланового угля за валюту и использование этой валюты по своему усмотрению. Это подходит Воркуте, подходит Кузбассу, но это ставит «под нож» шахтеров Донбасса, где никакого сверхпланового угля в принципе быть не может, а речь идет о возможности закрытия шахт. Так что нам предстоит большая воспитательная и разъяснительная работа с рабочим классом, с населением в том плане, что их толкают не на выражение и отстаивание действительных, коренных интересов, а на выражение эгоистических, сиюминутных, узких интересов, которые обязательно обернутся потом непредвиденными трагедиями.

Стратегия патриотических сил, стратегия спасения должна быть направлена на отстаивание национального коллективизма. Идея интернационального коллективизма, лежавшая в основании нашей идеологии все семьдесят лет, не находит сегодня отклика ни за пределами Советского Союза, ни внутри страны. Если мы будем продолжать цепляться за нее, мы нанесем моральный ущерб русскому народу. А вот идея национального русского, великорусского, если хотите, коллективизма должна сработать.

Мы должны всерьез подумать о том, чтобы в качестве центрального лозунга предвыборной платформы к выборам в России выдвинуть идею экономической независимости России в рамках Союза. В результате неэквивалентного обмена в рамках Союза Россия ежегодно теряет около семидесяти миллиардов рублей, при общем национальном доходе всего Советского Союза 625 млрд. рублей. На российское сырье, поставляемое в Прибалтику, цены ниже примерно на сорок процентов по сравнению с мировыми.

Пришла пора нам громко, во весь голос сказать: Россия должна кормить сама себя. Прежде всего себя. Не кормить других за счет себя. Р о с с и я ж и в е т х у ж е, ч е м р а б о т а е т.

На совещании экономистов М. С. Горбачев рассказывал о том, что группа русских академиков — не экономистов, естественно, — направила ему письмо с требованием экономической независимости России. Из их выкладок следует, что если Россия выйдет из Советского Союза, она через четыре года станет самой богатой страной мира, причем даже при сокращении производства и экспорта нефти, газа.

Основным тактическим средством подъема духа национального российского коллективизма, на мой взгляд, должна стать система экстренных экономических мер, которую нужно противопоставить мерам, выдвигаемым группой «левых» экономистов. Смысл этой системы должен состоять в том, чтобы переориентировать экономическую перестройку на удовлетворение потребностей большинства населения. Сейчас 80 процентов денежных сбережений находятся в руках трех процентов населения, фактически, таким образом, правящих страной. И все те меры, которые предлагают популярные экономисты, направлены на дальнейшее обогащение этих людей за счет остальных. Нужна денежная реформа, необходимо введение прогрессивного налога на наследство с освобождением от налога минимальных наследств (жилого дома в деревне, папиной потрепанной машины и т. д.). В 85-м году М. С. Горбачев обещал ввести такой налог. А теперь Абалкин говорит, что для этого у нас нет концепции. Если нет концепции прогрессивного налога — в этом случае как раз не помешало бы поучиться у Запада.

Нужно дать рабочим заработать. Нельзя думать, что можно сделать перестройку без рабочего класса. По выборочным обследованиям, проведенным в нескольких областях, за годы перестройки двенадцати процентам рабочих снижены тарифные разряды. Нужно обещать рабочим, что в течение хотя бы ближайших двух лет не будут снижаться тарифные разряды, не будут снижаться расценки, не будут повышаться нормы выработки. Пусть рабочий зарабатывает и получает пропорционально тому, что он сделал.

И последнее. Всенародная война с теневой экономикой. Я должен сказать, что нас уводят от существа проблемы, ограничивая борьбой с кооперативами. Весь оборот кооперативов в прошлом году составил 6 млрд. рублей, тогда как оборот теневой экономики, по оценкам разных специалистов, от 150 до 350 млрд. рублей. Для сравнения скажу, что в е с ь капитал колумбийской наркомафии составит не более трехсот миллиардов рублей. Капитал нашей мафии, опять же по различным выкладкам, приближается к триллиону. При этом все основные фонды нашего государства составляют около двух триллионов. Уже сейчас мафия может купить половину страны. Времени у нас нет. Либо мы «прихлопнем» теневую экономику, либо она «прихлопнет» общественную собственность, Советскую власть и русский народ заодно...

Ю. М. БОРОДАЙ

Алексей Алексеевич Сергеев сформулировал два тезиса, с которыми я категорически не согласен. Поэтому буду спорить.

Является ли то коллективистское начало, которое доктринерски внедряла партия во все сферы народной жизни, позитивной стороной советского опыта? Бóльшая часть деревни, где родилась моя мать, почти нагишом сбежала от партийных коллективистских экспериментов. Некоторым удалось добежать аж до Средней Азии, где я и родился в бараке. А на месте старинного хутора близ Диканьки, где веками жили предки отца моего, сейчас нет уже ничего, кроме бурьяна. Коллективизм, который внедряла партия в эпоху своего молодого задора, оказался принудительно-лагерным, крепостническим. И — хватит об этом.

Подробнее стоит поговорить о другом тезисе, он сейчас более актуален.

Алексей Алексеевич сформулировал горькую мысль о том, что партия, вместившая весь спектр идейных течений в стране — от анархистов до монархистов, — не может быть правящей. Я не могу разделить ни горьких эмоций по этому поводу, не согласен и с выводом.

Да, КПСС перестает быть партией в собственном смысле этого слова, хотя по инерции сохраняет еще элементы своей доктринальной традиционной обрядности. Переплавка ее началась в огне Великой Отечественной войны, когда в правящую организацию страны влилась масса фронтовиков, защищавших вовсе не идеал мировой революции, но свою Родину. Все мужики моих двух обширных крестьянских родов оказались на фронте, некоторые из молодых вернулись со звездочками на погонах и с партийными корочками в кармане. Как они относились к официальной партийной доктрине, я хо-

рошо знаю — эта доктрина была зарубцована на их шкурах.

Тот же процесс продолжался после войны. И сейчас партия включает в себя около 20 миллионов разномыслящих граждан, желающих проявить себя в производстве, науке, хозяйственной деятельности. Беспардонные карьеристы? И такие есть, особенно на поверхности, там, где известно что плавает.

За свободу рук деятельному труженику в нашем обществе нужно, конечно, платить — формальным участием в литургических церемониях. Сверх того давно уже ничего не требуется, если только ты — нормальный добросовестный труженик, а не метишь в высокие партвожди. В 20 — 30-х годах за членство в ВКП(б) нужно было платить кровью дальних и ближних своих. Зато после войны ситуация постепенно менялась. Соответственно изменялся и образ действия правящей партии. В начале 30-х эта партия гнала хлебные эшелоны на Запад по бросовым ценам, обрекая на лютую смерть миллионы ни в чем не повинных людей. Теперь зерно везут из Америки — и не потому, что голод, а потому, что в стране недостаток мяса. Сколько гневных слов по этому поводу выпалил публицист Черниченко! И действительно, безобразие — не может партия обеспечить страну, дотла разоренную, отечественной колбасой и маслом. Не справляется! Но ведь стоит заметить и то, что в **моральном** простом человеческом плане образ действий той свирепой партийной власти и нынешнего «неумелого» руководства несовместимы — между ними целая геологическая эпоха.

И ту, и другую структуры власти мы по сей день называем одним словом — партия, что сегодняшним демагогам позволяет делать мошенническую подмену — судить последнюю по делам первой. Вон, западные прогрессисты, поборники прав богоизбранного народа, те не путают принципиально разные вещи: партию образца 20 — 30-х годов они все дружным хором вознесли до небес. Колыму, например, полюс лютой жестокости, посещал и потом восхвалял в конгрессе сам вице-президент США Генри Уоллес. Что говорить после этого о Фейхтвангере, Шоу, Барбюсе... С середины пятидесятых годов партию, ликвидировавшую наконец свой Гулаг, дружно начали поносить на всех демократических перекрестках. И чем дальше, тем больше. Почему? Потому что переродилась? Перестала быть партией в собственном смысле этого слова олицетворением малого народа.

Термин «партия» от слова part — **часть**, то есть по исходному определению, это малая часть народа, претендующая на абсолютную власть над всем целым народным телом. На практике это, как правило, относительно монолитная, скованная дисциплиной группа интеллигентных доктринеров, пытающихся представить себя в качестве выразителей «передовых» идеалов одного из многих враждующих классов. Таковой, наряду с другими, была наша славная пролетарская партия, получившая власть над огромной страной. Она — представительница интересов самого угнетенного слоя общества. Так? Но сейчас у нас вроде бы нет уже ущемленных классов, жаждущих диктатуры во имя всеобщего рая. Всем одинаково солоно. Так не пора ли правящей организации сверхдержавы сбросить с себя узкоклассовые вериги и открыто стать выразительницей общенародных чаяний, которые, разумеется, всегда будут очень многообразными, если только какой-нибудь из новопартийных союзов с освеженной доктриной не превратит страну опять в монолитный лагерь. А таких новых, горластых, румяных и левых в стране уже предостаточно. И все они сейчас пошли в яростную атаку против шестой статьи Конституции СССР. Цель атаки ясна — легализация многопартийности, то есть завоевание возможности открытой борьбы за власть новых алчных ипостасей малого народа над народом большим. И следует признать, что шансы на успех у новых доктринеров велики, ибо главное препятствие на их пути — обновленная КПСС — вынуждена каяться смиренно перед народом за грехи истребившей друг друга старой партийной гвардии. Этой гвардии не мемориалы сооружать, от них надо бы всенародно публично отречься.

Грехи у той гвардии тяжкие. Я не хуже других знаю их перечень. Многое знал еще с детства, поэтому не довелось мне перестраивать душу свою ни в 1956-м, ни в 1985-м. И эмоциональное отношение к истории КПСС у меня однозначным было всегда — таким, каким оно становится теперь у «перестроившихся». И тем не менее, зная все это, будучи в здравом уме и твердой памяти, я голосую сейчас за сохранение шестого пункта Конституции. Почему? Потому, что мне так дороги призрачные идеалы коммунизма?

Признаюсь, к коммунизму у меня не больше симпатий, чем к любому другому «изму». Воспитанный в православных традициях, я отродясь не люблю никакой чертовщины — ни привидений, ни призраков. К тому же со временем у меня появились вполне научные основания предполагать, что любой воплощенный призрак неизбежно становится вурдалаком. Превращение в вурдалака, пожирающего народ, — роковая судьба умозрительных политических построений, прикрывающихся разноцветными рекламными щитами о демагогическими обещаниями наилучшего социально-экономического устройства. Для меня это — доказанный исторический факт. И когда партийные зазывалы начинают вновь наговаривать о новейших рецептах коллективного счастья или, наоборот, об идеалах ничем не стесненной свободы всех личностей, включая и уголовных; когда все усиленно начинают качать права, я начинаю бояться разбоя, тюрьмы и рабства, ибо история разных народов свидетельствует, что с таких воплей в многопартийных парламентских балаганах начинались все Соловки и Дахау. Вспомним «Славную революцию» в Англии, где под парламентский треп о правах человека шло массовое ограбление всех свободных крестьян с прямым обращением их в рабов. Вспомним пылкий французский Конвент со Свободой, Равенством, Братством и гекатомбами жертв якобинцев. Или младотурецкую революцию, осуществившую первый массовый геноцид XX века (истребление армян) — с пением Марсельезы и прокламациями о свободе народов. Вспомним Веймарскую республику о бешеной демагогией партий самых разных окрасок; конституцию этой республики сочиняло собрание лучших умов Европы, и совершенно законно, с соблюдением почти всех параграфов этого гениального документа в Германии родилась коричневая чума. О фрондерских думах и февральском парламентском кабаке в России стоило бы поговорить подробнее — это для всех нас сейчас особенно важная тема.

Признаюсь, лично я больше всего боюсь повторения в нашей стране Февраля 1917-го. Власть (точнее, полное безвластие) никем не контролируемого многопартийного парламентского ристалища в условиях нашей страны на данном этапе ее переходного возраста может стать лишь краткой демократической увертюрой к вооруженной гражданской войне, осложненной художествами множества новоявленных петлюр. Чем может кончиться этот хаос? Либо возрождением старого реакционного Гулага, либо, что вероятно, модернизированным освенцимом, организованным для нашего народа каким-нибудь демократическим союзом в качестве совместного предприятия с заокеанским атомным Батыем. Вопреки пословице, новый хрен может стать горше редьки.

Резкий обрыв политической традиции создает для разного рода враждующих мафиозных групп великий соблазн захвата власти «во имя идеи» на вывеске и ради шкурных интересов на практике. Но без всякой преемственности и хотя бы относительной устойчивости власти, закона, сложившихся социальных форм становится невозможным почти никакой труд, никакая созидательно-конструктивная деятельность — только борьба! Пока что устойчивость власти у нас поддерживается руководящей ролью КПСС, которая в ходе реформ и сама перестраивается — посредством выдвижения секретарей на выборные должности в Советах ставит процесс своего обновления под непосредственный контроль беспартийных масс. Вспомним, как прогорело ленинградское или киевское партруководство. И ведь это только начало. Это — путь **органической эволюции**, путь сближения традиционной партийной структуры власти со структурами народного представительства, которые тоже сейчас должны создаваться заново, практически на пустом месте — не только в виде новоизбранных Советов, но и в форме региональных крестьянских или рабочих союзов, корпоративных объединений или даже, если угодно, забастовочных комитетов. Подчеркну: все это формы **живого народного представительства**, а не доктринерские партии, рекрутирующие в свой агитаторский рядовой состав прежде всего полуобразованных люмпен-интеллигентов — честолюбивых горластых бездельников и неудачников, рвущихся к власти любой ценой. Таким в основном был состав практически всех **радикальных партий** во всех странах. Да и в партийно-парламентские генералы тоже обычно проходит особенный сорт людей. Посмотрите, из кого, например, состояли многопартийные русские думы в канун революции. Бо́льшая часть — средней руки адвокаты и публицисты, то есть люди, умеющие красно и с апломбом судить обо всем (навык чисто профессиональный) и не разбирающиеся толком ни в чем. Им судьбой предназначен путь к разрушительной революции, под топором которой большинство из них потеряет головы. В созидательной органической эволюции, нацеленной на реформу — перестройку всех тех органов и структур, которые **есть в наличии**, таким людям делать нечего. Их магнитом тянет туда, где кипят страсти, даже если подлинные мотивы этих страстей им совершенно чужды или враждебны.

Вот, в Воркуте забастовали шахтеры. И их кто-то уже подталкивает добиваться не своего кровного, а всеобщего политического запрета в стране на совмещение функций партийного секретаря с советской выборной должностью. Казалось бы, чего проще. Вам не нравится ваш партийный хозяин? Так прокатите его на советских выборах, он слетит и с партийного кресла. Чистка партаппарата теперь в ваших руках — беспрецедентная ситуация! Но кому-то совсем не того хочется — не реального проявления воли народной в конкретных живых делах. Надо заставить новорожденный парламент во главе с каким-нибудь новоявленным Керенским воевать с ЦК КПСС? А зачем? Вон Азербайджан с Арменией, можно сказать, уже воюют. Нужно еще и гражданской войны?

Новоявленные пророки соломоновой мудрости загоняют нас, как подопытных кроликов, на качели, сколоченные из трафаретных «измов». Запугивают: либо лагерный социализм, либо колониальный капитализм, как в банановой республике; либо вперед к топорам революции, либо назад к оголтелой реакции, третьего не дано — выбирай! При этом все понятия просто перенначиваются в зависимости от журналистской моды: то, что вчера еще все краснобаи славили как величайшую революцию в мире, сегодня исподтишка перекрашивается в реакцию.

> И я сжег все, чему поклонялся,
> Поклонился всему, что сжигал...

Я не вижу в такой «смене вех» никакой непоследовательности. Просто с разных сторон нам указывают два пути к одному обрыву. Для спивающегося народа, одичавшего от доктринальных глобальных и эпохальных экспериментов, что глухие застенки реакции, что крова-

вый пир революции — одинаковая катастрофа, ибо и то, и другое — новые рецидивы массового насилия.

Наша задача, — опираясь на здравый смысл, твердо идти по пути органической эволюции, по пути реформ, разгоняя туман доктринальных призраков и пресекая любой разбой — может быть, и не без жестокости, как, например, поступал реформатор Столыпин. Впрочем, уместно напомнить, что «кровавые» трибуналы Столыпина не казнили изготовителей бомб, вешали тех, кто эти бомбы бросал в людей. И помогало — унять экстремистов. Что же касается выборов, то дай бог, чтобы в Советы шли рабочие деловые люди, желающие что-то и строить, а не все ломать.

А. С. САЛУЦКИЙ

В минувшем году в нашей общественно-политической жизни активно развивались два процесса, на которые мы не обратили должного внимания. Увлекшись новыми политическими и общественными структурами, организациями, формированиями, мы как-то не заметили, что одновременно идет процесс возникновения различных новообразований в уже существующих политических структурах. Структура существует, но как бы перерождается. Сразу возникает вопрос: что это за новообразования? Доброкачественные они или злокачественные, грозящие уничтожить весь организм?

В первую очередь это касается явлений, происходящих в партии.

К примеру, на совещании у Горбачева член-корреспондент АН С. С. Алексеев начал свое выступление с заявления: «Я — социал-демократ». Казалось бы: если ты социал-демократ — выдвигай свою платформу, создавай свою партию, привлекай на свою сторону народ. Но Сергей Сергеевич Алексеев так не поступает. Он предпочитает развивать свои идеи в рамках и на базе Коммунистической партии. За этим я вижу попытку овладеть существующей структурой и, при сохранении монопартийной системы, наполнить «руководящую и направляющую силу» совсем иным смыслом, поднять новый флаг. Я бы назвал такую перспективу «венгерским вариантом» по аналогии с событиями, происшедшими в венгерской партии. Но в этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь: как только ВСРП превратилась в ВСП, первым же партийным решением было решение о роспуске низовых партийных ячеек.

Два года назад мы определенно говорили: нужна монолитность, единство. Теперь я бы подошел к этому вопросу несколько иначе: нужна определенность. «Социал-демократы» (хотя некоторые факты жизни и заявления так называемых левых радикалов заставляют предполагать, что мы в данном случае имеем дело не с социал-демократическими, а с либерально-буржуазными идеями) не должны прикрываться именем и пользоваться регалиями и силой КПСС. Они должны объявить свою собственную программу, и тогда станет ясно, пойдет за ними народ или не пойдет.

Вторая проблема, тесно связанная с первой и тоже прошедшая в минувшем году мимо нашего внимания, состоит в том, что за последнее время на политической арене появилось чрезвычайно много новых политических деятелей. Благодаря телевидению и прессе эти люди запомнились и приобрели определенную популярность. Прежде всего я имею в виду депутатов Верховного Совета, многие из которых сейчас фактически задают тон в его работе. А. Собчак, С. Алексеев — еще год назад мы ничего о них не знали. Но мало того, что они стали известны в одночасье. Алексеев, ни больше ни меньше, возглавляет сейчас комиссию по законности. А что знали о нем избиратели перед выборами? Ведь в ту пору Алексеев не проявлял свой социал-демократический взгляд. Этим людям, которых не знал народ, — может быть, не по их вине, — мы доверили решать судьбу огромной страны. Они, как говорится, с ходу стали утверждать судьбоносные законы.

Это трудно понять, как трудно понять и другое. Правильно заметил Ю. М. Бородай, что невозможно представить Толстого или Менделеева в Думе. Точно так же я не могу представить в американском конгрессе экономиста Леонтьева. Его дело — наука, а уже профессиональные политики, принимая во внимание его выкладки, принимают окончательное решение.

У нас группа экономистов выдвинула свои концепции, а затем стала государственными и политическими деятелями, которые эти концепции проталкивают и утверждают. Абалкин — заместитель Председателя Совмина. Примаков — кандидат в члены Политбюро, Попов, Шмелев, Заславская — депутаты, и всю имеющуюся в их руках законодательную, государственную, политическую власть они используют для утверждения в законах собственных концепций. Такого не снилось даже Министерству мелиорации и водного хозяйства в его лучшие времена, когда заказ, его финансирование и проектирование находились в одних руках. Никакого отношения к демократии, за которую они ратуют, это не имеет. Это можно рассматривать только как узурпацию власти.

В такой ситуации мы не можем оставаться на созерцательных позициях. В ходе кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР мы должны выступить перед народом с простыми и жизненными лозунгами, разъясняющими людям суть некоторых доминирующих сегодня экономических и политических взглядов.

Мы должны пробиться к народу через тонкую, но чрезвычайно активную и крикливую прослойку, сыгравшую громадную роль в выборах в Верховный Совет СССР, она, видимо, может сыграть такую роль и в предстоящих российских выборах. Имею в виду некоторое количество научных сотрудников и «мэнэесов» из исследовательских и проектных институтов, которые в результате несовершенства нашего хозяйственного механизма получили за годы перестройки колоссальный выигрыш в заработной плате. Н. И. Рыжков приводил цифры: премии составили до 99 месячных окладов, зарплата повысилась на 45 процентов — это огромные цифры. И они, конечно, восторженно поддерживают идеи всех этих экономистов. В массе своей это частные люди, не кооператоры, и чисто по-человечески их можно понять. Но они не понимают, что такой перекос в экономике может отправить ко дну нашу общую лодку.

Мы должны объяснить народу существо навязываемых ему идей, разоблачить ученое словоблудие, показать истинную перспективу. Возьмем один частный пример: в условиях тяжелого и все усиливающегося дефицита люди хотят введения карточек. Заславская и Попов, как говорится, подняли знамя карточной системы. Но это совсем не те карточки, которых ждут люди. В годы войны, например, одни по карточкам могли получить больше, другие меньше, но только по карточкам. Попов предлагает совершенно другое: наши — и без того очень скудные — фонды разделить пополам и 50 процентов распределять по карточкам, а 50 процентов пустить в свободную продажу по тройной и пятикратной цене. Не говоря уже о том, что через год после введения такой системы по карточкам будут распределяться лишь 30 процентов фондов, подчеркну: в условиях, когда, как сказал А. А. Сергеев, три четверти всех сбережений находятся в руках 3 процентов населения, карточная система Заславской послужит исключительно для того, чтобы это обеспеченное меньшинство могло все необходимое без нервотрепки и очередей свободно приобретать в магазинах. А основная масса народа окажется на голодном пайке, как в лагерях, на пайке, достаточном только лишь для того, чтобы просто не подохнуть с голоду. Это архибезнравственно. Меня потрясает, что эту идею поддерживает такой экономист, как О. Лацис. Предлагать такое могут лишь люди, с презрением относящиеся к народу.

И еще обратите внимание на механизм внедрения этой идеи в сознание масс. Сперва по телевидению об этом объявила Заславская. После этого Генеральный секретарь публично на совещании редакторов осудил Заславскую за то, что она подбросила вопрос о карточках и будоражит народ. Но это не мешает Попову — слово-то ведь уже произнесено! — вовсю развивать эту тему через прессу и телеэкран. И начинается планомерное внедрение этого спекулятивного лозунга: «Дайте карточки!» А под шумок — забота об этих самых трех процентах.

Патриотическая пресса обязана разъяснить все это, и в ходе предвыборной кампании особенно. Ведь людям не так легко понять, что происходит. Не все понимают, почему Собчак выступил против обсуждения постановления о жестком контроле над ценами. Контроль над ценами — это контроль над кооперацией, и им невыгодно это обсуждать.

Теперь коротко об аграрной проблеме. У меня возникло ощущение, что, подобно тому, как в тридцатые годы искусственно вызванный голод был использован для насильственной коллективизации, так и сегодня определенные политические силы хотят вызвать голод для насильственной деколлективизации, и опять народ станет жертвой политических интриг.

Я противник сталинского коллективизма, но природный коллективизм народа, традиционную общинную психологию мы должны поддерживать и отстаивать.

И еще. Если проанализировать события последнего года, убеждаешься, что сама жизнь заставляет республики становиться на путь национального суверенитета, экономической самостоятельности. Я хочу поприветствовать Грузию, Верховный Совет республики. В Грузии принят целый ряд законов — о выборах, о суверенитете, которые в создавшихся условиях, видимо, более необходимы этой республике. Если данность такова, что национальное волеизъявление небольших по численности республик изменяется очень динамично, то нет ничего худого в том, чтобы призвать Россию последовать примеру Грузии, Азербайджана, прибалтийских республик.

А. С. САМСОНОВ

Сегодня ни для кого не секрет, что главное направление экономической программы «левых радикалов» — в радикальной капитализации производственных отношений в нашем обществе. Эта экономическая программа наиболее последовательно выражается доктором экономических наук Г. Х. Поповым в «Ли-

тературной газете» в статье «О пользе неравенства». Нет смысла останавливаться на подробном разборе положений этой статьи. Нас уверяют: новые богачи — нувориши «облагодетельствуют» общество, «подтянут» бедных до более высокого уровня благосостояния. Соответствует ли это реальным намерениям нуворишей, их практике, известной по истории других государств да и старой России,—вопрос, который Г. Попов предусмотрительно оставляет открытым. Он предлагает принять на веру, что панацеей от всех бед является развитие рыночных отношений. Если эта программа будет реализована, мы окажемся в эпохе классического капитализма (которую, кстати, давно уже миновали все развитые страны) со всеми присущими ей формами жесточайшей эксплуатации меньшинством большинства. Что мешает реализовать эту программу — отсутствие у представителей этого направления реальной власти.

Какими способами действуют «левые радикалы», пытаясь захватить власть? Я не оговорился — сегодня нет никаких сомнений в том, что речь идет именно о захвате власти. Еще недавно такая постановка вопроса большинству казалась преувеличением. Во время работы первого Съезда народных депутатов, после крупного политического поражения на выборах в Верховный Совет, резкие заявления «радикалов» воспринимались как этакое легкомысленное фрондерство обиженных «представителей народа». Но сегодня на все эти слова и действия заставляет взглянуть по-иному хотя бы тот несомненный факт, что с начала работы Съезда и до сего дня, когда заканчивает свою работу вторая сессия Верховного Совета, страна не улучшила, а резко ухудшила все экономические показатели. Какова связь между этим фактом и действиями «перестроечных» радикальных союзов и межрегиональной группы? Судите сами.

«Больным местом всех руководителей до сих пор являются не люди, а вещи. Миллионы тонн угля или металла. Тысячи тракторов. Планы, проценты их выполнения. И рабочим осталось бить по этому, единственно волнующему руководителя участку. А бить тут можно было именно забастовкой, забастовка законна, если народ борется за перестройку, за переход к настоящему социализму. Забастовка неизбежна, если народ не чувствует других форм борьбы». Слова эти сказаны в разгар летней забастовки шахтеров, сказаны, как вы догадываетесь, одним из членов межрегиональной группы, и я это высказывание (далеко не единственное в этом роде) квалифицирую как прямой призыв не к борьбе за социализм, а к развалу социализма и всей страны. В дальнейшем «межрегиональщики» перешли к прямой организации политических забастовок. Достаточно вспомнить обращение «шести» перед открытием второго Съезда народных депутатов.

Лозунг «Чем хуже — тем лучше» гуляет по страницам «левой» прессы. Причем с подачи людей, в чьей наивности можно усомниться. Как будет распределена тяжесть ситуации, создавшейся в результате реализации этого лозунга, неясно разве что простакам. Хуже будет миллионам простых людей, которым зимой не хватит тех самых «тонн угля», хуже будет земледельцам, которых планируют оставить без «тысяч тракторов». Лучше — горстке политиков и экономистов, рвущихся к власти.

Подобные маневры начались не вчера. Вспомним — в первые годы перестройки предоставление хозяйственной самостоятельности предприятиям дало ощутимый рост производительности труда и других экономических показателей. Требовалось закрепить этот результат. Вместо этого госпредприятия были поставлены в неравные условия с новоявленными кооперативами, стали активно насаждаться идеи свободного рынка и свободных цен. Все это в совокупности с броской, спекулятивной рекламой западного пути развития. Результат — резкое падение всех экономических показателей.

В своем безудержном стремлении любой ценой захватить власть «левые радикалы» совершенно перестали маскироваться. Так оратор межрегиональной депутатской группы на конференции так называемого Московского объединения избирателей заявил:

«...он (депутат. — А. С.) должен точно знать, что если он будет голосовать в Верховном Совете против (очевидно, имеется в виду против платформы межрегиональной группы. — А. С.), то жить в этой стране ему потом будет трудно».

Это уже похоже на подготовку к настоящему террору, правда, пока моральному, но ведь при получении власти это может стать реальностью.

Что мы можем противопоставить всему этому на предстоящих выборах? Прежде всего зрелых и достойных кандидатов в депутаты, стоящих на социалистических позициях, из рабочего класса. Рабочие, как никто другой, устали сегодня от бесконечных обещаний улучшения положения в стране, укрепления дисциплины и правопорядка. Необходимо выступать за стабильную межнациональную обстановку в стране.

Формирование Советов народных депутатов из достойных людей дела — залог Советской власти и порядка.

Г. И. ЛИТВИНОВА

Чтобы правильно определить цели и задачи предстоящей избирательной кампании по выборам в Верховный Совет РСФСР, необходимо тщательно проанализировать итоги выборов на Съезд народных депутатов Советского Союза, причины ошибок, неудач, просчетов.

На тех выборах проиграли рабочие, крестьяне и в очень большой степени— женщины Российской Федерации. Впервые за семьдесят лет процент женщин от общего числа депутатов от территориальных округов России составил менее 2 процентов, то есть их удельный вес упал почти в двадцать раз. При этом в Средней Азии, в Закавказье, как было, так и осталось 33 процента депутатов-женщин, хотя женщины этих республик меньше заняты на производстве, чем женщины России. Последние составляют подавляющее большинство занятых на тяжелых работах, в ночных сменах, в условиях, вредных для женского организма. Таким образом, социально ущемленная группа оказалась ущемленной еще и политически.

Рабочий класс и крестьянство проиграли прежде всего на новых принципах выборов. Выборы от общественных организаций дали дополнительное преимущество интеллигенции, но не рабочим, не крестьянам.

Пресса пестрит обвинениями против рабочего класса. Т. Иванова в своей статье в «Книжном обозрении», провозгласившая Сахарова, Заславскую и других академиков «интеллектом нации», все беды списывает на рабочих: это они, дескать, виноваты во взрыве газопровода в Башкирии, это они строят плохие дома, это они производят негодные товары и еще осмеливаются где-то выступать и чего-то требовать.

Необходимо показать рабочим факты и приемы их политической дискриминации, особенно на примере группы московских депутатов, где всего один рабочий. А ущемление какой-либо социальной группы — это обязательно и ущемление национальной группы. Промышленный рабочий класс — русский, **р о с с и й с к и й**, на шестьдесят, семьдесят и даже восемьдесят процентов. По статистике, более двух третей промышленного рабочего класса составляют рабочие Российской Федерации. Это мощная сила, и мы должны помочь ей осознать свои права, в том числе права на участие в решении собственной судьбы. В этом я вижу главную задачу ближайшего времени. Но как ее выполнить?

Проблема возвращения русского национального самосознания крайне сложна. Ведь, говоря о росте национального самосознания в союзных республиках, мы выражаемся не совсем точно. Мы взращивали его все семьдесят лет, ставя многие нации в привилегированное положение. До сего дня, например, лицам коренной национальности всех республик, кроме России, ее русских областей, предоставляются преимущественные возможности социального продвижения, поступления в лучшие вузы, в аспирантуру, причем не только на территории своих республик, но и в Москве, Ленинграде, в институтах Академии наук СССР.

Теперь, когда поднимается вопрос о предоставлении равных прав русским и другим народам России, многие видят в этом покушение на свои национальные привилегии, обличают российский великодержавный шовинизм, национализм и т. д.

Я проанализировала состав депутатов от Комитета советских женщин, всего их семьдесят пять человек. От Прибалтики и Молдавии — нет ни одной работницы — только представители интеллигенции, в основном ученые. А единственная делегация, где нет ни одного научного работника, — российская (без Москвы). Имеет смысл проанализировать весь депутатский корпус — по социальному положению и по республикам.

Россия не имеет своего республиканского комитета советских женщин. Здесь есть четкая связь с малым процентом женщин-депутатов от России. Нет комитета, мало депутатов — некому защищать не только политические, но и социальные интересы женщин. А ведь здоровье женщины — это здоровье нации.

Вообще Российская Федерация должна обладать полноценной структурой общественных организаций, начиная с КПСС. Сейчас даже в этом Россия обделена. Прикрываются тем, что Ленин якобы выступал против федераций в партии. Но если республиканские ЦК не нужны — логично распустить все. Пусть будет единая партия Советского Союза. Либо созвать съезд коммунистов России, пусть сами решат, нужен самой большой республике свой ЦК или нет.

Необходимо осветить истинное положение Российской Федерации в социально-экономической системе Союза. Россия — донор, из которого качают и качают направо и налево: нефть, золото, лес. При этом население богатейшей по ресурсам республики — самое нищее в стране.

Активная тюменская группа депутатов и избирателей собрала материал о положении рабочих на севере области, которые живут в бочках, бараках, и даже там не всем хватает места. Иванов идет в ночную смену, Петров спит на его месте. Назавтра наоборот. Рядом лежит топор, волосы примерзают, так чтобы не опоздать на работу, бывает, прядь и отрубишь.

Тюменцы выдвинули идею: создать Белую книгу России, книгу трагического положения русского народа. Очень важно поддержать эту идею, собрать в сжатые сроки весь необходимый материал.

У нас мало опыта политической деятельности. В отличие от межрегиональной группы, мы не можем прибегнуть к помощи американских специалистов, которые научили бы, как вести предвыборную борьбу, как работать в парламенте, как пользоваться информацией. Но мы можем и должны объединить те силы и возможности, которыми обладаем.

Успех выборов в Верховный Совет республики зависит от деятельности республиканских средств массовой информации, которых в отличие от других не только союзных, но и автономных республик РСФСР фактически лишена. Нет у нас национального радио и телевидения, нет газет, за исключением «Литера-

турной России», выходящей всего раз в неделю. (Возьмите Каталог республиканских газет и убедитесь, что любая другая республика имеет 13—15 республиканских газет.)

Когда на осенней сессии 1989 года обсуждался законопроект о печати и средствах массовой информации, немало депутатов, блистая академическим словоблудием, отчаянно отстаивали право отдельных граждан создавать свои средства массовой информации. Совершенно ясно, что иметь свою газету, журнал, а там более радио и телевидение под силу миллионеру, а то и миллиардеру. А они, как известно, в абсолютном большинстве — матерые спекулянты, мафиози от теневой экономики, стремящиеся свою экономическую власть защитить, купив власть идеологическую и политическую.

Удивительно не только то, что среди депутатов у них нашлось много защитников, но и то, что в Верховном Совете СССР не нашлось н и о д н о г о человека, который потребовал бы предоставления крупнейшему народу — русскому и крупнейшей республике РСФСР прав и возможностей на создание собственных национальных (русских, а не русскоязычных) средств массовой информации.

Пора прекратить дискриминацию России и русских в правах на национальные средства массовой информации. И сделать это надо было давно.

Сегодня в канун выборов целесообразно русскоязычные средства массовой информации переориентировать на освещение проблем, связанных с избранием высшего органа власти РСФСР, чтобы смягчить создавшуюся дискриминацию России, русских и всех россиян.

Но стоит лишь поднять этот вопрос, обязательно сталкиваешься со множеством препятствий. Даже когда в Комитете советских женщин речь зашла о создании журнала для женщин России, посыпались возражения, что есть журналы «Советская женщина», «Работница», «Крестьянка» и нет бумаги. Но если есть «Туркменская женщина», то почему не быть «Русской женщине»? Россия — самая многонациональная республика, с самыми тяжелыми и острыми социальными и национальными проблемами, и ей нужна не русскоязычная, а именно российская пресса. Ссылки на дефицит бумаги для России неуместны: все республиканские газеты и журналы издаются на бумаге из русского леса, а для русской прессы бумаги — нет?!

Необходим российский, а не русскоязычный канал на телевидении. Говорят, чтобы решить этот вопрос, нужно несколько лет. Но нашлась же возможность открыть коммерческий канал. И российское телевидение — потребность сегодняшнего дня, без республиканской прессы и телевидения невозможна серьезная политическая деятельность на уровне Верховных Советов Федерации и страны.

И. Р. ШАФАРЕВИЧ

Каждый народ переживает в своей истории тяжелые эпохи, когда внешняя опасность (нашествие, природные бедствия) угрожает его существованию. Но гораздо болезненнее и глубже внутренний кризис, такой, как переживаемый сейчас нашей страной: есть только сознание того, что жить как прежде нельзя, но не видно ни ясной причины кризиса, ни конкретного врага. Как правило, в такие моменты наибольшим успехом пользуются крайние, радикальные проекты преодоления кризиса: они примитивнее, учитывают лишь одну сторону реальности, их легче и придумать, и внушить. Обычно яростно борются две концепции, кажущиеся на первый взгляд взаимоисключающими, но ведущие, благодаря своему схематизму, к одному концу — развалу страны.

Не составляет исключения и наше время, и сейчас громче всего говорят два таких течения. Одно из них объявляет своей целью введение у нас политической и экономической системы западного типа, причем в минимальный срок, скачкообразно («нельзя перепрыгнуть пропасть в два скачка» — любят говорить они). Конкретно предлагается допустить высокий уровень безработицы на одном полюсе и мало (или совсем не) контролировать доходы на другом, ввести политическую систему, основанную на конкуренции партий и воздействии прессы (которые будут финансироваться новым слоем владельцев капитала), широко привлекать иностранные капиталы, раздробить страну на мелкие национальные независимые образования (фактически государства) и, в качестве последней детали, — вернуться к «нормальной» продаже алкоголя. Такая программа, будучи осуществлена, создала бы социальные и национальные конфликты колоссальной остроты с неизбежным взрывом, хаосом и распадом страны. Многие уже заметили, как эти течения похожи на те, которые некогда привели к нашему трагическому Февралю семнадцатого.

Но критики часто забывают, что одна из главных причин Февраля была — упорное сопротивление переменам со стороны правящего слоя, хотя бы постепенным и медленным переменам, когда для этого еще было время. Отвращение к принципиальным реформам и боязнь

их — такова, на мой взгляд, эмоциональная основа второго из выступающих сейчас течений. Обычно его призыв: «отстаивать социалистические идеалы». Но в чем же конкретно сейчас эти идеалы заключаются? Каких только мнений не высказывалось о социалистическом укладе нашей страны: его называли «развитым», или искаженным, или «казарменным», даже «феодальным» (?!) социализмом, или утверждали, что никакого социализма у нас нет. Вряд ли можем мы извлечь нечто положительное и из черного опыта Китая или Красных Кхмеров в Камбодже. В других странах проповедуется синдикалистский социализм (анархизм), «византийский» (Индия), «исламский», «африканский» социализм. О каких же именно идеалах идет речь из этого пестрого выбора?

В таком состоянии неопределенности, да еще в один из самых кризисных, ответственных моментов нашей истории мы оказываемся втянутыми в спор: куда нам двигаться — в социализм или капитализм?

Ведь и капитализм — очень расплывчатый термин. Тем более рыночное хозяйство, частная инициатива — они прослеживаются так же далеко, как человеческая история. Их регулировал кодекс Хаммурапи, да и в нашем обществе в какой-то степени они существуют. Лучшие историки античности пишут об античном капитализме. А говоря о современности: капитализм существует и в Швеции и в Бразилии. С другой стороны, государственное регулирование, стремление к социальной справедливости играет очень большую роль во многих странах, которые мы считаем капиталистическими.

Оба наши крайние течения сходятся в одном — в догматичности, утопичности. Они не хотят дать нашей жизни развиваться самой, а подгоняют ее под абстрактную схему. В одном случае пытаясь пересадить к нам очень специфический экономический и политический уклад Западной Европы и США, сложившийся там столетиями и в результате напряженной борьбы. В другом — подгоняя жизнь под схемы ни разу себя положительно не проявившие в реальной действительности. Например, мы знаем, что в обществе «развитого социализма» началась распродажа леса, золота, газа, нефти — национального богатства не только нашего, но наших потомков. Нам будет не лучше, не хуже, если то же дело продолжат транснациональные компании — теперь под вывеской свободного общества! То есть ни там, ни там выхода нет, а есть одинаково мрачный конец.

Так не пора ли начать строить нашу жизнь, исходя из древнего римского принципа: «основной закон — благо народа»? Не опираться ни на ту, ни на другую догму, а исходить из реальных требований жизни и попытаться сочетать те принципы, которые присутствуют в любой экономике: рынок, частную инициативу и государственное регулирование — так, чтобы без катастрофы и полного разрушения провести необходимые глубокие реформы и создать стабильную, здоровую экономику.

Наиболее серьезное возражение я почувствовал в одном письме, отзыве на мою работу, опубликованную в «Новом мире». Автор обращается ко мне как к одному из критиков революционно-утопической эпохи нашей истории и пишет: «Вы очень конструктивно работаете в деструктивном направлении и, надо признать, во многом преуспели. Но что Вы получили взамен?» Раньше, говорит он, у нас была мечта о светлом будущем, ради которого мы готовы были многое терпеть, а теперь впереди — темное пятно. Претензия автора очень серьезна. То, на отсутствие чего он жалуется, на социологическом жаргоне называется «легитимацией», а попросту — смыслом жизни. Может ли целью общества (по крайней мере русского) быть просто выживание или хотя бы повышение уровня жизни? Вряд ли.

Но на самом деле задача, которая стоит перед нами, не только не мелкая, она поражает своей грандиозностью. Поколение тех, кто сейчас молод, должно за свою жизнь по крайней мере заложить основы устойчивого, здорового общества, которое сможет существовать века в согласии с природой и в котором люди смогут жить пусть материально скромной, но духовно яркой, достойной, приносящей удовлетворение жизнью. Наш современный кризис только один из аспектов кризиса общечеловеческого. Обогащение богатых народов за счет бедных, демографический взрыв, экологический кризис, терроризм — всего лишь разные признаки того, что человек потерял чувство своего места в жизни, в космосе. Наши более конкретные проблемы приводят к задаче восстановления единства человека и космоса, требующего переориентации всей системы ценностей современного человечества. Это ли не достойная задача для народа на целую историческую эпоху?

А если говорить конкретнее, то надо, чтобы реформы осуществлялись не чисто директивным путем, не на основе абстрактных схем — надо в их течении дать больший голос жизни, всем людям. Ярче всего необходимость этого видна в деревне. До сих пор начиная с вождей эпохи военного коммунизма и до Брежнева: и Сталин, и Хрущев, и Бухарин самого своего либерального периода, все исходили здесь из одного принципа — крестьянство было объектом обработки по чужому, чаще враждебному плану. То пулей, то голодом, то ссылками, то административными мерами, то планом, то налогами его куда-то тащили, не признавая его право на самостоятельную жизнь, на выбор своего пути. Да и сейчас в газетах спорят: можно ли разрешить крестьянам аренду? Да почему же не дать им самим решать этот вопрос, в каждом районе по-своему? Это и будет значить, что реформа в деревне осуществляется самой жизнью, а не путем утопически-бюрократического творчества.

И в других областях экономики сде-

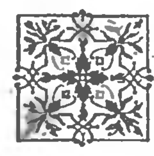
лать реформу жизненной можно, лишь передав большую часть ответственности непосредственно тем людям, которых она касается. Основное право голоса должна иметь местная власть в районах — по крайней мере в вопросах экологической безопасности, в здравоохранении и образовании, в снабжении и в производстве товаров непосредственно для населения.

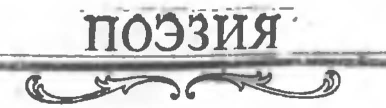
Всегда останется большой круг вопросов, которые можно решать только на более высоком уровне — областном, республиканском, общегосударственном. Влияние народа на их решение осуществляется в основном через выборы. Это значит, что выборы должны быть приближены к народу. Надо дать нам возможность голосовать не за партийные программы (хотя бы партия называлась «фронтом» или «группой»), а за человека, компетентности которого мы доверяем. Узнать же человека можно, как правило, по работе, и поэтому только система производственных округов дает возможность отразить понимание жизни народом. (Для неработающих нужно создать отдельные избирательные округа.) Часто число выбирающих одного депутата гораздо больше, чем работающих на одном предприятии, — тогда на предприятиях следует выбирать хорошо там известных людей выборщиками. Многоступенчатая система по производственному принципу дает возможность выразить интересы народа, а прямых выборов по территориальному принципу всегда добивалась партийная бюрократия всех партий в мире.

Всем нам известны «выборы» из одного депутата, да еще с обязательным голосованием — это насмешка над самим словом выбор. Западная система, при которой результаты выборов решаются массовым давлением средств информации и партийной «машиной», — замена не очень утешительная. Но те выборы, которые были недавно у нас, — гораздо хуже, ибо у нас совершенно отсутствовали разработанные на Западе ограничения, хоть в какой-то степени обеспечивающие равноправие кандидатов. Поэтому насущно необходима выработка детальных правовых норм, регулирующих избирательную кампанию. Необходим строгий общественный контроль над деньгами, которые тратятся на избирательную кампанию, над возможностями печатать обращения и листовки и т. д.

Крайних «радикалов-демократов» и «аппаратчиков-бюрократов» сближает то, что они не хотят доверить проведение реформы народу, а надеются осуществить свой ее вариант. Но лишь передав возможно большую часть решений в руки народа, мы свяжем реформу с реальностью жизни, и только тогда появится шанс на ее успех.

Материалы подготовлены
А. ПИСАРЕВЫМ и И. СТЕПАНОВЫМ.





ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ



ДОСТУПНЫ ПАМЯТИ И ВЗОРУ

Дорога в Константиново

Трава, тяжелая от пыли,
ночь в проводах жужжит,
как шмель...
А ведь Есенина убили,
не вызвав даже на дуэль!

За красоту... За синь во взгляде.
Так рвут цветы. Так мнут траву.
Его убили в Ленинграде,
где я родился и живу.

И, чтоб не мыслить о потере, —
снесли тот дом, где он затих.
Но и в фальшивом «Англетере»
витают боль его и стих.

...Вчера,
сложив печаль в котомку
и посох взяв, опоры для,
я вышел в призрачных потемках
тайком — из города — в поля,

туда, в зеленое, где птицы,
где нам глаза его цвели...
За убиенного в столицах
просить пощады у земли!

Безглагольное

Россия. Вольница. Тюрьма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
у Гумилева.

Загадка. Горе от ума.
Тюрьма народов, наций драма.
И нет могильного холма
у Мандельштама.

Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрожденье вера.
Но нет могильного холма
и... у Гомера.

Раб божий

Он сидит в своей каморке,
смотрит жалобно в окно...
Он не любит хлеб свой горький,
сам себе — не рад давно.
На запоре окна-двери,
превратил свой дом в тюрьму...
Что случилось? Он... не верит.
Ни во что. И никому!
Поступили с ним так плохо.
Кто? Родители, жена,
дети, Родина, эпоха,
вездесущий сатана?
Поступили.
Кто — не важно.
Наяву — не в страшном сне.

Тихим стал. А был — отважным.
Там, однажды — на войне.
Страшен враг.
Страшней начальство:
речи, планы... Вот и сник.
А ведь он, в своем начале,
был живым, как в горле крик!
В шифоньер, под звон регалий,
пиджачок задвинут вдаль...
Не убили. Запугали!
Мне его смертельно жаль.
Жаль сиротку, жаль былинку,
жаль себя (ведь он — во мне!),
землю жаль, народ былинный,
робкий свет в его окне.

О невернувшихся

Во здравии ума и при наличьи пульса
за хлебом-молоком с кошелкой за порог
он вышел, а назад в квартиру не вернулся.
Вознесся в никуда, воссев на ветерок.

Искали много дней. Затем полгода ждали.
Два года помнили. А там, за далью лет, —
устали вспоминать... Тем более что стали
другие исчезать, в венце иных примет.

Один пропал в горах, другой — в морской пучине,
а третий в космосе истаял без следа...
Не нужно их искать по той простой причине,
что все они теперь — вне списков — навсегда.

Они теперь — не те... Вчера, проснувшись рано,
представ пред Господом, изжитый и седой,
я вышел... из себя, как будто из чулана,
из сумрачного «я»... Чтоб стать самим собой.

Роковые радения

Нет, не где-нибудь на Кубе,
в жарких снах, а — здесь, вблизи:
дискотека в сельском клубе
в час расплаты на Руси!
...Потолок навис, копченый,
кровь проникла в голоса!
Тракторист и пять девчонок
ловят кайф, закрыв глаза...
А в дверях, как будто духи,
мук свидетели и смут —
тяжело стоят старухи:
что случилось — не поймут.
Пригляделись: вроде пляшут.
Тряска есть, ан — не с душой.

Руки наши, ноги наши,
запах наш, а дух — чужой...
Это светопреставленье!
Это сеть плетет паук.
И жужжит приспособленье,
измельчающее звук.
Забирает Вася круче:
он елозит на спине,
навзничь по полу в падучей!
Утонул... Лежит на дне.
На мгновенье пляска стихла:
люди вышли по нужде.
Не пора ль сменить пластинку?
А иначе — быть беде.

Из цикла «Кресты»

1. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

На синем небе — золото крестов,
как на груди фельдмаршала — награды.
...Владимир, Суздаль, Муром, «маленький» Ростов, —
кольцо надежд? Нет, горький путь утраты.

Киоск смиренья. Лавочка скорбей.
Шуршит турист заморскою подошвой.
Кресты вернули, чтоб залетных голубей
кормить с ладони пищею вельможной.

Автобус красный в пыльном серебре.
Внутри — фигурка, в глубине салона:
она не вышла... Слишком шумно на дворе,
как на библейских плитах Вавилона.

2. «КРЕСТЫ»

На невском берегу торчит сия твердыня.
Багров ее кирпич и камеры глухи.
Коль мимо прохожу, то кровь в сосудах стынет...
Мать-мачеха вдоль стен и чахнут лопухи.

Известна всей стране ее архитектура:
крестами корпуса... В глазницах — сталь ресниц.
Российская тюрьма должна смотреться хмуро,
чтоб всякий, кто взглянул, бежал ее границ.

На той же стороне, на побережье впалом —
еще одна тюрьма, но смотрится светлей:
над нею купола святых Петра и Павла!
Как будто волнорез судьбы России всей.

Луч шпиля на заре собой являет чудо.
И ангел держит крест, как некий смысл живой...
А в сумрачных «Крестах» есть камера, откуда
крест виден из окна... В трехсотой, угловой.

3. РУССКИЕ КРЕСТЫ

Церквушка сельская. Погост.
Еще недавно — повсеместно —
от пирамид и ржавых звезд
крестам российским было тесно.

Побесновались у черты,
теперь — назад! —
от тьмы и вздора.

Опять на кладбищах кресты
доступны памяти и взору.

Кто тяжкий жребий нам явил:
путь возвращенья в стан спасенных
начать отсчитывать... с могил,
безверьем века осененных?

* * *

...Возвратить поглощенное.
Н. Ф. Федоров.

Всего нагляднее — в апреле,
когда из-под одежд зимы
трава — в сиянии и в теле —
в мир возвращается из тьмы.

Так в сердце — на исходе жизни —
в сию копилку снов, гробов,
в трещиноватую от истин
вдруг возвращается... любовь!

Так на забытую могилу
Цветаевой, где мгла и мох,
второй, надживненною силой
слетает славы поздний вздох.

...Блажен,
кто верит в «небылицы» —
в бессмертье душ, в Святую Русь,
кто, распадаясь на частицы,
с улыбкой мыслит: я — вернусь!

Кто чрез смертельные границы
плывет, как журавлиный клик...
С чьей опаленной плащаницы
к нам проступает Божий лик.

Прелестное слово

Не знаю, какая причина
тому, что из многих одно —
крестьянское слово кручина —
волнует меня, как вино.

Неужто все дело в напеве,
когда сочинитель земной
кручину по лапушке-деве
сравнил с подколодной змеей?

Что было той музыке пищей?
Реки сокровенный изгиб?
Застрявшее в соснах кладбище?
Иль ветра осеннего всхлип?

Причина останется песней,
крестьянского сердца мечтой...
А слово с годами прелестней,
как месяц над тихой водой.

Кручина, лучина, пучина,
крушины врачующий куст...
И слово, без явной причины,
летящее в душу из уст.

Восвояси

В тех краях живал я смолоду, —
пил вино, давил кровать...
Я вернулся в город Вологду —
в России побывать!

Каждый день расписан настрого:
храмы, клубы, монастырь...
Водят под руки брыластого,
ухарь был, а стал пузырь.

Что случилось? Дух —
размерением:
где восторги до небес?
Не боись, ответствуй... Берию
в преисподней жарит бес!

Сердце бьется планомернее,
мысль крадется, аки тать!
...Вологодская губерния,
дозволь долги отдать.

Все, что в юности, романтиком,
нахватал — вернуть готов:
неподдельных слез брильянтики,
нескушную любовь!



ПРОЗА



ЛЕОНИД БОРОДИН

ТРЕТЬЯ ПРАВДА[*]

ПОВЕСТЬ

Утром, отказавшись от чая, побитой собакой выскользнул Селиванов из дома Светличной и почти побежал к Рябинину. Там его ждала оплеуха. Сначала Иван не очень уверенно предложил Людмиле пожить еще несколько дней у него. Селиванов не обратил внимания на его слова. Но потом! Людмила сказала коротко и определенно:

— Не поеду!

Иван от радости залился краской и стал противен Селиванову до нетерпения. Он плюнул, кинул за спину мешок, ружье — за плечи и, не прощаясь, ушел. В тайгу.

В его отсутствие и случилось то самое утро, когда кто-то из деревенских, проходя тропой мимо рябининского дома, увидел на крыльце светловолосую царевну, а около крыльца — онемевшего, ошалевшего егеря...

4

Совсем стемнело, а старик Селиванов все еще сидел на колодине вблизи рябининского дома. Но вот в фигуре его наметилось какое-то движение: он фальшиво закашлялся, заохал, неохотно поднялся. И вдруг решительно, твердо направился к дому, в единственном, освобожденном от досок окне которого уже мерцала желтым светом лампа.

От того места, где когда-то была калитка, в сплошных зарослях кустарника и сорняков появилась прорубленная, вскопанная и плотно утоптанная дорожка до крыльца, тоже чуть подправленного, ровно настолько, чтобы не переломать ноги.

Селиванов постучал сначала рукой, приставив ухо к двери. Затем — рукоятью трости. Когда послышался скрип внутренней двери и шаги, он отступил на шаг и сгорбился сильней прежнего. Дверь подалась внутрь. Селиванов ахнул и отпрянул на самый край первой ступеньки. На пороге стоял седобородый старик.

— Чего? — спросил он спокойно и равнодушно.

Селиванов зашмыгал носом, делая непонятные жесты руками, но и слова не вымолвил, пораженный видом Рябинина.

— Ну?

— Не узнаешь, Иван? Это я, Ваня! — сказал он наконец тихо и взволнованно.

Рябинин смотрел спокойно, и не понять было: то ли вспоминал, то

[*] Окончание. Начало в № 1 за 1990 год.

ли не хотел вспомнить... Но вот отступил внутрь, не убирая руки с двери.

— Заходи!

Селиванов притворился, что не понял ответа, и дождался, пока тот повторил.

Он тщательно вытер ноги и прошел через сени в избу. За порогом снова пораженный замер. Посредине такой черноты стен, потолка, пола и воздуха, что даже лампа ее не рассеивала, в центре, словно принявшая в себя всю слабую силу керосинового пламени, висела или, вернее, парила икона, а лик на ней (что и привело Селиванова в онемение) был писаной копией того, кто впустил его в дом и кто был некогда Иваном Рябининым. Степень сходства могла быть и плодом воображения пораженного Селиванова, к тому же Рябинин раньше бороды не носил. Но само сходство, несомненно, было. И в черных сумерках еще неожившего дома казалось, что вокруг нет ничего, кроме лампы, висящей в черной пустоте, и двух ликов. Селиванову стало не по себе. Он вдруг перекрестился, но, не завершив креста и будто спохватившись, стал поправлять пиджак. Смущение его и суету хозяин дома заметил, но не отозвался. Он стоял возле стола, рядом с лампой и образом, словно для того, чтобы Селиванов уловил жутковатое сходство. На нем была рубаха навыпуск, перекрытая белой бородой, серебрившейся в свете лампы каждым волоском. На голове — необычный расчес волос, во всей фигуре — особый уклон плеч. Но главное — лицо. Оно было не просто спокойное, а как бы нездешнее, несущее в себе такие тайны, которых ни касаться, ни разгадывать было нельзя.

— Проходи!

Будто и не раскрыл рта Рябинин,— усы и борода скрыли движение губ, а голос как из-за спины его вышел. Селиванов трусливо крякнул и засеменил к столу, не отрывая взгляда от хозяина; наткнулся на скамью и, как слепой, нагнувшись, обшарил ее руками.

— Садись!

Селиванов покорно присел, виновато улыбаясь.

— Жив, значит!

— Да, вот... жив...— сказал он, словно сокрушаясь об этом. После паузы добавил: — И ты, Ваня!..

Имя же произнес так, будто сомневался, что перед ним действительно Иван Рябинин, его таежный друг, будто допускал возможность, что под обликом его кто-то другой объявился, кто мог бы и не признать Селиванова или знать его только понаслышке.

А Рябинин стоял прямо и так же прямо смотрел на него, теперь — сверху вниз, ни одной морщиной, ни одной черточкой лица не выдавая своих дум. Селиванов растерянно забегал глазами.

— И домишко-то... жив... — пролепетал он и совсем жалостно, по-собачьи заглянул Рябинину в глаза. Тот ничего не ответил, обошел стол и исчез в темноте дома. Селиванов и обернуться не посмел. Там, за его спиной, послышался стук посуды, что-то передвинулось, что-то открылось и захлопнулось. Потом Селиванов увидал руки Ивана, через его плечо поставившие банку тушенки и стаканы. Правая рука, чуть задержавшись на столе, через мгновение мягко легла на его плечо и пробыла ровно столько, чтобы Селиванов начал шмыгать носом.

Пальцами робко коснулся он этой руки. И было мгновение, когда все вокруг поплыло тоскливой, счастливой каруселью. Селиванов, не стыдясь, всхлипнул и тоненько сказал: «Ва-а-аня!» А когда рука друга ушла, плечо долго еще благодарно ощущало ее.

На столе уже стояли тарелки и сверкали новенькие вилки и нож, купленные день или два назад; они были точь-в-точь как в столовке зверопромхоза. Селиванов взглянул на них (не для охотников такое!) и вытащил из кармана поллитровку. Он попривык уже к сумеркам и смог рассмотреть, что все вокруг чисто и к месту прибрано. И хотя следы полного разграбления дома (куда их денешь?) вопиют о себе,

но в доме — человек, и дом оживает, даже с заколоченными ставнями (кроме одного окна), приобретает зрение и дыхание. Но сырость, запах тварей, ползающих и летающих, бродячих кошек и собак, запах земли, что подступила ко всем прогнильям пола, вместе с чадом лампадки перед иконой (Селиванов все не мог рассмотреть, как она закреплена, будто в воздухе висит) напоминали ему чье-то отпевание (может, и деда), что сохранилось с детства самой потайной памятью. И потому, когда разливал водку в стаканы, почудилось, что на поминание разливает.

Пододвинув Ивану стакан, он поднял на него глаза и взглядом спросил, можно ли ему радость свою показать и выразить лицом и словом. Иван перекрестился, без важности, а как в порядке вещей, сел на скамью напротив Селиванова, взял стакан в руку, но не поднял, а долго смотрел то ли на него, то ли сквозь. И Селиванов успел разглядеть его пальцы, будто обрубленные по половинкам ногтей, сплющенные и грубые настолько, что вроде бы и сгибаться не должны. Таежное дело — тоже грубость, но тайга так руки не уродует. Когда стаканы подняли наконец и сдвинули без тоста (Иван молчал, а Селиванов не решился) и пальцы их соприкоснулись и оказались рядом, он затрепетал перед теми годами и дорогами, которые прожил и прошел его друг. И подумалось ему, до чего ж он, Селиванов, везучий, и трижды «господи» в уме произнес без всякой конкретности, но означало это, что благодарит он судьбу свою за то, какая она есть.

Выпили, поморщились, вяло пожевали тушенку.

— Рассказывать чего, али сам все знаешь? — спросил Селиванов. И опять побоялся Ивану в глаза посмотреть. Уж, кажется, совесть его чиста была — более того, имел все основания для благодарности со стороны Ивана, а в глаза глядеть не мог по той вине, какая может быть между живым и мертвым, удачливым и неудачливым, прямым и горбатым. Но нужен был ответ Селиванову, потому взглянул Ивану в лицо и увидел в глазах тоже страх. Иван боялся услышать правду, которая, будучи незнаемой, была надеждой; и ею можно было жить всю жизнь, и даже жизнь продлить ею можно, когда каменья градом сыпятся. А правда? Она что? Она — факт! И может оказаться последним камнем на шее...

Рябинин сглотнул слюну так, что борода дернулась, и сказал глуховато, вроде и без волнения:

— Ничего не знаю. Говори. Да не шибко длинно...

Это означало, что если ничего хорошего сказать не можешь, не тяни резину. Селиванов так и понял.

— Дочка у тебя есть, Ваня, и внучок...

Снова дернулась борода Рябинина. Спокойные до того момента глаза словно напряглись изнутри — не то болью, не то радостью, не поймешь... И еще глуше спросил Иван:

— А жена, значит...

Селиванов опустил глаза, сжался плечами, пальцы забегали по краю стола.

— Давай рассказывай... налей сперва...

Выпил он, не дожидаясь Селиванова, перекрестился, словно храбрости просил у Бога, и грузно навалился локтями на стол.

— Говори, не тяни душу!

— Ну, значит...— спохватился Селиванов и отставил невыпитый стакан,— как тебя повязали, я поутру еще, до петухов, с телегой подкатил, погрузил их, вещички прихватили кое-какие... на окна да на двери — кресты, и обходом на Кедровую, а оттуда в Иркутск, к тетке моей, по отцу которая. Она еще в двенадцатом годе за фабричного вышла... Боялся я, Ваня, что Людмилу твою пометут за происхождение, как дознаются... У тетки их пристроил с дочкой, а сам — назад, разведать, за что тебя-то. Был слушок, что тебя тоже в Иркутск увезли...

— В Иркутск,— мотнул головой Иван.

— Во! Я так и сказал ей, дурья моя голова, что здесь где-то Иван, в централе, может. Она в ноги: поди, говорит, узнай, из-за меня, говорит, пострадал Ванечка! Ну а куда я пойду, ты сам теперь рассуди! Кто чего сказал бы мне? А она руки целует, иди, говорит. Ну, я по Иркутску пошлялся, вернулся, говорю: узнал, тут он, разбираются, можа, по ошибке повязали, отпустят... Ты, говорю, подожди недельку, если не отпустят, я снова пойду...

В горле у Селиванова пересохло, он прикашлянул, вспомнив про водку, почти залпом проглотил, что в стакане было, и на закуску не взглянул.

— Тут, конечно, я виноват, Ваня, и можешь ты меня казнить, как хочешь... оставил я ее у тетки и сбегал в тайгу на пару дней, дела были, пропади они пропадом, да ведь кто знать мог... Только когда в Иркутск приехал снова, Людмилы уже не было. Тетка — в страхе, дите у ней на руках в слезах... Сказала она, что идет Ваню выручать, и пропала... И все...

Иван грохнул кулаком по столу так, что Селиванов подскочил и от стола отодвинулся. Но взял себя в руки Рябинин, только глаза закрыл. И так, с закрытыми глазами, сказал:

— Дите ж должно было быть... сына ждали...

Селиванов виновато молчал.

— А дочь?

— А дочь... все в порядке, Ваня,— заговорил тот быстро и облегченно.— Вырастили! Нужды она не знала, сама тебе скажет! Выучилась она на учительницу, замуж вышла, за учителя тоже... Ничего мужик...

Последнее Селиванов проговорил не очень уверенно и, поймав вопрос в глазах Рябинина, поторопился разъяснить:

— Муж он ей хороший, ей-богу, не обижает... Шибко партийный он только, у меня с ним разговору не получалось...

— Дурак, что ли?

— Чтоб сказать дурак, оно вроде и нельзя! Сам увидишь! Людишки так вокруг все поизменялись... Жить-то полегче стало. И оно понятно! Ежели один будет пахать с утра до вечера, то другой грабить будет не успевать... Да и власть вроде в лютости поостыла, а мужик ей тут же гимну подпоет под ее ж трубы... А людишки, они теперь, окромя взаправдашних дураков, безглазые какие-то... Смотришь им в зенки, а там только большой кружочек да малый. Малый туда-сюда бегает... А жизни в ем нет! Глядишь на человека, а человека не видишь! Ему сс...шь в глаза, а он тебе про культю личности...

— Не мели! — с досадой перебил его Рябинин.— Дочь-то про меня знает?

Селиванов опять глазами забегал.

— Ты ведь, Ваня, того, враг народа... Как бы ей жить-то? Пытала она по детству, где, мол, мамка да папка... Ну, говорил, мамка, дескать, померла по болезни, а папка, ну это... пострадал, мол, безвинно.

Увидев страдание на лице Ивана и белеющий в костяшках кулак, он снова заспешил:

— Но худого слова про тебя не было, Ваня, сама тебе скажет!

— Как она скажет,— простонал Рябинин,— если не ждет меня! А если объявлюсь, каким глазом посмотрит на меня, каторжника!

— А как я ей скажу, так и посмотрит, и никак по-другому!—вдруг заносчиво вскинулся Селиванов.

— Ты?!

Селиванов смутился.

— Баловал я ее, Ваня. Любит она меня, сукиного сына! Я ж ее мехами, как королеву, разукрасил! А в Иркутск без гостинца не приезжал! Все мои стволы на ее работали! Да и я к ней прилепился сердчишком...

Тут ему показалось, что наболтал лишнего, и поторопился загладить болтовню.

— Но ты на меня ревность не имей, Ваня! Я ведь, если по правде, и сам тебя уже не ждал... А теперь я ее тебе передам, как в рамочке! Когда скажешь, и поедем! Хоть завтра. А?

— Поедем...— неуверенно ответил Иван.— Кончай банку!

Селиванов разлил по стаканам остатки.

Местный поезд мотался, дергался и будто спотыкался о каждый километровый столб. Защелка в двери купе не работала, и дверь со скрипом елозила туда-сюда. Мимо купе все время сновали люди: кто сходил, кто садился, кто бегал из вагона в вагон. И в купейном вагоне не было спасения от суеты и шума. Ягодники с горбовиками и ведрами понабились в тамбуры, и оттуда в вагон клубами шел дым и гомон с непременным матом и анекдотами.

В купе несколько раз заглядывали, но, увидев двух насупившихся стариков, проходили мимо. В соседнем купе бренчали на гитаре и орали какую-то дребедень. Все это мешало и думам и разговорам.

— Если тебе десять дали, пошто так долго был?

Рябинин смотрел в окно, ответил не сразу.

— Тяжко было. В побег ходил.

— В побег! — удивленно воскликнул Селиванов.— Так чего ж сюда не прибег?! Кто тебя здесь нашел бы?! Жил бы как царь таежный!

— Досюда добраться надо! — угрюмо ответил Рябинин.— Три раза я из лагеря уходил, и в первой же деревне вязали!

Селиванов хлопал глазами, корежась от стыда за друга.

— Да как же ты давался им? Неужто никто не уходил!

— Уходили,— вздохнул Рябинин.— Да только с кровью... А я того не хотел!

Наткнулся на непонимающий взгляд Селиванова, пояснил:

— Я себе воли за чужую жизнь не хотел! Не понять тебе...

— Точно! Не понять! Ни за что ни про что хапанули человека, загнали в загон, да чтоб за свою волю глотки не рвать — я того понять не могу! Ты уж извини, Ваня, только так вам и надо, стало быть, коли волю ценить не умеете. Хомутники!

Он раздраженно стучал ногой по полу и барабанил пальцами по столику у окна.

— А на что она, воля,— спокойно возразил Рябинин,— когда без облика человечьего останешься? Она — звериная воля получается! Я на зверей насмотрелся...

— А что полжизни в яме провел, это ты облик сохранил, да? А на что ж тогда жизнь? И на кой хрен бежал, если уйти не надеялся? Сроку себе прибавлял?

Рябинин поморщился досадливо.

— Говорю, не поймешь! Невмоготу было... Иной раз скажешь себе: нынче на все пойду! А не получалось! Из зоны уйдешь, на дороге мужика встретишь и знаешь: сейчас побежит и расскажет, и найдут по следу... А все думаешь, может, не выдаст, рожа у него человечья, а почему бы душа — нет?

Селиванов хлопнул ладонью.

— Я этого не понимаю и понимать не буду! Но вот, не в обиду будет сказано, ты в Слюдянке наперво в церковь потопал, попу ручку целовал... Бог-то, он чем тебе в яме помогал той?

— Помогал,— ответил Рябинин.— А чем, про то ничего сказать не могу... Не потому, что слов нету, а потому, что ты этих слов не знаешь.

Тот раздраженно хмыкнул.

— Не тебе он помогал, ежели он есть, а мне, и потому я своей волею жизнь прожил и никакая стерва меня с моей тропы не согнала! А ты для воли своей руки не хотел марать...

— Души, а не руки! — поправил Рябинин.— Руки — что!

— Ну, пусть души! А чего ж он тебе не помог уйти, чтоб и душу соблюсти и воли не терять?

— Не надо об этом, Андриан! — попросил Рябинин.— Ни до чего мы не договоримся! Ты свое прожил, я — свое! Чего мериться-то?..

Селиванов налег грудью на столик.

— Так ты что, жизнь свою не жалеешь, нисколько?!

— Жалею! — вздохнул Рябинин.— Но, кроме жалости, еще и другое понимаю кое-что, в другой раз поговорим... Невмоготу мне сегодня! Сам знаешь, куда еду!

Неспроста задирался Селиванов на разговор. Конечно, он был рад возвращению Рябинина, но с его возвращением что-то хрустнуло в жизни Андриана Никанорыча, и не только в жизни, но и в теле. Вдруг поясница заговорила, и ноги отяжелели, в руках — дрожь, как у алкашей совхозных. И это все сразу, почти в несколько дней. Самое худшее: вдруг потерял интерес к тайге. Неделю занимался устройством дел Ивана, дом чинил, участок приводил в порядок, обшивал и одевал друга, чтоб как все люди,— и за эти дни даже не вспомнил про тайгу. А когда вспомнил, затрясся от удивления: не тянет его туда! Тогда поступил вопреки желанию: отсрочил поездку в Иркутск (хотя до того сам торопил Ивана, никак не решавшегося показаться дочери), а сам побежал в тайгу на Гологор, где обитал последние годы. И там прихватила его простуда, чего отродясь не бывало, чтобы летом к тому ж. А и дел-то всего — ноги в болоте промочил! На третий день вернулся и провалялся у Рябинина несколько дней, так крутила и вертела его болезнь. Стыдно было перед Иваном. Когда окреп, снова побежал в тайгу, словно проверял себя. Гульнул с бичами на базе, а когда вернулся в зимовье свое, то понял: кончилась для него таежная жизнь. Отлетела тайга от души и стала где-то рядышком, особняком.

Было и другое. Иванову дочку и внучонка до недавних дней считал своими. И хоть зятя не любил, побывка в Иркутске, пусть два, пусть три раза в году, была его душе отрада. Теперь, с возвращением Ивана, кто он им? Пусто стало. Больно. Да и вся его жизнь (разве не гордился ею?) вдруг стала задавать Селиванову вопросы о себе: дескать, что она есть, к примеру, перед Ивановым Богом? Ведь если для Ивана Бог есть, а для Селиванова его нету, то Иванов-то Бог на селивановскую жизнь тоже со своей колокольни посмотреть может! И как же она ему при том покажется? Селиванов возмущался. То есть как она еще может показаться?! Кто больше сделал добра — он или Иван? Кто офицерскую девчонку спас? Кто Ивана осчастливил? Кто ему дом сохранил? А мешок денег, что накопил Селиванов за годы, они, деньги эти, на кого теперь пойдут?

А что Иван сделал за свою жизнь путного? Он вишь души марать не хотел! А при всем том у него свой Бог имеется! А чем он его заслужил?

Селиванов путался в своей обиде, словно кляча в порванной упряжке. Все годы до исчезновения Ивана он жил тайным превосходством перед ним, оно никому не шло ни во вред, ни на пользу, у Ивана ведь тоже было свое превосходство перед ним! Даже тогда, когда Иван женился на офицерской дочке, когда она, эта благородиева, не взлюбила Селиванова, когда своим розовым коготком провела царапину по их дружбе, когда появилась в доме кричащая малявка и Ивану вообще было не до него,— тогда самое главное оставалось на месте. А теперь, когда и жизнь-то уже доживается, когда Селиванов почти готов к тому, чтобы плюнуть на всякие превосходства и вздыхать одним голосом с другом, пришедшим с того света, теперь вдруг закачалась, зашаталась стволина его уважения к себе. Или другое что произошло в душе, но стала она болеть, как поясница перед непогодой...

Еще представлялось Селиванову в те годы, когда думал он о старости своей, что когда придет она (куда от нее денешься?), то будет он за свою жизнь мудростью и спокойствием души награжден, когда на все смотрится с высоты прожитого и ничто возмутить дух неспособно. Так и видел себя: с прищуром и спокойной усмешкой ко всему — к словам, делам, суете всяческой. Правда, старость не приходила, хотя года обступали так плотно, что все скучней и скучней становилось считать их. До недавних дней и вовсе не ощущал старости, а когда вдруг взглянул ей в очи, оказалось, что никакого спокойствия нет, а напротив, думы — одна больней другой, а душу скребут те чувства, которые к лицу сопляку неоперившемуся, а не ему, Селиванову, жизнь свою прожившему с понятием обо всем, что в жизни понимания достойно...

— Слышь, Ваня, заметил ты, этот ханыга с фотоаппаратом уже третий раз заглядывает? Чего это?

Рябинин равнодушно пожал плечами и не оторвался от окна, в которое смотрел или просто отвернулся, чтобы с мыслями наедине побыть.

А молодой человек в свитере не по сезону, в туристических брюках, с фотоаппаратом и большой планшеткой на боку снова заглянул в купе и на этот раз задержался в дверях, осматривая обоих стариков.

— Извините, я не помешаю вам, если сяду здесь?

— Места не закуплены! — не очень-то радушно ответил Селиванов. Но парень сел именно рядом с ним, правда, на почтительном расстоянии.

— Турист? — спросил Селиванов, не скрывая недоброй интонации.

— Художник я... У вас, кажется, был тут серьезный разговор... Я не решался помешать...

Рябинин взглянул на него бегло и снова отвернулся.

— Извините меня, пожалуйста...— неуверенно продолжал тот, обращаясь как раз к нему,— я художник... мне нужен типаж... то есть я хочу сказать, если позволите, я попробовал бы рисовать вас...

— Вань, слышь! — окликнул Рябинина удивленный Селиванов. Тот пожал плечами и тоже удивленно посмотрел на парня.

— Зачем тебе?

— У вас, как бы это сказать, лицо очень характерное... для художника находка...

— Ишь ты, находка! — ревниво откликнулся Селиванов, и, уловив эту ревность, художник поспешил объяснить, чтобы предупредить неприязнь:

— Всякий человек по-своему неповторим, но мне для работы определенный типаж нужен...

— Рисуй, коли он тебе понравился! — прервал его Селиванов.— Только все ли твой глаз подметить способен?

Торопливо раскрыв планшетку, парень вынул чистые листы, подложил картонку, достал два карандаша и тем, что потоньше, сразу черкнул несколько кривых линий. Поезд по-прежнему дергался и мотался, и руки парня напрягались. Селиванов же отодвинулся, показывая, что его это баловство нисколько не интересует. Но какое-то беспокойство мешало ему сохранить равнодушный вид, и он то и дело зыркал глазами на карандаш, торопливо бегающий по бумаге; но что там происходило, видеть не мог, потому что далеко отодвинулся.

— А ты бы все ж объяснил мне, темному человеку, чего это ты именно его рисуешь?

— Ну, я не только его, я многих рисовал. Если хотите, покажу! — Он было полез в планшетку, но Селиванов махнул рукой.

— Кого ты там рисовал, это твое дело! А вот он тебе чем приглянулся? Борода, что ли, понравилась?

— И она тоже! — улыбнулся художник.— Когда-то с таких лиц писали святых...

— Слышь, Иван, к святым тебя причислили!..

И Селиванов залился нервным смешком. Рябинин не то чтобы сму-

тился, но почувствовал себя неудобно и нахмурился, косо взглянув на художника.

— Значит, облик тебе его понравился? — язвительно хмыкнул Селиванов.— А где он этот облик заработал, не хочешь знать?

— Андриан! — одернул Рябинин.

— Да молчу, молчу! Это я так...

Но парень перестал рисовать и, вопросительно взглянув на Селиванова, уставился на свою модель. Потом сказал задумчиво:

— Мой дед по матери тоже... заработал, как это вы сказали, облик. Только совсем другой... У него тоже была борода... А под бородой — страх...

— А у него что ты видишь под бородой? — съехидничал Селиванов.

— Теперь уже не знаю,— тихо ответил парень, взглянув на листок.— А сначала... все наоборот...

— Да уж будь уверен,— гордо заявил Селиванов,— мы не из того дерьма вылеплены, что твой дед! Мы сами кого хошь на страх возьмем!

— Ну почему же,— возразил художник,— мой дед — из старых коммунистов! С бандами воевал, коллективизацию проводил. А вернулся оттуда в страхе и умер... почти от страха... Я его, конечно, не сужу, там не курорт...

— Не верю, что сможешь нарисовать! — категорически заявил Селиванов.— Докажи, что можешь! Рисуй! А то уже Иркутск скоро.

— Почему вы не верите? Вы же не видели...

— Рисуй, потом поговорим! Во! К нам еще пассажиры!

Животом проталкивая впереди себя громадную корзину, полную, видимо, ягод и поверху закрытую листом осины, в купе втиснулась тучная низенькая женщина лет пятидесяти, в мужском пиджаке, юбке чуть ли не из солдатского сукна и в резиновых сапогах. И хотя Селиванов довольно приветливо встретил ее, она усаживалась и устанавливала корзину с таким видом, будто отвоевывала принадлежащее ей по праву, но присвоенное кем-то. Красными, слезящимися глазами враждебно осмотрела всех, поджала губы и уставилась в точку между художником и Селивановым. Поезд дернулся.

— У, гад! Будто не людей везет, а скотину! — проворчала она зло.

— Ягодку собирала? — елейно спросил Селиванов.

— А чего ж еще! Будь она проклята! — ворчливо ответила женщина.

— А кто ж неволит-то?

Она насупилась.

— А ты попробуй на мою зарплату пожить, потом спрашивай!

Глаза ее сильней покраснели и заслезились.

— А у нас тут вот художник... — Селиванов кивнул на парня,— хошь, он твой портрет накатает во всей красе?

— С жиру бесятся! — отрезала она, отворачиваясь с обидой.

Художник удивленно взглянул на нее, на Селиванова и снова на нее.

— Почему же? Это моя работа...

— Работа! — презрительно хмыкнула женщина. — А ты бы попробовал за прилавком десять часов простоять да три тонны картошки перевешать! А тебя еще кто хошь облавкает как собаку! А домой придешь, там свой паразит нажрется как свинья, и обмывай его!..

— А ты прогони его да работу полегче найди! — посоветовал легкомысленно Селиванов.

— Дурак старый! — закричала она, всхлипывая.— Такие, как ты, баб до сроку в гроб и загоняют! Убивать вас надо, паразитов!

— Зачем шумишь? — сказал спокойно Рябинин.— У каждого своя беда.

— Да у тебя-то какая?

Но, взглянув в лицо Рябинина, сникла, шмыркнула носом и замолчала. И все молчали, пока в окне не блеснула слюдою Ангара. Поезд прибывал в Иркутск. Ни с кем не прощаясь, женщина, водрузив корзину на живот, выкатилась из купе.

— Ну, покажь, что намалевал!

— Не успел! — буркнул художник.

— Э! Так не пойдет! Покажь! — потребовал Селиванов.

Рябинин тоже поглядывал на листок. Селиванов взял рисунок, и лицо его помрачнело. На нем был Иван, всякий узнал бы. Но еще больше там был тот самый святой, чей образ висит в доме Рябинина. И Селиванову стало так тошно, что он, не показав рисунок Ивану, сунул его художнику.

— Убери свое малевание!

Парень пожал плечами.

— Спасибо! До свидания! — сказал он холодно и выскользнул из купе.

— Тебе ни к чему видеть было,— угрюмо пояснил Селиванов.— А то начнешь на лопатках крылышки выщупывать! — Он покачал головой. — Надо же! Сопляк совсем, в мозгах понос, а рука умная! Как это так может быть, чтобы рука умней головы была? И ты вот что мне скажи, Иван: почему люди своим хомутам преданы? Вот эта баба. Пошто терпит и мужика своего и каторгу? Я бы повесился! Как можно жизнь терпеть, когда она нестерпима?! Ведь баба волчицей стала с такой жизни, а за хомут держится! Ты приглядись, Ваня: все злы, как волки, а все пашут и пашут, и копытами не взбрыкнут! Зверь и тот умней, он ищет, где лучше! Пасти обидчикам рвет! Ведь вот заяц, к примеру, на что трусливая тварь, а если коршун его на пустыре берет, так он на спину хлопается и когтями коршуну кишки выпустить может. А с людьми-то что сталось? Промеж собой хуже волков, а с волками хуже зайцев!

— Приехали...— Иван поднялся и снял с верхней полки чемодан. Селиванов вздохнул и тоже поднялся. Они вышли последними.

— На трамвае поедем?

— Ты что, рехнулся? — гордо вскинулся Селиванов.— Я по тайге всю жизнь мотался, чтобы на этой трясучке ездить? — И потащил Рябинина к стоянке такси.

— Куда поедем, диды? — весело спросил парень-таксист.

— За Ушаковку! — важно ответствовал Селиванов, разваливаясь на сиденье. Рябинин, покосившись на счетчик, как на ползучего змееныша, тоже устроился поудобнее, а откинуться на сиденье его заставил лихой рывок таксиста.

— Ты помягче, помягче! Нам прыть ни к чему,— проворчал Селиванов.

С ангарского моста открылся вид на Иркутск. Иван вздохнул без сожаления:

— Не узнать города!

— Причесали! — согласился Селиванов.— Погляди, как людишки одеваться стали! А ты костюм одевать не хотел! Все свое потомство перепугал бы в том виде!

— И так, поди, перепугаю!

— Не боись, Ваня! — успокоил тот.— К своей родной дочке едешь! А отец, он ведь всегда — отец! Кровь — она главнее всего, она всегда свое слово последним скажет.

— А все одно тревожно на душе! — вздохнул Рябинин, запустив пальцы в бороду.

— Давно дочку не видел? — спросил шофер, не оборачиваясь, но в зеркальце встречаясь взглядом с Рябининым.

— Давненько,— ответил он неохотно.

— Понятно! Бывает.

— Ишь ты, понятливый какой! — усмехнулся Селиванов.

— А чего ж тут понимать! Не первого такого везу! И поразговорчивей бывали! Так что соображаем, что к чему!

— И чего ж хорошего рассказывали те, что говорливые?

— А мы чужих разговоров не пересказываем! — со значением ответил шофер, в зеркальце подмигивая Рябинину.— Из каких будете-то? Из «высоких» или из простых?

— Что?

— Это он спрашивает, из мужиков ты или из звездачей? — пояснил Селиванов.— Из мужиков он!

— Понятно! И много вас там было?

— А сколько осталось, не интересуешься?

Шофер обернулся, удивленно посмотрел на Рябинина.

— А чего, разве не всех выпустили? По культу-то?

— Во! — довольно крякнул Селиванов.— И у этого в мозгах понос! А ты, поди, думал, что у тебя вся правда на ладошке? Направо давай! К новым домам!

Шофер торопливо закрутил баранкой, съезжая в море грязи и спотыкаясь всеми четырьмя колесами на невидимых выбоинах. Рябинин в зеркальце видел его сумрачное лицо.

— Ко второму дому, последний подъезд!

Когда Селиванов расплачивался, шофер спросил:

— Останетесь тут или подъехать, когда скажете? Это я могу...

Селиванов расчувствовался.

— Спасибо, милок! Только сам не знаю, как дело обернется.

— А вы тоже там были?

Селиванов показал кукиш...

У самой двери Иван взял Селиванова за рукав.

— Погоди! Отдышаться надо... Может, сперва один зайдешь, скажешь: так, мол, и так...

— Ага! — язвительно закивал Селиванов.— Так, мол, и так: за дверью папаня ваш стоит, можа, пустите в дом?

— Не понимаешь ты...

— Чего не понимаю, того Бог не дал понимать! Мне своего понятия хватает! А ты свое понимай! Ты ни перед кем вины не имеешь! А пусть мне покажут, кто перед тобой не виноват! Пошли!

И он нажал на звонок.

Взяли длинную, на палец разведенную пилу и распилили человека повдоль, и осталась только половина человека!

Знать бы Ивану, как дело повернется, да разве стал бы он приставать с законом к этому гаду бровастому? Да шут с ним! Пусть бы настрелялся вдоволь да смотался в город. И ничего бы не было... Ничего бы не было? Только подумать, ничего бы не было! Как подумаешь, выть хочется по-звериному и колотиться головой, бить и крушить все подряд! Но ни бить, ни крушить нельзя. Можно только выть негромко, и мотать головой, и царапать ногтями стриженую голову...

За шиворот схватил он в тайге браконьера, не первого за свою службу, зато последнего. Чином оказался! И «пришили» террор и связь с бандой... Закричал Иван в суде лихим голосом о правде, позорно это было: здоровенный мужик орет, выпучив глаза; и непонятно — то ли растерзать всех готов, то ли на колени упасть... И то и другое мог сделать, да не дали. Торопились.

Распилили человека пополам, душу распилили в день цветения, в день радости. И рвал на себе рубаху Иван, и говорил себе сурово, что так ему и надо, что — слишком большое счастье, не по себе отмерил! Не зря долго поверить не мог, не зря же ночью просыпался и свечу

запаливал: чтобы увидеть лицо жены на подушке рядом: она ли, мол, не приснилось ли?!

Первый год в неволе каждый день отсчитывал, как жизнь кончилась. После просто годовщины отмечал: что было в этот день два, три, четыре года назад. Тогда-то вот в этот же день, во столько-то часов зашел Селиванов в дом, а за спиной его ОНА стояла; а в такой-то день и в такой-то час, когда сидит он теперь в пересыльной камере, сказал он ей тогда языком корявым, что, дескать, может быть, поживет она у него еще малое время. А потом, это было в час вечерней поверки, тогда сказала она ему, что хороший он человек! А четыре года назад в эту ночь... Господи! Да было ли это? Уж пусть бы лучше не было! Пусть кто-нибудь скажет, что не было, хоть в шутку скажет, что не было ничего этого, что придумал, что с рождения и по сей день горизонтом ему запретка, а все остальное — приснилось!

Но у всех, с кем ни заговори, было такое же, и все разрезаны пополам, мыкаются друг с другом полулюди и рвут друг другу душу своими горестями.

И сколько вокруг их, людей! Из одного места — в другое, оттуда — в третье, и везде люди, и вокруг них проволока! Господи! Да остался ли кто еще там, по ту сторону? А может быть, той стороны уже и вовсе нет? А вся земля — одни круги и квадраты заборов и запреток!..

Но нет! из щелей пересылочного вагона видна жизнь. Да разве легче оттого, разве не больнее?

А еще были запахи! От запаха пошел Иван в первый побег и срок себе удвоил. Слыл он тихим мужиком. Вел его солдат одного по лесу, и вдруг на пути — рябинник, да как ударит знакомым запахом: голова закружилась, дыханье замерло, в глазах туман. Кинулся на штык, вырвал винтовку, разломил ее пополам об дерево и побежал... И выбежал... на соседнюю зону.

И потом еще сколько раз, чаще ночью, вдруг наплывали запахи: то домашние, то таежные, но еще тошнее — запах тела женского! И на глаза тьма опускалась от бровей, руки кусал, чтобы выбраться из омута.

На воле снов не знал. А тут пришли, да все про самое главное и потаенное. То поперек таежной тропы на колючую проволоку натыкался, пытался обойти ее, а ей нет конца — она сквозь деревья, пни и скалы проросла поперек жизни; или жену пытался целовать, а губы судорогой сводило; или из дому пытался выйти, а дверь с улицы заперта, на окнах решетки, а в двери дырка для кормушки; или медведя брал на мушку, а ствол тряпкой оказывался, а убежать не мог, ноги стопудовые стали. Это были сны страха. А были сны слез. Вдруг с крыльца барачного подпрыгивал он в воздух и взлетал над зоной, и вылетал из нее, а козырек на вышке мешал солдату стрелять, и солдат выл от злости, что улетает его внеочередной отпуск. Или вдруг, опустившись на колени перед нарами в поисках чего-то упавшего туда, обнаруживал под нарами лаз потайной, спускался туда и шел долго, а потом, ступеньками вверх, оказывался в подполье своего дома в Рябиновке, поднимал крышу руками над головой и видел радостное лицо жены и дочку-крохотульку, на него пальцем показывающую.

Просыпался в слезах и не презирал себя за них.

Сколько лет прошло, когда стала сизой дымкой подергиваться прошлая жизнь, потом — туманом, потом — стеклом заиндевелым, а потом стала эта прошлая жизнь будто и не его вовсе, а кого-то другого, за кого душа лишь стонала иногда, но не болела. И тогда душа стала рождаться заново. Среди людей и нелюдей встретились люди другого мира, и он потянулся к ним, к их спокойствию и невысказываемой мудрости. И не понятием, и не принятием, а чувством познал их истину. Оттаяло замерзшее стекло, и открылся мир без конца и края, без начала и конца, и всякий человек за спиной в том мире отражался лишь

добром своим и всем тем, что едино у людей. Вокруг было много объясняющих, рассуждающих, злобствующих и поломанных. Раньше он всякого пытался понять применительно к своей судьбе, но у каждого был свой язык и свои слова, а судьбы — разные, и были все чужими. Теперь же каждый открылся единой бедой и страданием, а в утешении и помощи становился братом.

Не гладок и не ровен был путь Ивана Рябинина и после того, как пришел к вере. Были срывы, сомнения хватали за горло, душили приступами отчаяния. Тогда взрывался он бесовской силой и совершал поступки дикие и нелепые. А как тому не случаться, когда изнасиловано естество человеческое, поруганы душа и плоть, когда сам облик людской искажен силой неправды! Но после, когда приходил в себя, каким чистым светом озарялась душа и высвечивала в себе всю темноту неизжитую...

Однако с неволей не смирился, никогда ни единым словом не благословил ее, потому что если и понимал ее как благодать для прозрения, то не от добра, не от хорошей жизни объявилась для него нужда в этой благодати. Не может человек благословить боль, когда ножом вскрывают загнившую рану, чтобы предотвратить смерть.

И потому уходил в побег. Уйти или дойти уже не надеялся, но именно потому и уходил, что боялся привыкнуть к неволе. Боялся не срока, боялся забыть подлинный облик свой, облик человека, для свободы рожденного.

Первую прибавку к сроку принял как беду непоправимую. На вторую — вздохнул тяжело. Третью — не почувствовал. А когда помер самый главный начальник всех лагерей и когда начали выпускать безвинных, а его это не коснулось за то, что убегал и терпения не проявил к судьбе, тогда был самый тяжелый для него год, когда чуть было не порушил веру в себе, чуть руки на себя не наложил с отчаяния. И потом, когда опомнился, не обнаружил уже в себе жизни обычной, что состоит из надежд и грез, и всем внутренним взором обратился к той жизни, которая есть истинная правда обо всем и про все. По-новому зазвучали для него слова молитв, а каждое слово такую тяжесть в себе выявило, что произносил его одно, а высказывал в нем тысячу. Душа зацвела новым цветением, и радости мира, коих лишен был неволей, пережились многократно и полно, и полнее потому, что, отрекшись, наконец, от жизни внешней, открыл себе глаза на жизнь, что в нем пребывала неуслышанной и неувиденной. Познал гордыню в себе и то, какую радость она удавливает в человеке. Когда в первый раз на минуту лишь испытаешь, каково пребывать в простоте сердца, после того гордыня горбом покажется! Воистину горбом, потому что при отречении от нее полностью — вся плоть в человеке вопиет противностью.

Однажды, без особой мысли об том и без всякого лицедейства, вдруг взял и простил обидчика. Раньше тоже, бывало, прощал, но всякий раз как в табель заносил норму выполненную. А тут вдруг почувствовал, что не по долгу перед Богом простил, а просто обида сама ушла, будто ее и не было. Невелика была обида, да разве в том дело! Дело в светлости на душе, словно в затхлости карцера глотнул воздуха послегрозового. А после забыл и об обиде, и об обидчике, но весь словно замер, постигая в себе новое состояние тихого и радостного мира. Будто заходил он в домик, видимый со стороны всеми своими стенами по причине малости, заходил — и оказывался домик внутри громадным и светлым дворцом, с бесконечным числом залов, лестниц и коридоров. И когда, вызываемый снаружи голосами суеты, возвращался и со стороны жизни суетной видел все тот же маленький домик, то трепетал сердцем оттого, что знал его тайну — внутри он больше всего того мира, в котором до того жил и страдал. Открылась главная правда. Мир радости человеческой необъятен в сравнении со всеми горестями, что могут выпасть по судьбе. Но нужно только найти к не-

му дорогу, и каждый раз заново преодолевать каверзы ее, чтобы узреть свет иного мира.

Прежде сколько сил тратил он на притирку к людям: как бы доброго не обидеть, злого не разозлить, чужого не приблизить, близкого не утратить! Люди оказывались такими непонятными и непонятливыми, а с ними нужно было жить и уживаться, и приспосабливаться к ним. Страдал от голода и холода, и от лихоимства, — от чего только не приходилось страдать? — но самые большие обиды бывали от людей. Людьми страшна неволя, — так он думал еще недавно. Но все изменилось. Получилось, что вроде бы совсем думать о людях вокруг, то есть гадать, перестал, а просто принимал их теперь, какими они были сами по себе, без его мнения о них. И перестал ошибаться, и более того: как это получилось, понять сам не мог, но больше вокруг него оказалось хороших, а не плохих людей. И тогда изменилось отношение к нему. И не годы были причиной тому, что чаще стали называть его то «папашей», то «отцом», то по имени-отчеству. А он-то его, отчество, и сам, казалось, не знал, только и вспоминал, бывало, что на перекличках этапных.

Освобождение (хотя знал свой день) оказалось неожиданным. Тревога вошла в душу утром этого дня; потом, когда выкликали на вахту, когда прощался с людьми, скорбя за них, когда оформляли последние бумаги, тревога росла, обращалась в беспокойство; а там и смятение пришло, когда оказался за проходной и на все стороны открылись дороги, ведущие никуда и ни за чем.

В Рябиновку? Осталось ли что от дома? Вспомнил Селиванова, давно уж его не вспоминал. Первые годы все присматривался к новым этапникам, почему-то уверен был, что не миновать и Селиванову доли невольничьей. Думалось почему-то, что не выдержать ему этой судьбы, что сгинет непременно; и оттого со временем будто похоронил друга, вспоминая его как уже неживого.

А теперь подумалось, что, может, и уцелел Селиванов, больно уж ловок и хитер был.

Ни о жене, ни о дочери, ни о том, кто еще должен был родиться и теперь уже, наверно, вовсю жил, — ни о ком из них не думал или старался не думать; да и какой прок, если даже они для него стали чужими, а он-то для них трижды забыт и похоронен и новой жизнью, как оградкой кладбищенской, отделен... Нет, к жене своей бывшей он и не хотел, захоти она того, вернуться. Для чего?! Те три весны, что прожили они вместе, три бревнышка в основании целого сруба, разве не ушли они под землю, не осели под тяжестью разлученных лет, разве построишь на них, откопанных, теперь хотя бы жалкую хибарку? Не выдержат! Другое дело — дочка и сын (или тоже дочь)... Но об этом и вовсе думать не следует.

Так в Рябиновку? Что в Рябиновку, что в любое другое место, одинаково было Ивану. И поехал в Рябиновку, потому что другое место просто и на ум не пришло.

Дверь открыл мужчина лет тридцати и, увидев Селиванова, приветствовал его дружелюбно и по-свойски.

— Наташа! — крикнул он. — Андриан Никанорыч! Встречай!

С запозданием откликнулось сердце Рябинина на имя «Наташа».

«Господи! Дочь!» — мелькнула мысль, и сам удивился, будто до сей минуты не верил в эту встречу.

— Я нынче с другом, — предупредил Селиванов, выталкивая Ивана вперед.

— Проходите, рады будем! — ответил молодой человек, не без любопытства рассматривая Рябинина, и Ивану это разглядывание было небезразлично.

Полудевушка-полуженщина кинулась к Селиванову и крепко обняла его. Увидев же Рябинина, смутилась и вежливо поздоровалась.

— Мой давнишний друг, Иван Михайлович!

— Вот тебе на! — всплеснула руками Наташа. — Давнишний друг, а мы его первый раз видим! Чего же так?

— Сам его долго не видел! — ответил Селиванов. — Зато теперь — прошу любить и жаловать!

— Да чего в дверях-то! Проходите! А вы, Андриан Никанорыч, нас обманули! Вы когда обещали быть?

— Не получилось!

Рябинин не знал таким Селиванова. «Что в нем незнакомого?» — подумал он. И ответил себе сам: не он, Рябинин, отец этой красивой женщины, а Селиванов. Наталья не походила на мать, или походила очень мало. Но кого-то она напомнила Рябинину очень.

— Эх, Ваня, она же вся в тебя! — словно подслушав его мысли, сказал Селиванов. И Рябинин побоялся, что не сможет сохранить глаза сухими.

— Внучок где? — спросил Селиванов.

— Бегает! — ответил отец.

«Чей внучок? Мой, что ли? Или его, Селиванова? Господи! Не зря ли я пришел в этот дом? Им и без меня хорошо! Ах, поспешил! Поспешил!»

В небольшой комнате оказался накрытым стол.

«Добротно живут! — подумал Рябинин, рассматривая обстановку. — Ишь, напридумали! Такую мебель в деревенскую избу лишь на потеху ставить, а здесь смотрится. Светло».

Он бегал глазами по стенам, по мебели, на окна косился, и все лишь для того, чтобы не встретиться взглядом с дочерью, потому что чувствовал на себе ее взгляд, ее любопытство, — и ничего ведь более! «Это хорошо, — думал он, — что она не очень похожа на свою мать! Могла бы оказаться как две капли... как бы я тогда...» Он нарочно старался думать все вокруг да около, чтобы спокойствие сохранить, а ведь уже руки еле сдерживал от дрожи, а внутри где-то дрожь маетой подбиралась к сердцу, а как до сердца доберется, слез не удержать...

— Сашок, ты, того, сбегай-ка за внучонком!

— Да чего за ним бегать, сам скоро придет!

Улучив момент, когда Наташа ушла на кухню, Селиванов взял за рукав ее мужа и шепотом объяснил:

— Ты, того, не обидься, сходи погулять с часок! Разговор у нас с Натальей будет! А тебя к нему опосля подключим! Будь мил, не обидься, погуляй!

— Какой разговор! Я могу, конечно!

— Вот и смоги! Ага! Тайн от тебя нету, но теперь так надо! И внучка покарауль, чтоб повременил... Серьезный разговор...

Пожав плечами, сделав равнодушное лицо, но очень плохо скрыв недоумение и обиду, тот накинул пиджак, потоптался немного и буркнул:

— Так я пошел!

— Ага! Ага! — заторопил его Селиванов, услышав шаги Натальи.

— Ты куда это?

— За внучком! — успокоил ее Селиванов. А как только щелкнул замок двери, взял Наталью за плечи и посадил на стул напротив Ивана.

— Разговор будет, Наталья! Сиди! Сиди! Такой разговор, сидя говорить надо! Пока... А там сама вскочишь!

И тут Рябинин впервые услышал грусть в голосе друга.

«Отцовство свое передает мне! А есть ли у меня право на него?!»

— Такое, значит, дело, дочка...

Селиванов запнулся на этом слове и растерянно заморгал глазами.

— Я, стало быть, дочкой тебя называю, потому как... жись так сложилась... то есть как дочка ты мне была...

— Да чего это вы, Андриан Никанорыч! — не вытерпела Наталья: больно уж дрожал голос Селиванова. И Рябинин тоже прикашлянул, горло того потребовало.

— Твоя девичья фамилия... как она была?

Она смотрела на него удивленно, но тоже сжалась вся, предчувствуя то ли недоброе, то ли ненужное.

— Рябинина, сами знаете!

— Вот! — вздохнул Селиванов. — А против тебя сидит Иван Михайлович Рябинин, и он тебе есть отец родной! Такие дела...

Медленно перевела она глаза на Рябинина, а тот опустил их, будто уличенный, будто виноватый.

— Правда? — спросила она тихо.

Он поднял глаза, знал, что в них слезы, но что поделаешь! Вытер их рукавом и кивнул.

Селиванов взял стул, поставил его сбоку и, прокашлявшись, сказал:

— Вот ты так сиди и смотри на него! А я тебе буду сейчас рассказывать про отца твоего, про мать, про деда твоего, про жизнь буду рассказывать, которую тебе до того не было нужды знать!

5

Утром другого дня, хоть и был понедельник, все вагоны оказались забитыми до отказа ягодниками, орешниками, рыбаками и охотниками. Честные отпускники едва ли составляли четверть этой шумной и пестрой толпы. Оттого, что большинство пошло на риск, то есть сбежало с работы, проявив хитрость, ловкость и проворство, в поезде господствовало настроение лихости и шального веселья. Всех слегка лихорадило. Люди жаждали активного общения, гоготали, суетились в невообразимой толчее и без конца извинялись друг перед другом. Они нещадно курили, подпаливая друг другу волосы, пиджаки, стряхивали пепел за шиворот и на головы низкорослым. Преобладали мужчины. В тех же местах, где оказывались женщины (к тому же нестарые), веселье выплескивалось через край — в разбитые и раскрытые окна тамбуров вагонов.

Ни злобы, ни ругани, ни оскорблений. Все это придет с избытком потом, на обратном пути, когда усталая, разочарованная толпа ринется назад, в город, в объятия скучной повседневности.

И для Селиванова, и для Рябинина толпа, да еще такая активная, была, как Божье наказание, потому что Рябинин отвык, а Селиванов терпеть не мог, когда ему наступали на пятки и загораживали видимость. Однако Селиванову невмоготу было сейчас оставаться один на один с Иваном. Он был им недоволен. Едва уговорив его переночевать у дочери, утром удержать его он уже не смог, и отъезд их был сверх меры тяжелым.

Селиванов разрывался от жалости к Наталье, презирая себя за это чувство, по его убеждению, вовсе ненужное; какое ему дело, в конце концов, до Иванова баламутства! Иван, видишь ли, считает, что зря они все это затеяли и что, мол, языка ему с дочерью не найти; что не отыщет она к нему чувств дочерних, а лишь тяготиться им будет... Откровенно говоря, Селиванов и жалел Наталью, и серчал на нее. Както по-другому все ему виделось; она же какая-то каменная стала — слезы лила и каменела. А у муженька ее, сукиного сына, и глазенки, глядишь, забегали, когда узнал, откуда тесть прибыл. Про какую-то «ребилитацию» ляпнул! Иван аж бровями дернул. А внучок, как ни подталкивал его Селиванов к Ивану, так и не подошел, косился лишь, упирался да сопел...

Еще чувствовал Селиванов, что больно все Ивану; и выходило, что

аатея эта одной болью для всех обошлась, и, может, правильно предлагал Иван: нужно было сначала походить ему около, посмотреть на всех издали, а после уж решать, объявляться ли, нет ли...

Но если по-честному: отчего торопился Селиванов? Разве не оттого, что хотел скорее отдать Ивану то, что отдавать — мочи не было, будто пальцы себе отсекал на руках! И что ж теперь получилось? И Ивану вроде б не отдал, и себе уже не оставил...

Они так и не протиснулись в вагон, выкрутили себе уголок у двери тамбура, уперлись руками в металлическую перекладинку на двери, спинами сдерживая напор толпы. Селиванов всем видом изображал, как он сердит на Ивана. Тот не замечал, думал о своем, вид у него был грустный, и как-то жалко он выглядел теперь в новеньком костюме, неподогнанном и коробящемся. Белая рубашка высовывалась из рукавов, лишь подчеркивая грубость и морщинистую желтизну Ивановых рук. «Старее он меня с виду! — подумал Селиванов без удовольствия и без сочувствия, а так, как на ум пришло. — Вот и дожили! Он — в клетке, я — на воле, а старость, что мне, что ему...» Нет, это была неправильная мысль, несправедливая, и Селиванову хотелось подумать об Иване как-то так, чтобы в той думе была не жалость (ну ее к свиньям!), а понятие об Ивановой судьбе особой и не для каждого. Ведь вот он сам себе такую судьбу даже нарисовать в мозгу не может и содрогание во всем теле испытывает, когда пытается представить только!

По тому, как дернулась борода, Селиванов понял, что Иван говорит что-то, и весь подался к нему, почти уткнулся в бороду лицом, чтобы в гвалте различить слова.

— Я говорю, если б отпустили меня сразу, через год, а я пришел бы, а жены нет и дитя на руках, поломался бы я тогда душой! Насмерть поломался бы!

Когда Иван начинал судьбу свою оправдывать, Селиванов скрежетал зубами. Это — по-бабски, когда мужик на беду с благодарствием крестится! Трудно поверить ему, соплями это дело пахнет!

— Не поломался бы! — крикнул он Ивану в бороду. — Покуролесил бы малость да выпрямился! Жись сильнее всего!

Иван покачал головой.

— Видел же ты, какая она была, Людмила моя! Зоря! Сколько прожил с ней, ни единым утром не верил, что моя, что не уйдет! За дверь выходила—в окно смотрел, не пошла ли к калитке! Не понять тебе, бобылю, что такое жена красивая, по первым годам особенно, когда в цвете вся и в ласке... Да вдруг—нету ее! Канула! Да по чужой вине!

Опять покачал головой.

— Поломался бы! Если б сама ушла, может, не поломался. Знал ведь, что залез с кирзовой мордой в хромовый ряд! А когда по чужой...

— Все равно б выжил! Выжил, говорю! — крикнул Селиванов, оттирая плечом какого-то мужика, что втискивался между ним и Иваном.

— Ну, куды прешь! — прокричал он зло.

— Терпи, папаша! — отозвался мужик, вывертываясь обратно. — Вишь, тут одна красуля все норовит своим ведром мое хозяйство подчерпнуть!

— Нужно мне твое хозяйство! — крикливо отозвалась женщина, по голосу не из молодых. — Я от своего кобеля сбежала едва!

Мужики в тамбуре загоготали, и Селиванов нетерпеливо пережидал, когда они затихнут.

— А меня, она не любила, Людмила твоя, хоть, кроме добра, ничего ей не сделал!

Старый упрек, не высказанный в свое время по адресу, был перекинут Ивану, но без обиды, а так, к слову пришлось. Очень хотелось Селиванову, чтобы Иван разуверил его, чтоб возразил. Хоть и не поверил бы ему, а приятно было б. Но Иван кивнул угрюмо.

— Их поймешь разве! Не могла она тебе простить, что шлепнул ты дружка ее!

— Дружка! — возмутился Селиванов. — Шатуну он был дружок, а не ей!

Иван пожал плечами, а Селиванов, захлебнувшись от ожившей обиды, отвернулся, поджав губы.

С полдороги в тамбуре начало легчать. Людишки разбредались по полустанкам, каждый знал свое особое — грибное или ягодное — место, обязательно потаенное. И вскоре уже можно было поискать сидячее место в вагоне, что Селиванов и сделал, оставив Рябинина в тамбуре. Через минуту вернулся довольный.

— Хватит ноги ломать, пошли сядем.

Сели на краешках сидений, друг против друга, соприкасаясь коленями.

— Да нет, — продолжал Иван будто только что прерванный разговор. — Зла она на тебя не имела... И благодарность знала — это поверь мне!

Селиванов махнул рукой: дескать, ладно, чего там, сам все знаю, Бог ей судья! А про себя подумал о том, как жизнь она свою кончила, много ли мук испытала? Неужто ей выпало столько же, сколько Ивану! Ведь не мужицкая была — благородиева!

— Слышь, Иван, а какой она была фамилии по девичеству? Я ее отца только по отчеству да имени знал! А про фамилию так ни разу и не спросил! Неудобно было.

— Барская у ней фамилия была, дворянская. Говорила она, что на всю Россию их фамилий и дюжины не будет. Оболенская называлась.

— Чего? Оболенская?

Селиванов замер, пораженный чем-то.

— Не слыхал таких фамилий? А я вот в лагере слыхал и такие и еще всякие — из бывших.

— Я тоже, того, слыхал... — сказал Селиванов испуганно. И больше до самой Кедровой не проронил ни слова.

Было договорено еще поутру, что поедут они к Ивану, но в Кедровой Селиванов вдруг вздумал поехать в Лучиху, вспомнил дело какое-то. Иван ухмыльнулся добродушно, зная пристрастие друга в былые времена к тайным делам. Прощаясь, он положил руку ему на плечо, посмотрел в глаза мягко и добро.

— Спасибо тебе за все! — Голос его дрогнул.

— Чего там... — смутился Селиванов, не избалованный в прошлые времена Ивановой сердечностью.

— За дочь спасибо и за все... Должник я у тебя неоплатный!

— Ваня! Чего говоришь! — взмолился Селиванов, испугавшись дрожи в теле и влаги в глазах. Иван задумчиво глядел на него.

— Никогда тебя не понимал... Странный ты человек! Может, врал ты мне, что в Бога не веруешь? А?

Тот недоуменно пожал плечами.

— Не может того быть, чтоб не веровал! Во имя чего тогда добро творишь? — продолжал тихо Рябинин больше для себя, чем для Селиванова. — Неверующий, если и творит добро, то во имя свое!

— И я во свое имя! — пробурчал Селиванов, тяготясь Ивановыми рассуждениями.

Иван решительно мотнул бородой.

— Врешь! Не поверю! Коли не веруешь, значит, образ в себе сохранил!

— Да ну тебя с образами! Али забыл, сколько людишек за свою

жизнь к твоему Богу до времени отправил! Убиец я! Сам говорил! Забыл, что ли!

— Не забыл, — ответил Иван, — оттого и не понимал тебя!

— Кончай, Ваня! Не люблю я эти разговоры!

Его уже корежило: болтлив Иван стал к старости!

— Давай иди на автобус, а я — на попутке... К вечеру жди, прибегу. Собак покормить не забудь! Зачахнут собаки без тайги, непривычные к веревке...

— Накормлю. А завтра давай в тайгу... Пора мне! Сперва не тянуло в лес, а нынче — надо.

— Сбегаем, Ваня, куда хошь сбегаем! Хреновину ты пер тот раз, что тайга тебе чужая! Дыхнуть ее тебе надо! Беги! Автобус.

Селиванов пошел к развилке, откуда шла дорога на Лучиху, а Иван — к автобусу: тот уже показался из-за поворота.

В автобусе оказалось много рябиновских. Они рассматривали Ивана. Те, что помоложе, — открыто и нагловато, другие — украдкой, но с еще большим любопытством. Мест свободных не было. И вдруг нашлось, рядом со скрюченной бабкой.

— Здравствуй, Иван! — сказала она, когда он сел рядом. — Не узнаёшь, конечно!

Рябинин присмотрелся.

— Светличная никак!

Она горько вздохнула.

— Девку прогнала, чтоб поговорить с тобой! Сами-то место уступить не догадаются! Что хорошего видел, Иван, в далеких местах?

Он удивился такому вопросу. Ведь знала же, где он был! Может, оговорилась? Но нет. Светличная хотела знать, что х о р о ш е г о бывает в п л о х о м месте.

— Да как тебе сказать...

А сказать, и верно, нелегко. Что хорошего?! Да ведь ничего, если меркой человеческого счастья примеряться.

— Да-а-а! — протянула она, будто поняла, как нелегко говорить ему. — Похоже, не озлобился ты?

— Не знаю, — честно ответил он. — Когда кажется, что не озлобился, а когда — нехорошо на душе бывает, оно вроде бы не злоба, а нехорошо...

— В Бога уверовал там?

— Откуда знаешь?

— Вижу.

Он посмотрел на нее с любопытством.

— Я вот с церквы еду, из Слюдянки. Батюшка проповедь читал, говорил, тайгу беречь надо, костры попусту не палить, потому как тайга есть Богом данное благо людям! О жадности говорил, через которую тайге порча бывает... Хороший батюшка!

Рябинин кивнул. Да, не все так просто было для него в этом деле. Привыкший чувствовать Бога через силу молитвы, через волю свою, боялся он церкви, где тесно и душно, а главное, боялся услышать из уст священника что-нибудь непрямое и неправое, боялся обиду получить за Бога, если нечистоту увидит в святом месте. Один на один с иконой — это привычно, икона чиста и свята, в ней образ Божий Божьей благодатью запечатлен!

Ту икону, что теперь повесил в доме, подарил ему один мученик за веру, хранивший и прятавший ее несколько лет, как потом хранил и прятал ее Рябинин, правда, недолго — меньше года оставалось ему до выхода. По закону ничего нельзя уносить на волю, что в неволе нужнее. Неписаный закон. Но старец велел спасти икону, потому что доносы были и искали ее уже по всем возможным тайным местам. А не так уж их много в лагере... Через подкупного надзирателя вышла икона за проволоку, и унес ее Рябинин.

— Скажи, Ваня, — зашептала Светличная ему в пиджак, — ты больше моего видел да слыхал, власть-то нынешняя, она что, антихристова али как? Всяка власть от Бога опять же... А эта?

— А сама-то как думаешь? — только и нашелся ответить Рябинин.

— Так по-разному понимать можно! Поначалу вроде бы ясно было. Против Бога бунт... А ежели так, то больно долго что-то, и не понять, то ли бунт, то ли власть... Батюшка о том не сказывает! Говорит, против Бога не ропщите, дескать, все в руце его! А может, антихрист уже и крылья расправил, и клюв почистил, а Богом уже меч занесен для суда! Господи, хоть бы помереть успеть!

— Успеешь! — усмехнулся Рябинин. — Антихрист или нет, про то ничего не знаю, только не на короткое время времена наши! Дай Бог внукам разобраться, что к чему!

И сразу вспомнил внучонка своего, что пугался одного его вида. И ничего ни в нем, ни в родителях внучонка, ни в единой черточке мира ихнего не намекало Ивану на то, что суждено внуку Ивана Рябинина понять самую главную тайну из всех тайн человеческих. Но опять же, кто знает пути? Они неисповедимы...

— Что говоришь-то? — прослушал он слова Светличной.

— Про Андрияна говорю, дружка твоего! Берег он дом твой. Ждал тебя. Смятенный он человек, помоги ему!

Рябинин промолчал. Наверное, потому, что не уверен был, нуждается ли Селиванов в помощи. А еще — сомневался в том, что хоть и обрел он веру в Истину несомненную, да тверже ли сам на ногах стоит, чем его «смятенный» друг. Словно и не пригнулся к старости пройдоха Селиванов, а напротив — росту в нем вроде прибавилось, по крайней мере, в глазах Рябинина.

— Сама-то как прожила? — спросил он Светличную.

Она хлопнула безресничными веками, шевельнула высохшими губами, повела острым плечом и виновато взглянула на Рябинина.

— Не знаю... Не заметила, как прожила! Какая жизнь у бабы одинокой? Да ведь живешь-то не в лесу, люди кругом, с людьми без дела не проживешь. Может, заглянете ко мне с Андрияном? Он-то заходил ко мне. Тоже бобыль... Шибко убивался он, что женку твою не сберег! Я ведь ее тоже знала. Ранее тебя. И отца ее...

— Знаю, — ответил Рябинин. — Добрая ты женщина! Заходи и ты ко мне, рад буду!

Показалась деревня. Рябиновцы проталкивались к выходу. Рябинин со Светличной поднялись тоже. Он взял ее тяжелую сумку. Приноравливаясь к ее старческому шаркающему шагу, проводил до дома, зайти, однако, отказался и заспешил через рябинник к себе.

Из недалекой густоты леса доносились до него звуки и запахи, волнующие и тревожные. Он понял, почему не спешил в тайгу, почему лишь косился с крыльца в ту сторону, даже не вглядывался как следует, будто одергивал себя. Понял! Не уверен он в себе, в ногах своих, в руках, столько лет ружья не державших, в глазах, — кто знает, какое зрение его нынче, не проверялся ведь. А что может быть страшнее неспособности к таежному делу!

И вот теперь только, хотя и остались страхи, нестерпимо потянуло на старые места, на полузабытые тропы, в заброшенные зимовья. Первые годы в неволе сколько ночей пробродил он тайгой, сколько мысленно отшагал привычными таежными путями, припоминая каждый поворот, и дерево, и камень на повороте, и ручей, и камешки на его дне...

Так он и дошел до своего дома — глазами в тайгу, даже шея устала. «Завтра!» — решил он твердо. И собак кормил как положено — в день до серьезного таежного дела, и разговаривал с ними, обещал им волю вволю, а собаки понимали, волновались и ели плохо...

Селиванова ни разу не видели в Лучихе при таком шике — при костюме, в белой рубашке да еще в полуботинках. У знакомых (а незнакомых там не было), что здоровались с ним, округлялись или суживались глаза, в зависимости от природы каждого, и смотрели ему вслед, и меж собой переглядывались, если их оказывалось двое или более. Последние годы как виделся Селиванов людям? В старье, с тростью, кряхтящий, охающий. Понимали, что притворяется, но привыкли к притворству. И вдруг он шпарит, как молодой, по деревне, разодетый, как фраер, без всяких тростей, а на лице — будто дичь нагоняет!

Сам Селиванов видел, какое он производит впечатление, но только ухмылялся про себя довольно и забывал тут же, потому что голова его трещала от мыслей таких трудных, что даже в затылке заломило.

«Что ж это такое?! — думал он. — Неужели Ивану Рябинину еще не все кары небесные отпущены! Неужели мало еще? Пусть этого не будет!» — твердил он искренне, но так же искренне хотел знать правду.

Что мог он вспомнить о том парне, на поиски которого кинулся в Лучиху? Появился он в промхозе лет пять назад. В первую же неделю ни разу не пришел трезвым на работу. Так слышал Селиванов. Хотели уволить его, но сначала не было замены, а потом обнаружилось, что в той куче металлолома, которая именовалась промхозовским трактором, он разбирается толково и что нетрезвость есть его нормальное рабочее состояние. Оказался парень в общем-то покладистым и уступчивым, по пьянке слишком не задирался, хотя и тогда уже зубы у него были наполовину выбиты. Что до синяков, всегда присутствующих на лице, то получал он их от трактора: была у него редкая способность непременно хоть раз да стукнуться обо что-нибудь лицом, а уж когда лез в тракторные потроха за капризом, то матюговые его проклятия какому-нибудь магнето были громче тракторной пальбы, и появлялся он на свет с большим прищуром на один глаз или с лиловым рогом на лбу. Не парень это был, а умора куриная! Лично Селиванов его даже как-то за живое существо не принимал, а как прикладность к трактору, тем более что и тракторист и трактор одинаково жили на горючем.

Баламут, тракторный балда, как он жил, где жил, откуда взялся, никто толком не знал да и никого это не интересовало. Никто не называл его по имени, говорили просто: «Где этот, с трактора?» Отвечали: «За трактором валяется!»

На лице его всегда была глупая улыбка и похоть до водки. Похоже было, что ничего его в жизни более не беспокоило, кроме того, где еще выпить. И ни о чем он долго не мог говорить, чтоб не вспомнить, сколько «давеча» «зажрал» и где б еще малость... Работал он ровно столько, сколько нужно, чтоб всегда иметь на выпивку. Не работая, он только спал. А если не было работы в промхозе и не было калыма, то ходил и навязывался, то есть гонял трактор по деревням, предлагая привезти, увезти, вспахать, раскорчевать или просто покататься.

Всегда в рванье, всегда в мазуте, он был ходячим анекдотом. Селиванов, собственно, только раз имел с ним дело, и кончилось тем, что этот балда отстрелил себе палец из его мелкашки. Фамилия тракториста тоже была анекдотом. Он прозывался Оболенским. Зная, какое впечатление производит на людей, особенно чужих — дачников и туристов, — представлялся всем и без надобности. Теперь его фамилия оборачивалась для Ивана Рябинина болью.

Селиванов успел. Трактор стоял на лужайке напротив конторы. Оболенский валялся на траве рядом с трактором. Увидев Селиванова, ошалело приподнялся.

— Селиваныч! Никак жениться собрался?

— Куда наряд? — быстро спросил Селиванов.

— Никуда пока. А чего?

Глаза его забегали—калымом пахло. Селиванов опустился перед ним на корточки. От Оболенского перло профессиональным перегаром алкаша. Селиванов поморщился.

— Дело есть.

— Полбанки! — тут же откликнулся тракторист.

— Будет тебе столько полбанок, сколько захочешь!

— Не! Сперва полбанки, а после — разговор!

— А если сперва по шее? — дипломатично спросил Селиванов.

— Но-но! — чуть отодвинулся тот. — У меня шея не казенная!

— Тебя как зовут?

— Меня-то? А чо? Ванька!

У Селиванова захватило дух. Он зажмурил глаза и так, с закрытыми глазами, спросил еще:

— А по батюшке?

— Гы! — удивленно отозвался Оболенский. — Иваныч!

— Родители-то где живут?

— Да иди ты! Чего пристал? Детдомовский я... Говори дело и гони полбанки.

— Со мной пойдешь, — сказал Селиванов, подымаясь и разминая затекшие ноги.

— Куда идти-то?

— К тебе сперва. Переоденешься, умоешься. Дело будет чистое.

Оболенский онемел от изумления, потом замычал:

— Не-е-е! Украсть, да? Я это дело в гробу видал!

Селиванов презрительно осмотрел его с головы до ног.

— Да нешто ты украсть можешь! Чтоб красть, мозги надо иметь!

— У тебя больно много мозгов! — обиделся тот. — Кончай темнить, говори дело!

— Я и говорю. Дело чистое. Помочь человеку надо. А в таком виде тебя разве в дом пустить можно?!

— А чо трактор? — никак не мог взять в толк Оболенский.

В барак, где он жил, Селиванов не зашел, присел на завалинку и остался ждать, пока оболтус приведет себя в порядок, если это возможно.

Думы одна печальней другой, как медленные волны, наплывали и откатывались, и наплывали снова. Может быть, не нужно ничего этого делать? Что путного выйдет? Ивану — лишняя боль... Нет, это только подумать, как судьба обошлась с Иваном! И за что бы? А что же Иванов Бог? Где ж его мудрость к человеку! Если бы так случилось с ним, Селивановым, куда ни шло... А с Иваном — нешто это справедливо? А может, не надо...

Селиванов поднялся с завалинки. Еще мгновение, и он бы отказался от затеи, но появился Оболенский. Был он в чистых мятых брюках, в такой же рубашке. Но вид его, хоть он помылся и даже причесался, едва ли изменился к лучшему. Чувствовал он себя не в своей тарелке, а руки его вообще не отмылись, и он не знал, куда их девать. Только непреодолимое желание получить «полбанки» принудило его совершить над собой такое насилие.

— В Рябиновку поедем! — сказал Селиванов.

— А трактор?

Без трактора он не мыслил себя.

— Пойдем к одному человеку, — продолжал Селиванов. — Сколько раз матюгнешься там, столько раз потом по шее получишь! Понял?

Оболенский скис.

— Если не матюгнешься ни разу и никакой хреновины пороть не будешь, пою тебя неделю.

Тот оживился, хотя не без сомнения и тревоги. Они пешком дошли до развилки на Рябиновку, километра полтора. Шли молча. Молчали и в попутке. Молчали в магазине сельпо, где Селиванов взял бутылку, чем разочаровал Оболенского до меланхолии. Через всю деревню прошли к рябининскому дому.

— Дело есть, — буркнул Селиванов на вопросительный взгляд Ивана. — Приготовь закусь.

Оболенскому налил полный стакан, себе и Ивану чуть-чуть. Выпили и закусили молча. Селиванов все никак не решался начать разговор, косился на Ивана и ежился.

— Значит, как, говоришь, тебя зовут по имени-отчеству?

— Да ну тебя с отчеством! — весело огрызнулся парень.

— Говори, коли спрашивают! Постарше тебя люди сидят!

— Иван Иваныч! Гы!

Представлять себя в имени-отчестве ему было искренне смешно.

— А фамилия твоя, стало быть, это, фу ты, черт! Заклинило в мозгу!

— Ну Оболенский!

Мельком взглянув на Ивана, Селиванов увидел, как побелели его губы и помертвели глаза.

— Мамку с папкой не помнишь, значит?

— Я ж тебе сказал — детдомовский!

— А место рождения как в паспорте указано?

— Написано — в Иркутске, только я там и не бывал. Детдом в Заларях был, а курсы в Черемхово кончал, после сюда послали...

Он кидал взоры на недопитую бутылку, но Селиванов делал вид, что не замечает.

— Пьешь давно?

— А чо! Я на свои пью, не на ворованные! Кому плохо?

— Когда пить начал, спрашиваю?

Голос Селиванова был угрюмым, Оболенский вертелся под его взглядом, а в сторону Рябинина даже не смотрел.

— В детдоме пили... — ответил он робко.

— Чего, там все, что ли, пили?

— Ну, не все...— и не вытерпел: — Ну чего с допросом пристал! Говори дело!

— Пойдем! — Селиванов встал. Они вышли во двор, Селиванов осмотрелся вокруг.

— Вишь поленницу? Нехорошо стоит. Надо к тому забору перетаскать, чтоб ветер не порушил. Литр за мной, как сделаешь!

Оболенский даже рот раскрыл от удивления.

— Ты чо, Селиваныч, того? Зачем мыться заставил?

— Какое твое дело! — закричал Селиванов. — Хошь литр иметь — делай, что говорят!

И вернулся в избу. Рябинин сидел, обхватив голову руками. Когда Селиванов сел рядом, поднял голову, спросил тихо:

— Неужто правда, Андриан?

— Вот какая штука, Ваня! Пригляделся я к нему сегодня... Похож он на мать. Испохаблена морда свинской жизнью, а все равно похож! Только пошто ж она ему свою фамилию прописала? Хотя опять же: твою-то еще хуже — враг народа... — Покачал головой. — Вот какая она, жизнь наша! Да чтоб я перед ей башку склонял?! Надо думать, Ваня, Бог твой, ежели он правильный, когда-нибудь пошлет на ее потоп смертельный, потому что не жизнь это, а б... Когда война была, тут кое-кто шипел: дескать, вот кара идет... Я и тогда понимал: не человеческого ума дело — судить эту жизнь, потому что сотворена она не руками человеческими!

Он сердито взглянул на икону над Ивановой головой.

— Ну что делать, Ваня? Ведь можно его еще вернуть к человеческому облику! Ведь того не может быть, чтобы порода напрочь протухла в человеке?

— Ошибка, может? — без всякой надежды сказал Иван и сам же отмахнулся от этой мысли. — Неужто сына нашел? А если нашел, так ведь это ж сын! Мой и ее... Открыться надо!

— Не спеши. Не сразу это делать надо. Видишь, алкаш он... Попробовать бы оторвать от него бутылку сперва.

— Постой! — встрепенулся Рябинин. — А годов ему сколько? Когда родился? Ему нынче сколько должно, а? Двадцать пять? Так?

Селиванов громыхнул табуреткой и выскочил во двор. Вновь перепачканный смолой и берестой, Оболенский таскал поленья от забора к забору и как попало складывал их.

— Слышь ты! Ты какого года рождения будешь?

— Чего?

— Сколько лет, говорю?

— Двадцать пять! А чо?

— Ничо! Поленницу кладешь, как дите молокососное!

Селиванов повернулся и хлопнул дверью. Снова сел рядом с Иваном.

— Значит, он?

— Он, Ваня!

— Что он там делает?

— Поленницу таскает с места на место.

Иван положил ладони на стол и выпрямился.

— Какой ни есть — сын мне! Стало быть, объявиться надо!

— Ну, не спеши, говорю! Давай сбегай в тайгу пока, а я с ним повожусь, присмотрюсь, авось отскребу что путное в душе! Не может порода пропасть вчистую!

— Так разве... — заколебался Иван.

— А я что говорю, — подхватил Селиванов. — Все равно парня подготовить надо!

— Пойдем посмотрю на него еще!

— Посмотри, — ответил Селиванов, поднимаясь.

Поленница, которую складывал Оболенский, приобретала такой отвратный вид, что Селиванов не удержался, чтобы не сплюнуть.

— Во бестолочь!

И вдруг испуганно взглянул на Ивана. Ведь отец! Придержать язык надо. Но никак не привязывался этот баламут к Ивановой бороде. А к жене его — лебедушке, какой помнил ее Селиванов, а уж к деду-офицеру (и подумать только!)? Срамота одна! А те, в городе, разве признают его за родственника? Ничего себе братец для сестрички выискался! Хоть бы поленница не рухнула, пока все перетащит! И понял — рухнет. Еще две-три охапки — и непременно рухнет!

— Хорош! Кончай! — крикнул, не скрывая зла. — Отработал! Кончай, говорю! Оставь эти на месте!

Оболенский пожал плечами. Глядел недоуменно на стариков. Иван спустился с крыльца, подошел к нему вплотную, печальный, суровый.

— Спасибо!

— А я не за спасибо! За спасибо медведь вкалывает!

Иван смотрел на него все так же печально, и парень сник малость.

— Да нет, я могу и так... подумаешь, полешки таскать...

Не очень искренне это прозвучало, но Селиванов заметил, как оттаял взгляд Ивана. Даже в фигуре легкость появилась... А вообще-то с какой стати парню чужому дрова таскать?..

— Спасибо! — еще раз сказал Иван и пошел в избу. Проходя мимо Селиванова, взглянул как-то виновато.

Селиванов вынул десятку из кармана, подал Оболенскому.

— Сколько даешь-то? — засопел тот.

— Червонец.

— А за что червонец? За три полена?

— А ты сколько хочешь?

Парень плюнул, выругался.

— Иди ты... Не надо мне ничего. Темнишь! Мыться заставил... Теперь червонец за три полена даешь! Чо тебе надо от меня?!

Селиванов немного растерялся.

— Видишь, хороший человек один живет! Четвертак ни за что от-

мотал! Дрова понадобиться могут или еще что... Будешь катить мимо на тракторе, загляни...

— Так бы и говорил сразу, — успокоился Оболенский, нетерпеливо захрустев десяткой. — Это можно! Я в Рябиновку каждый месяц хоть раз, да катаюсь! Будет дед в ажуре! А как это — четвертак ни за что? — усомнился он.

— Гуляй, — махнул Селиванов. — Будет сухо в глотке, приходи ко мне, размочу!

— Иди ты! — расплылся в удовольствии Оболенский. — Но ты даешь! А все говорят, что ты жмот!

— Говорят — зря не скажут! Гуляй!

И он выпроводил его за колодец.

Рябинин пошел в тайгу один. И как ни отговаривал его Селиванов, пошел на свой бывший участок, хотя знал — участка по сути нет, по самой его сердцевине ведут высоковольтную, а это значит: зверье вон, и тайге язва, порежут не только угодья и тропы, но и ручьи и родннчки! Ветер-сквозняк да вонь машинная...

Шел как во сне, в том постылом лагерном сне, когда ночь не отдыхом бывала, а пыткой. И сейчас казалось, что спит, и непременно проснется в тот миг, когда останется десять шагов до какого-нибудь зимовья, или когда ружье вскинет на добычу, или просто на душе радостно станет от встречи со знакомым местом. И до того сильно было это ощущение сна, что иногда останавливался Рябинин поперек тропы и говорил что-нибудь громко, чтобы голос свой услышать, но все равно слышал его будто со стороны, как раз, как во сне и бывает, качал головой удивленно и шел дальше. Останавливался как вкопанный, если вдруг узнавал камень или — еще того чуднее — пень (ведь сколько лет прошло!); и наоборот, чуть не бегом бежал, когда догадывался, что впереди поворот тропы направо или налево, а там спуск малость или подъем, и когда все так и было, говорил себе: «Ага! Ишь ты! Помню!» Хмурился, если попадалась незнакомая развилка. Это значит, тропа, что поменьше, — молодая, без него уже вытопталась, и неприятно это было, и ревность просыпалась к чужому, кто ходил здесь без него, как будто на то прав не имел.

Не нашел одного родничка, другого. Пропали... Это бывает в тайге. Зато появились другие, но он из них не пил. Ко всем голосам тайги прислушивался особенно, они ведь ни в чем не изменились, и он узнавал их все, и каждую тварь голосящую называл вслух ее именем.

Было самое начало осени, первые дни ее, и матерой тайги она еще не коснулась; лишь чуть вялой стала трава на редких лужайках, и не было зноя, и небо чуть утратило яркость; а во всем живом и растущем чувствовалась не то чтобы сонливость, а скорее покой и тихая созерцательность, когда после долгих и важных хлопот выпадает, наконец, желанное время, чтобы осмотреться благодушно и доброжелательно и сказать себе: не так уж все плохо вокруг, и сам не так плох, а впереди, кто знает, еще, возможно, немало доброго и радостного.

Бывший участок Рябинина не был кедровым. На сопках преобладала сосна, по вершинам — листвяк, червяком изъеденный, в распадках — мешанина из хвои и листов, и лишь вдоль ручьев из сплошного ковра бадана поднимались кедры-дубняки в два, а то и в три обхвата, часто с обломанными верхушками. Ветви их щедро были обсыпаны шишками. Никакой колот не стряхнул бы их, даже дрожь от удара не дошла бы до ветвей. Потому кедры эти человеком не трогались, а шишки висели до первых морозов и до первого сильного ветра (если не прилетала птица-кедровка, конечно). По ветру шишки падали в снег

и сохранялись до весны подарком для белок и бурундуков, а то и для охотников, — кто откажется пощелкать орешки весной!

В дубняках у ручьев всегда в полдень отдыхал глухарь. Не вспомнив о том, а лишь по неутраченной привычке Рябинин, подойдя к одному из таких мест, снял с плеча селивановский «Зауэр». Но не взорвалась тишина свистом и шумом глухариных крыльев. Лишь бурундук пискнул где-то в камнях у ручья. Участок был пуст.

Рябинин облазил песчаную полоску вдоль ручья — ни одного следа не обнаружил. А за этим ручьем и начинался его бывший участок. С первых шагов по нему понял он, что зря не послушал Селиванова и пошел сюда. Еще до того, как попалась ему на траве обертка от сигарет, а затем и кострище с безобразием вокруг, мысли Рябинина уже покинули тайгу и вернулись ко всему, от чего он надеялся укрыться хоть на несколько дней в таежных сумерках. Дочь, внук и... сын. Почему вышло такое? Что делать? Как жить дальше? В такой последовательности, потом в обратной, и наконец вразнобой прокрутились в голове думы. Отчего не может он принять решений? Почему смятение? Может, вернуться, поехать в Слюдянку в церковь, потом пост наложить строгий? И вот разумом уже знал, что именно так и надо поступить, но когда это понял, в тот момент и пошел дальше — угрюмый и поникший. И началось все к одному: человеческое беспутство в тайге, усталость в ногах, машинный шум за гривой, боль в спине, разграбленное зимовье, а вокруг пни — на полста шагов. И схватила жажда за горло, да так, что язык к небу прилип.

Ручеек, что когда-то любовно обложил он камнем, не то иссяк, не то вытоптан: еле-еле пробивается струйка тоненькая из-под кочки, и вода болотным застоем отдает. А вокруг — банки консервные, бумага, тряпки и вся человеческая нечистота. Но и этого мало. Дали какому-то выродку рода человеческого топор в руки, шел и сек одно за другим деревья из ненависти к красоте и свободе: на каждом, что устояло, засека хулиганская. Смолевыми слезами тихо плакала тайга, беззащитная, обезображенная.

Рябинин стал на пороге своего зимовья, окинул взглядом развороченную печь, переломанные нары, выбитые окна и — отступил. Прислушался к машинному шуму за гривой. В той стороне тоже было у него зимовье-землянка, где когда-то Селиванов, желая ему насолить, разделал изюбря, да и попался; оттуда гнался за ним Рябинин и получил картечину в ляжку. Эта нога теперь более всего ныла. Но не в картечине было дело.

Еще раз спустился он к бывшему роднику, черпанул ладошкой, чтоб губы смочить, и пошел в сторону машин — своими глазами захотел посмотреть людскую волю, словно испытать себя истязанием надумал. Вышел на вершину гривы и уже с нее увидел просеку, стрелой уходящую в горизонт, отвратительную в своей прямоте, будто острой косой — да поперек спины... Но возмущения в душе не было, а лишь печаль... Прямо под ним два бульдозера елозили в тупике просеки, надсадно взвывали, словно одичавшие, голодные псы. Людей было не видать, и оттого жуть исходила от железных собак.

Рябинин пошел на них. И чем громче становился рев, тем сильней стискивал он зубы. До ломоты в скулах.

Появился он в самом тупике просеки. И люди онемели, увидев его. Это были мальчишки, сопляки примашинные, что рождаются в мазутных запахах, вырастают в лязге дизелей и посвящаются машинам на пользу человечества. Потому что оно без машин и шагу ступить уже не может.

Когда ребята подошли к Рябинину удивленно-радостные, они показались ему сыновьями. И вот уж воистину чудо: он, не почувствовавший в Оболенском свою плоть и кровь (или так ему показалось?), вдруг ощутил родственность к этим чужим мазурикам. Ему захотелось

сделать для них что-нибудь хорошее, сказать что-то доброе, чего не сделал и не сказал он сыну своему. Но он не знал, что надо сделать и сказать, и потому стоял и улыбался.

— Вот это да! — воскликнул один, коренастый и широкомордый, щедро показав крепкие, редкие зубы. — Ты откуда, дед?

— Из Рябиновки. А вы?

— А мы с Тунки. Высокий вольт гоним. Тридцатый километр уже! — Парень оглянулся на своих и произнес восхищенно: — Вот это дед!

Другой, видимо старший из них, протянул Рябинину руку.

— Дед, ты случаем не из сказки?

— Точно, — сказал Рябинин, пожимая мазутную руку. Хотелось добавить: мол, не дай вам Бог в эту сказку самим попасть, да ни к чему это было.

— Когда-то мой участок был, — сказал он, окинув взглядом соседние гривы. — Промышлял тут...

— Теперь твоему промыслу хана! — сказал один из парней с полным сочувствием.

— А ты не от избушки идешь, что там, за горой?

— Оттуда.

— Во! Мы сегодня туда переберемся, а то прежний балаган больно позади остался! Слушай, дед, приготовь нам жратву, ну, в смысле тушенку свари, а мы придем и вместе пир закатим, горючее имеется, спиртяга, значит, а? Сказку нам расскажешь! Мы сегодня рано кончим, план перевыполнили, а это дело, сам знаешь, отметить надо! — И, не получив еще ответа, крикнул: — Генка, тащи тушенку!

Рябинин не только согласился, но обрадовался даже. И когда в его рюкзак натолкали банок, а на лямки навешали котелков, он, звякающий и гремящий, бодро направился назад, к разгромленному зимовью, забыв про усталость и ломоту в спине, хотя груз за спиной оказался изрядным. Рябинин теперь знал, чего он хочет от этих мазутных парней: расспросить о сыне. И не важно, что они его не знают, он спросит их о том, о чем сына спросить хотел. С ними ему будет свободно. Ведь они живут — значит, есть у них что-то, что к жизни их побуждает. У них есть ум, значит, они думают, у них есть родители, которые их любят.

Последняя мысль вдруг обернулась ознобом. Не выходит ли так, что ему надо учиться любить по-родительски? Многих людей он любил, но не подходит та любовь ни к сыну, ни к дочери с внуком, ни даже к Селиванову. И Бога он любит. Правда, всегда любил его умом, но случилось, что любовь эта таким чувством оборачивалась, что одной только памяти об этом хватало на месяцы, чтобы трепетать от счастья пережитого...

А сын? Алкоголик, почти идиот... Должен он его любить? Но как? Слово «сын» крутится по кругу в голове, но никак с круга того в сердце не срывается.

А дочь? Это слово давно в сердце есть и никогда не покидало его — оттого боль, и обида, и еще какие-то чувства, к которым и присматриваться не хочется... Тянутся от него и к нему нити, тоненькие, слабые, и путаются от первого прикосновения, и рвутся, и приходится их распутывать и связывать наново... И во всей этой работе — великое напряжение и смятенность. Господи, как тяжело! Прости господи, там было легче!

Знает Рябинин, что мысль эта греховна и сутью своей неверна. Не может такого быть, чтоб человеку в своем уме — в унижении и неволе легче было... Но какая смятенность! Ведь не было ее там.

Там ведь как думалось? Вот кончится срок, а с ним испытание кончится. И радости воли наградой будут. А мудрость понадобится на то, чтобы радость спокойно принять. Да разве так получается? Вроде и нет ропота на Бога, но смятение... А что есть смятение как не ропот?!

...Первым делом насобирал дров, перекладину соорудил, котелки с водой повесил над еще не зажженным костром, чтобы потом только спичкой чиркнуть. И занялся зимовьем. Сколько всякого хлама выволок изнутри — тошнота сплошная! Нужно было чинить нары, топорик же взял с собой маленький, с резиновой рукоятью, много ли им нарубишь! Но нарубил, перестелил и укрепил нары. Берестой заделал одно окно, чтоб сквозняка не было. Дверь навесить не удалось, петли проржавели. Вырубил пазы в проеме, чтобы можно было дверь вставить изнутри; жилье без двери — не жилье! Притом думалось даже, что другим летом поставит новое зимовье, просторное и светлое. Прогонят просеку, протянут провода и — уйдут. Зверье вернется. И хоть останется в тайге шрам, так и со шрамом живут!

А зимовье он поставит такое просторное, что в нем вся его семья летом жить сможет. Разве вырастет человек нормальным, ежели таежным воздухом вскормлен не будет! Он и лечит, этот воздух, и молодит, и все в человеке к спокойствию и серьезности приводит.

Рябинин стал припоминать самые красивые места на участке, чтоб и родник, и сухость, и сосняк добрый. Там и будет зимовье ставить. Продумывал, как короче конную тропу туда проложить, чтобы кирпича завезти для печки и прочие необходимые материалы. А лес на избу нужно валить не иначе как в километре от места, чтобы зимовье будто от корней ближних сосен вырастало, чтоб ни один пень не досаждал глазу; хорошо бы рядышком две-три лужайки, где сенца подкосить для лошадей и для зверья таежного, да и запах сенный близ зимовья — всегда радость человеку. От селивановской суки щенков взять...

Вот опять же Селиванов! Рябинин все откладывал думу о нем, потому что много и крепко нужно было думать. А если много не думать, то не для него ли сберег Господь Селиванова — единственную душу родную! За такую мысль было стыдно, но разве могло такое случиться без воли Божьей, чтоб двадцать пять лет человек верность хранил другому человеку, кого уже и в живых не считал! Нечем рассчитаться ему с Селивановым... И тяжко стало за сухость и строгость свою ненужную. Но ведь и не виноват он, что больше удивлялся Селиванову, чем радовался. Все понять его хотел, а надо было не понимать, принять сердцем... Сам-то, поменяйся они с Селивановым судьбой, как жил бы?..

Колючая была мысль. Знал: взяли б тогда вместо него Селиванова, ведь чего доброго, и отрекся бы от него? Было, за что брать его. Сам осуждал, да и сейчас не одобряет, но уже и не судит. И за что ж так прилепился к нему Селиванов? Не за что!

Рябинин закрыл глаза, стал прямо и, как раньше, когда нельзя было открыто сделать крестное знамение и молитву вслух произнести, сказал в уме те слова, какие означали благодарность Богу за все, что на благо свершается.

Когда открыл глаза, голова закружилась и на миг в сердце непорядок возник... «Устал!» — подумал он, прислушиваясь к рокоту машин на просеке. Как они стихнут, так и костер запалить надо. Тушенку сготовить долго ли... Подойдут — и готово будет.

А того момента, когда костер палить, он ждал с волнением, потому что знал, чтó принесет ему запах костра. За те годы приходилось не раз костер палить, похож он был на таежный, волновал и мучил, но лишь по похожести. У таежного костра аромат особый, и он никогда его не забывал, как и многие другие запахи жизни.

На ближний пень, каркнув, села кедровка, стукнула потрескавший и пожелтевший срез пня длинным клювом, трепыхнулась крыльями. «Дуреха! — сказал Рябинин, — заблудилась, что ли! Здесь тебе делать нечего! Лети в распадок, там кедрач-дубняк!» И махнул рукой. Кедровка взлетела и, сделав полукруг над поляной, исчезла в сосняке.

Не приспособлен человеческий язык для таежных голосов. Можно, конечно, натренироваться, учинив насилие над глоткой, но далеко не все звуки тайги передразнишь. С молодости это занимало Рябинина. Ведь у птицы — голос и у человека — голос, услышал — повтори, и заговоришь с птицей! Но нет, предел дан. И, наверно, для того, чтобы птица, да и всякая голосистая тварь свободу свою охранять могла. Человек потеснить тварь может, закабалить, даже убить, но не душой овладеть. Значит, ему это не положено!

Рябинин пытался вслушаться в голоса тайги, но сейчас все, что еще оставались на этом участке, подавлялись отдаленным шумом машин. Ему даже показалось, что рев бульдозера стал сильнее...

Он придирчиво осмотрел зимовье, вошел внутрь, поискал, чего б еще починить, но все требовало ремонта серьезного: печь, потолок, пол. Он вышел и замер в недоумении. Машины ревели громче, и что было странно, — ближе, теперь уже без всякого сомнения. Вой бульдозеров словно накатывался в его сторону. Что-то страшное, непонятное наплывало на сердце так, что оно должно было работать сильнее, будто защищаясь от наката грозных и опасных сил.

Рев, казалось, уже шел с самого верха гривы. Рябинин ощущал трепетание земли и деревьев. Рев подкатывался к горлу диким взрыванием моторов, и казалось: то ли чудовища ревут, злобствуя, то ли земля кричит в отчаянии... Он все еще не мог сообразить, что бы это значило. Истуканом стоял у двери зимовья, и борода его вздрагивала в ответ сердцу, потерявшему ритм. И вдруг все впечатления дня, как в фокусе, сошлись— его озарило. Он ахнул и схватился за голову. Потом метнулся, нашел топорик и побежал изо всех сил. Он бежал туда, где в это мгновение сам антихрист, веками таившийся и подличавший в невидимости, выпрыгнул из мрака и спешит с ненавистью разрушить на земле все живое в коротком времени Божьего попустительства. Он бежал вверх по гриве, не ощущая, что сердце не поспевает за ногами, не замечая веток, хлеставших по лицу, камней и моховых ловушек. Бежал поперек завалов, спотыкался, падал, поднимался и снова бежал. Когда же взлетел на гриву, сердце взлетело еще выше и потянуло за собой ввысь. Чтоб не улететь, он обхватил руками тонкую сосенку, припал к ней и с ужасом глядел на то, что свершалось внизу, у него под ногами.

Маленькие, дерганые бесы оседлали бесов могучих и яростных и рвались к вершине, сокрушая все на пути, оставляя за собой два нетленных следа смерти!

Рябинин увидел:

оборванные, грязные люди рвали на куски издыхающую лошадь, судорожно жевали, толкались и били друг друга кровавыми кусками мяса;

падающие деревянные опоры и глыбы земли рушились на людей, давили их, ломали ноги и руки, сплющивали головы;

в полутемном бараке в клубок сплетаются десятки тел, крики, кровь, мелькают ножи, выстрелы из окон, собаки...

Картины мелькнули перед глазами, ослепили, обожгли и вырвали с корнем сердце...

А было: парни на бульдозерах прорывались к зимовью. Они хотели торжественно появиться перед таинственным дедом, как древние муромцы на могучих конях. Круша все на своем пути, они вошли в такой азарт, что походили на малых детей, зарвавшихся в игре. Но зла в их душах не было. И когда перед ними вдруг появился старик с обезумевшими глазами, весь в ссадинах и крови, они застыли.

Взмахнув топором, Рябинин кинулся на ближайший бульдозер.

— Ты чо, дед?! Ты чо?! — заорал водитель, торопливо дергая рукояти.

— Бесы!!! — крикнул Рябинин так, что услышали его на втором бульдозере.

— Псих! — крикнул кто-то, и всех как ветром смело с бульдозеров. Топорик с резиновой ручкой отскакивал от металла, пока не попал на стекло. Вместе с осколками рухнул на землю Иван Рябинин. Рука с топором скребанула по земле и замерла.

6

Селиванов стоял на краю дороги, махал руками и бранился. Бортовая машина притормозила, но он отмахнулся: ему нужна была легковая. А частник проскакивал мимо, не глядя на Селиванова. И когда он, отчаявшись, выскочил на середину дороги перед черной «Волгой», та остановилась. Из нее не торопясь вылез здоровенный детина. Потянувшись и поиграв бицепсами, он шагнул к растерявшемуся Селиванову и спросил беззлобно:

— Чего хулиганишь, божий цветочек?

У Селиванова кровь отлила от лица, но он сдержался.

— В Слюдянку... обратно... в Лучиху... обратно... полста...

— Иди ты! — усомнился парень. — Это по старым деньгам, что ли?

Селиванов вынул из кармана новенькую пятидесятку. Тот почесал в затылке и посмотрел на часы.

— А что — рискнем?

Селиванов шмыгнул на заднее сиденье, забился в уголок, чтобы шоферу не было видно его в зеркальце.

— Куда в Слюдянке?

— В церкву!

— Иди ты! Помирать собрался или в грехах каяться?

Селиванов не вытерпел.

— Твоим языком бы да хлев чистить!

Парень загоготал и врубил на полную мощность приемник. Селиванов поерзал, подтянулся к уху шофера и прокричал зло:

— Ежели так всю дорогу, то вези меня прямо в морг!

Тот снова загоготал, убавил радио, а к Селиванову больше не приставал.

Священник оказался молодым, высоким, красивым и голоса приятного, что несколько смутило Селиванова.

— Извиняюсь, значит, помер человек, друг мой... — он поперхнулся, — верил он в Бога вашего... Надо, чтоб все по закону...

— Где жил покойный? — спросил священник.

— Жил? — И вдруг в оба глаза накатило по слезе. Селиванов смахнул их. — Жил далече, где вам не дай Бог... А лежит он теперь на столе в доме своем, в Рябиновке, значит... — И предупредил жест священника: — Машина у меня... заплачу, само собой, как положено...

Они помчались в Рябиновку. Шофер косился в зеркальце на священника, приемник выключил совсем и лишь подсвистывал иногда.

— Вы, как я понял, в Бога не веруете? — деликатно спросил священник.

— Не могу я в него верить, потому как ни мудрости, ни доброты в ем не нахожу! — ответил Селиванов угрюмо.

Священник покосился на него, но спорить не стал. Селиванов снова заговорил:

— Один человек всю жизнь грехом живет и даже занозу в палец

не получит, а другой... собаку за всю жизнь ногой не пнул, а на него — все беды, какие только ваш Бог придумать может...

Священник молчал.

— Дескать, на том свете зато рай! А кто это доказать может? А я хочу знать, за что мой дружок Ванька Рябинин на этом свете страдал? Молчишь, Божий слуга?!

— Нет доказательств, — ответил тот спокойно. — А ответ вам только вера дать может.

— А если мне, чтоб поверить, ответ сперва нужен? В чего мне верить, если я главного ответа не слышу!

Вдруг он заплакал и стукнул кулаком по колену.

— Не хочу говорить ни о чем! Треп это все!

Около дома встретили священника старухи. И откуда их столько набралось — будто со всего света съехались! Руководила всеми с запухшими от слез глазами Светличная.

— В Лучиху! — скомандовал Селиванов шоферу.

— В Лучиху так в Лучиху!

И рванул с места.

— И сколько этим Богом будут людям мозги зас...ть! На кой хрен этих попов держут до сих пор!

— Мяса на тебе много, потому ума мало! — ответил Селиванов.

— Слышь, дед, я на твою полсотню плевать хотел! Выкину тебя в кювет, и поползешь на своих!

— Ну и выкинь! Выкинь! — заорал Селиванов, поднимаясь на сиденье и швыряя на колени шофера ассигнацию. — Остановь, я сам выйду! Только если у тебя в мозгах понос, так вонь свою держи в закрытости! Остановь, говорю!

— Ты чего деньгами раскидался? — обозлился шофер. — Богатый шибко! И выкину вместе с деньгами твоими!

Селиванов грудью влип в спинку переднего сиденья, — так резко сработали тормоза. Выпрыгнув первым, он подскочил к окошку шофера и крикнул:

— Понос!

Шофер догнал его в полста шагах от машины, схватил за плечо и влепил ему в ладонь ассигнацию.

— Ну, старик, счастье твое, что ты старик! Забирай свои деньги и мотай отсюда!

— А я не помотаю! А я вот тут стоять желаю! — орал Селиванов.

Он хотел швырнуть деньги в лицо шоферу, но тот перехватил его руку. Селиванов охнул и разорвал ассигнацию пополам, потом вчетверо и, воспользовавшись шоком парня, швырнул в него обрывки. Шофер поднял с земли клочки, рассмотрел и сказал глухо:

— Ну чего распсиховался! Деньги рвать... Поехали в твою Лучиху... Сам же говорил, что Бог того...

Селиванов затих.

— Худо мне, паря! Страсть как худо! Жить неохота!

— Ну чего, понять можно... друг помер...

Он подошел к Селиванову, положил руку на плечо.

— Поехали, а то начальник мой спохватится...

Селиванов выпотрошенным кульком поплелся к машине, вполз на сиденье, откинулся и закрыл глаза.

За конторой промхоза в прицепной кузовок трактора грузились двухсотлитровые бочки. Оболенский вертелся возле хмурый и чумазый.

— Со мной поедешь! — крикнул Селиванов еще на подходе.

— Не! — замотал головой Оболенский. — На базу. В Широкую падь иду, бочки вон...

— С... я хотел на твои бочки! Со мной поедешь, говорю. Машина стоит!

— Ух ты! — восторженно откликнулся тот, заметив «Волгу». — Не могу, Селиваныч! Начальник и так орал уже...

— А я на начальника, знаешь, что положил! За шиворот потащу!

И он потащил.

— Э-э! Ты куда его! — заорал вывернувшийся из-за кузова мужик, начальник участка Широкой пади. — Ты что, Андриан Никанорыч, сдурел, что ли! У меня в тайге тонна черники киснет! С кровью трактор вырвал у начальника!

— Забирай трактор, а мне этот нужен! — крикнул Селиванов, таща за собой упирающегося Оболенского. Мужик кинулся в контору. Когда Селиванов с Оболенским уже подошли к машине, с крыльца конторы сорвались в их сторону двое начальников — Широкой и промхоза.

— А ну стой! — крикнул начпромхоза. — Ты чего безобразничаешь, Селиванов! Чего командуешь! А ты — марш на трактор!

Селиванов схватил Оболенского за штаны и оттащил назад к машине.

— Не ори! В милицию его везу! Убийство он совершил! Понятно?

— Чего? — завопил Оболенский, выпучив глаза.

— Лезь в машину!

Он нагнул голову Оболенского и коленкой поддал под зад. Начальники растерянно переглянулись. Селиванов прыгнул в машину, хлопнул дверью.

Машина рванула с места.

У крыльца рябининского дома стояло такси, и Селиванов догадался, что приехала Наталья.

— Андриан Никанорыч! Ну как же это так! Почему?

— Я виноват, — ответил он тихо, уже который раз за сегодня смахивая слезу. — Не должон был его одного в тайгу отпускать! С непривычки сердцем надорвался! Сказывают, упал, и все! Легкая смерть, и тому порадуйся! Хоть смерть легкую заслужил...

— Мы даже не поговорили! Господи! И встретили его нехорошо!

— Не плачь! Кто знает, может, и лучше так для него! Не плачь!

Он пальцем вытер ей глаза, а она вся тряслась и захлебывалась от слез. Легко отстранив Наталью, Селиванов вернулся к порогу, где стоял поникший тракторист. Он ввел его в комнату, где посередине на столе лежал в гробу Иван Рябинин. У изголовья стоял священник. Грустно и задумчиво смотрел на умершего.

Растолкав старух, Селиванов сказал громко:

— Ну-ка, подите все на двор, подышите воздухом, родные прощаться будут!

Старухи неохотно попятились к двери, крестясь и перешептываясь, — Селиванов нарушал обычай.

— Видишь, кто помер? — сурово обратился он к парню.

— Ага! — кивнул Оболенский. — Это тот дед, который...

— Отец твой!

— Какой отец! — вдруг осипшим голосом почти прошептал тракторист.

— Твой, говорю, родной, которого власть упрятала в чертово логово, когда ты еще родиться не успел! И мамка твоя, родив тебя, сгинула в том же логове ни за что ни про что. И ты вырос мазуриком чумазым, потому что не было у тебя ни матери, ни отца, а одна только власть народная! Хотя и при том мог бы человеком вырасти!

Священник с тревогой слушал Селиванова. Оболенский смотрел на покойника широко раскрытыми глазами. Сзади послышались шаги

и всхлипывания. Подошла Наталья, перехватила руками горло. Черный платок размотался у нее на шее и сполз на плечи.

— Ну вот, — сказал Селиванов, взяв ее за локоть и обращаясь к Оболенскому, — а это сестра твоя, а он, значит, брат твой родной!

— Что? — простонала она.

— Иваном его зовут! В честь отца мать назвала, да уж лучше б не делала того.

Оболенский и Наталья смотрели друг на друга в ужасе.

— Селиваныч, это — правда?! — прошептал Оболенский.

— Хуже правды... — ответил тот печально и, обойдя гроб, стал у изголовья, рядом со священником.

— Ваня, Ваня... — покачал он головой. — Нынче понимаю я, за что тебе жизнь такая выпала! — Он помолчал. — Это ты все мои грехи взял на себя! И расплатился, и помер за меня раньше времени! Я всю жизнь думал да гадал: чего леплюсь к тебе, чего цепляюсь? И сам не знал, подлец, что душу чистую приблизил для спасения своего!

Священник тихо возразил:

— Каждый за свои грехи сам ответ держит!

— А у кого их нет, тот чужие на себя берет!

Священник перекрестился и промолчал.

— И муку за ваши грехи, — кивнув Наталье и Оболенскому, продолжал Селиванов, — и эту муку он тоже взял на себя! И, видно, еще что-то, больно много ее было, муки той, для одной чистой души! А чем отплатим ему?! Ваня! Ваня!

Закричав, бросился вон Оболенский. Наталья выбежала за ним.

— Не нужно отчаиваться, — сказал священник. — Жизнь Богом дана, и он знает зачем...

— Бог знает, да не говорит! Ведь даже тебе не говорит! А мне уж и подавно не услыхать!

В окно было видно, как подъехала к дому грузовая машина, отделанная черным крепом. Из машины выпрыгнули мужики и стали выбрасывать еловые ветки...

— Ну вот! Выстелют тебе, Ваня, сейчас последнюю твою дорожку хвоей таежной... Мне бы, что ли, помереть уж заодно...

7

Был закат. За деревней все лежало уже во мраке, зато она золотилась и сияла, как чудо-град в море-окияне. Особенно светились рябины. А сквозь их листву полыхали кострами окна. Все преобразилось, даже проржавевшая рукоять рябининского колодца и та будто позолотой покрылась.

Селиванов сидел на ступеньке крыльца, и ему казалось, что он — один большой, немигающий глаз, видящий все вокруг, наблюдающий за всем, но никак не участвующий в жизни. Через час-другой стемнеет, люди, что воют песни в доме, разбредутся, и он останется один на один с ночью.

Собаки, привязанные около дровяника, встретившись с его взглядом, чуть шевельнули хвостами, но он никак не ответил им. «Продать их надо!» — подумал он. И то, что такая невозможная мысль пришла ему в голову, не удивило его. Ведь как было: когда засыпал могилу, в земле камень оказался, а когда он по гробу стукнул, Селиванов в груди боль от удара почувствовал, потому что хоронил и самого себя. А когда гроб из дому выносили, почему он подумал: «Зачем такой длинный?» — Потому что на себя примеривал! А когда гроб опустили, он долго не мог команду дать, чтоб засыпали... Разве не подумывал рядом лечь? Почему ворчал, что узка могила, — поленились мужики?

Но было в душе и нечто другое, что никак мыслью не оборачивалось и мешало додумать вопрос о своей жизни.

Шатаясь, вышел из избы Оболенский. Его перед тем вымыли, постригли и переодели. Пока рта не раскрывал, казался вполне приличным. Но ведь, сукин сын, матюгнулся, когда гроб в сенях углом зацепился за наличник. Снес бы ему башку, не держи он гроб... Увидев Селиванова, проковылял к нему, остановился в двух шагах...

— Я на тебя, Селиваныч, теперь всю жизнь зло иметь буду!

— Ишь ты! — удивился тот.

— Пошто сразу не сказал, что отец он мне? Какое право имел?

— А ты какое право имел балбесом вырасти? Из детдома сколь хошь людей выходят, а ты свиньей выполз! Тебя отцу родному стыдно показать было! Да он, может, от тоски с твоего вида в тайгу помирать подался!

— У меня вся жись поломанная! — хныкнул Оболенский.

— Каждый свою жизнь сам ломает и чинит! — буркнул Селиванов и махнул рукой. — Иди, лакай самогон! Праздник тебе, нажраться можешь до синих белков!

— А мне, может, он сегодня в горло не лезет! Я, может, тоже помереть хочу!

— Ты-то! — презрительно сплюнул Селиванов и вдруг встрепенулся. — А может, и взаправду помереть хочешь! А?

— А чо! Запросто... — не очень уверенно подтвердил Оболенский.

Селиванов вскочил.

— Слушай, паря! Нету здесь нам с тобой простору! Айда в Слюдянку! Там ресторан! Музыку закажем такую, чтоб Иван оттуда услышал! Душа-то его теперь над всем миром летает, все слышит, все видит! Нешто здесь с ней поговоришь!

Он схватил парня за рукав, и они почти побежали от дома в сторону тракта.

Громадный скотовоз заглотнул их в свою кабину и помчал прочь от солнца, которое перед заходом цеплялось за вершины сосен.

Они ехали и орали похабные песни, старик и сопляк, а шофер сначала было насторожился, но потом загоготал и стал подпевать. В тряске Селиванова развезло, он то и дело замолкал и тупо вопрошал: «Куды едем?» Оболенский орал шоферу: «Куды едем?» Тот ржал и кричал: «В вытрезвитель!» На полдороге их захватили сумерки. Шофер включил фары. Когда в их лучах рисовалась встречная машина или мотоцикл, Селиванов хватал шофера за рукав и кричал: «Дави! Дави его, гада, чтоб не отсвечивал!» Оболенский стал клевать носом, Селиванов бил его локтем в живот, тот вскрикивал, стукался лбом о дверку кабины, матюгался и снова засыпал. Селиванов же словно боялся остановиться в лихости своей и балагурстве, будто страшился собственного молчания и покоя.

Криком встречал и провожал он все, что пролетало мимо них в сумерках. Когда же дорога была пуста, бранил громко шофера и его машину.

Слюдянка вывернулась из-за поворота огнями. В кабину хлынула прохлада байкальского вечера и чуть утихомирила Селиванова. Очнулся Оболенский и невнятно замычал.

— Куда выкинуть вас? — спросил шофер.

Селиванов сказал:

— В церкву! — и сам удивился.
Оболенский икнул и дернулся. Машина проскочила по открытому переезду, обрызгала грязью несколько палисадников и прохожих, рыча проползла по хиленькому мосту и остановилась у церкви. Щедро отвалив шоферу, Селиванов вытолкал из кабины икающего Оболенского и выкарабкался сам.
— Где ресторан-то? — спросил Оболенский.
— Жди здесь! — крикнул Селиваиов и направился к церковной калитке. Над крыльцом горела лампочка, на двери висел пузатый замок. Селиванов качнул его туда-сюда, почесал в затылке.
— Тебе кого? Батюшку? — раздался за его спиной старушечий голос. — Так вон же дом! А служба кончилась, — охотно пояснила старушка. — Иди, иди! Постучись. Собачки там нету...
«Собачки! — подумал Селиванов. — Сам ищу, кому бы глотку порвать!..» Он поднялся на двухступенчатое крыльцо, постучал в дверь и почти сразу услышал шаги; в сенях заскрипела задвижка. «Ишь, не боится поп, не спрашивает. А ежели я с дубиной?»
— Вам что? — спросил священник, не узнав Селиванова в свете слабой лампочки.
— Это ж я!
— А-а! Не признал. Заходите!
— Нет, нет! — поспешно ответил Селиванов и замялся. — Это, значит, помиңаю я друга свово... — И вдруг сунул руку за пазуху, вытащил пачку мятых денег и протянул священнику.
— Что вы! — отступил тот. — Вы и так дали более чем следовало!
— А я не за то! Я хочу за поминание! Вечное! То есть сколько денег хватит... Чтоб каждый день...
Священник покачал головой:
— Не могу! Не положено... У нас казначей есть, он квитанции выписывает...
— А я ие ему хочу! Тебе! Не возьмешь, порву и вокруг церкви раскидаю!
Священник испугался.
— Но я не имею права!
— А я имею! Не хошь — твое дело! Раскидаю! Твой Бог поймет, потому я по совести...
Селиванов двинулся с крыльца.
— Постойте же! — крикнул священник в отчаянии.
— Берешь или нет?
— Сколько вы даете?
— Я не кошка, в темноте не вижу! Сколько даю, столько бери!
— Хорошо, я сосчитаю и все оприходую и сообщу вам...
— Не священник ты, — сказал Селиванов, — а бухгалтер с мясокомбината! Я тебе толкую, что жизни мне нет, душа из тела выпрыгивает, а ты меня оприходываешь...
Он выругался, ткнул ему деньги и, размахивая руками, зашагал к калитке. Но не дойдя, остановился и бегом вернулся назад.
— Слушай... и за меня там чего-нибудь, ну, чего полагается... Я — человек порченый, но ты словечко замолви... на всякий случай.
Священник сунул в карман деньги, шагнул вплотную к Селиванову, перекрестил его.
— Благословляешь? А на что? Когда сосунком был, мать таскала меня на это дело, чтоб, значит, жизнь свою праведно прожил! А теперь-то чего, когда жизнь прошла...
Священник перебил его.
— Будете в Слюдянке, заходите! В любое время! Пожалуйста!
— Поздно мне обращаться! Бывай здоров!

— Ну что? — заскулил Оболенский. — В ресторан-то пойдем?
— Без ресторана нынче никак нельзя! — сказал Селиванов. Но пройдя немного, вдруг остановился около одного дома. У двери светилась табличка. Освещенные окна были закрыты занавесками, по ним плавали тени.
— Надо же! — с удивлением и злобой процедил Селиванов. — В две смены работают! А пристроились-то — у самого Бога под боком! Стой тут! — приказал он Оболенскому.
За первой дверью был маленький коридорчик. Вторая дверь заперта. На видном месте — кнопочка розовая. Селиванов нажал. Открыл ему высокий молодой человек в сером костюме, с галстуком, справный и подтянутый.
— Тебе что, дед? — удивленно спросил он.
Селиванов ссутулился, скособочился, морщины на лице собрал.
— Да я это, как его, то есть, значит, огепеу тута располагается?
— Что? — изумился тот.
— Я говорю, огепеу...
— Ты с луны, дед, свалился? Огэпэу уже сорок лет как нет!
— Ишь ты! — поразился Селиванов, всплеснул руками и присел даже. — Нету, стало быть! Да не может такого быть, чтобы нашей власти народной без огепеу жить! Обманываешь старика?!
Чуть похолодев лицом и заложив руки в карманы, молодой человек снисходительно пояснил:
— Когда-то было огэпэу, а теперь называется — Комитет государственной безопасности, кэгэбэ.
— Кэ-э, гэ-э, б-э-э... — протянул задумчиво Селиванов. — Ить-то имечко какое себе подыскали! Бодучее!..
— Тебе что надо, дед?!
Это прозвучало уже совсем холодно.
— Дык, значит, до начальника мне бы! Дельце неотложное имеется. Он за какой дверью помещается-то?
Тот непроизвольно взглянул на дверь слева, и Селиванов тотчас направился к ней. Холеная белая ладонь преградила ему путь.
— Начальник занят. Говори. Я передам.
— Оно можно, конечно, — жалобно простонал Селиванов. — А ты в каком звании состоишь, извиняюсь?
— Старший лейтенант.
Селиванов выпрямился и с презрением оглядел его.
— Лейтенант! — сказал он возмущенно. — И я тут с тобой время теряю? Тьфу!
Обойдя его, он толкнул дверь плечом и закрыл за собой.
В комнате, в торце длинного стола, сидел в кресле мужчина лет сорока, тоже в костюме, при галстуке, и что-то писал. Не дав ему рта открыть, Селиванов торопливо заговорил:
— Извиняюсь, конечно, шел мимо, гляжу, свет горит, сообразил, что во вторую смену работаете, вот удача, думаю, извиняюсь, конечно, но вопросик мне требуется один выяснить, потому как для жизни моей он самый первый вопрос есть! Так что не гоните старика.
— В чем дело? — сурово спросил начальник.
— Значит, знать необходимо мне, это... власть наша, советская которая, как долго она, родимая, еще нами править будет?
— Как фамилия?
— Фамилия-то? — Селиванов широко улыбнулся. — Мы свою фамилию завсегда говорим! Значит, Селиванов я, Андриан Никанорыч! А ваша, извиняюсь?
— Пьян? — отрубил начальник.
— Есть малость! — охотно согласился Селиванов.
— Документы при себе?
Селиванов будто ждал этого вопроса и тут же подскочил к на-

чальнику с паспортом. Тот бросил взгляд на первую страницу, на прописку и вернул паспорт.

— Иди проспись, а завтра мы поговорим с тобой о советской власти.

Селиванов будто бы даже и не услышал угрозы в голосе.

— Завтра? Это можно! А не обманете? До зарезу мне надо...

— Пошел вон! — рявкнул начальник и грохнул кулаком по столу...

Извиняясь и кланяясь, Селиванов попятился к двери. Выходя из дома, он услыхал, как начальник крикнул: «Каюров!» И косым взглядом увидел кинувшегося в кабинет лейтенанта.

Из мрака выплыл Оболенский.

— Ну чо?

— Пошли! Время уже много, а нам надо успеть нажраться до свинства!

Оболенский захохотал.

— А чего ты там делал, Селиваныч?

— Спросил, когда их власть кончится!

Оболенский будто язык проглотил — долго-долго молчал.

У дверей ресторана тасовалось с десяток парней и девок. На стекле висело объявление: «Мест нет». Селиванов пробился к двери и затарабанил. В стекле появилась важная физиономия швейцара в ливрее, похожей на собачью упряжку. Селиванов придавил ладонь к стеклу. Лицо стража вытянулось, а руки резво зашевелились на дверном крючке. А когда магическая ладонь со стекла легким шлепком перекочевала на ладонь швейцара, тот остолбенел, но ровно настолько, чтобы Селиванов с Оболенским протиснулись в приоткрытую дверь. Они поднялись на второй этаж. В зале нещадно грохотал оркестр, на небольшом пространстве между рядами столов тряслось несколько пар. Официантки белыми ромашками сновали сквозь пестроту и задымленность зала. Оставив Оболенского у двери, Селиванов шмыгнул за столики. И там свершились какие-то замысловатые комбинации, в итоге которых обнаружился свободный столик с двумя стульями.

Селиванов махнул рукой. Оболенский шустро подскочил к столу. В этот момент снова рявкнул оркестр. Ударник так колотил тарелками, что казалось, будто он хлопает потолком об пол, сплющивая присутствующих в немую кашу. Оболенский обалдело крутил головой. Селиванов сидел хмурый, стучал вилкой по столу и шевелил губами, неслышно обкладывая все, что попадало на глаза. За соседним столиком сидело трое парней, почти мальчишки, и одна девица того же возраста. В ритм ударнику они дрыгали всеми своими конечностями, пялили друг на друга помутневшие глазенки и подталкивали друг друга локтями; время от времени они хватались за руки. Оболенский смотрел на них с завистью, Селиванов — с отвращением. Те не замечали их вовсе.

На столе появились графинчики с заказанными коньяком и водкой, биточки-котлеты, салаты и даже салфетки: их Селиванов брезгливо отодвинул подальше, на край стола.

Когда наполнили рюмки, Селиванов хотел произнести тост, но открыв рот, выругался, встал и направился к оркестру.

Оркестр словно нотой подавился и тихо заскулил про бродягу, который бежал с Сахалина. Только неслыханная щедрость Селиванова могла заставить оркестрантов решиться на этот подвиг.

— За друга моего, за твоего отца! Пусть ему будет после этой смерти другая жизнь, чтоб не ушел он весь в землю, а над нею поднялся и улетел от этой земли к... матери!

Оболенский живо глотал котлеты-биточки. Глядя на него, жрущего и чавкающего, Селиванов сказал угрюмо:

— А ведь тебя тоже Иваном зовут, а вот назвать тебя Иваном не могу! Ванькой только если! У мамки в пузе ты был больше Иваном, чем сейчас!

Тот улыбался, жевал, хватал графин и наливал снова. Он на глазах раскисал и весь расползался. И вдруг заплакал.

— Все равно всю жись зло буду иметь! Пошто не сказал про отца?

— Заткнись! — буркнул Селиванов.

— Я с тобой, знаешь, что сделаю! — пьяно залепетал Оболенский. — Я на тебя трактором наеду и поворот включу и буду тебя гусеницей в землю втирать! Во чего я с тобой делать буду!

— Балда, — вяло сказал Селиванов.

— Я тебя трактором...

Селиванов налил ему еще.

— Я петь хочу! — заявил он.

— Пой, дура!

Оболенский вскочил, выпучил глаза и заорал дико, обращая на себя внимание соседей:

Ох, милка моя,
Шевелилка моя!
Сама ходит, шевелит,
А мне пощупать не велит!

Больше он ничего вспомнить не мог, крикнул: «Э-э-эх!» и затопал на месте, перебирая ногами: он плясал. Парни с соседнего столика окружили его, хлопая в ладоши, закатываясь в хохоте и подмигивая друг другу.

— Селиваныч! — завыл Оболенский. — Я угостить их хочу!

Тот молча достал из кармана пиджака четвертной и бросил на стол.

— Всех напою! Имею право!

Мальчишки обнимали его, хлопали по спине, перетащили за свой столик, посадили на колени к девчонке, которая щекотала его и разрешала себя лапать.

Селиванов мрачно сидел в одиночестве, пил и не пьянел. Еще один четвертной улетел из его кармана за соседний столик, откуда визги и крики соперничали с оркестром. Появился администратор и что-то говорил парням, показывая рукой на дверь.

Селиванов поднялся, кинул на стол еще четвертной, подошел к компании и стащил Оболенского с девчонки. Возражавших парней утихомирил коротко: «Цыц, щенки!» Те злобно переглянулись, но смолчали.

Придерживая Оболенского, он вышел с ним из ресторана. Было темно и холодно. Оболенский вырывался, кричал: «Не хочу!», получал тумака и всхлипывал.

— На вокзал пойдем, покемарим до автобуса... Не получились поминки по другу моему! Да иди ты, балда! Надоел ты мне...

Лампочка над входом в ресторан, еще несколько на столбах, а дальше — темнота. Они плелись медленно, на ощупь. Торопиться было некуда. В конце проулка, около вокзала, на кривом телеграфном столбе светилась чудом уцелевшая лампочка. И здесь вот они нос к носу столкнулись с мальчишками из ресторана. Девки с ними не было.

— Ну-ка, дед, вытряхай карманы! — прошепелявил один из них, толкнув Селиванова.

— Чего-о?! — Голос перехватило. Мигом очнулся Оболенский, отступил в темноту.

— Карманы вытряхай! — повторил другой, понижая голос до баса.

— Ах вы щенки блохастые! — задохнулся от ярости Селиванов. — Это вы — на меня? Да вы знаете, кто я есть? Да вы, мокрицы, такого в кино не видали! Ванька!

Но Оболенский растаял, как привидение. А парни стояли, криво ухмылялись и шевелили руками в карманах.

— Выворачивай карманы, старый хрыч, а то схватишь по геморрою!

Селиванова затрясло.

— Пугаешь, сопля косматая! Да меня чекисты пугали и в землю полегли! Власть пугала, да утомилась! А вы... А ну брысь отседа, недоделки!

— Санька! — с радостным изумлением завопил один. — Он — против власти! А ну, врежь!

В глазах Селиванова сверкнуло. Его отбросило, но он не упал. Второй удар был по голове. Кто-то обхватил его сзади, кто-то шарил в карманах...

— Есть?

— Есть!

— Выб...ки! — заорал Селиванов. — Перешлепаю!!!

— Санька, ковырни гада, чтоб не хрюкал!

От острого удара в бок Селиванов прогнулся в коленях и — отпущенный — упал.

В проулке никого не было. Боль мешала подняться. Он дотронулся до бока и ощутил мокроту. И вдруг понял: ударили ножом. Конечно! По бедру потекло. И запах. Он знает этот запах...

— Это что же? — спросил Селиванов. — Они меня убили? Они? Щенки?! — Обида заглушила боль. И вдруг сказал с облегчением: — Ну и слава богу! Какого мне хрена жить! Вот и подохну сейчас под забором. Как мне и положено...

Он хотел лечь по-человечески, пока не потухнет сознание. И подохнуть спокойно. Он лежал посреди проулка, зажимал рукой рану, глядел в небо. И представлял себе: утром пройдет кто проулком, увидит его труп, испугается...

«А хоронить-то некому будет? — Мысль пришла внезапно. — В Иркутск ведь никто не сообщит... Вот до чего дожил! — Он тихо всхлипнул. — Господи, как обидно!..»

А смерть не шла. Не шла, сука! Помучить хотела, чтоб не от раны, а от обиды помер, чтоб жизнь свою проклял, чтоб умолял ее, смерть подлую, поторопиться, чтоб благодатью ее назвал!

Черноту хлебом не корми, дай ей о себе светлое слово услышать...

— Ай, Ваня! — шептал он. — Если ты есть где-то, радоваться должен: свидимся скоро! Хотя навряд — в разных местах находиться нам с тобой... Может, замолвишь словечко? Ведь тебе-то одно добро делал! Ту картечину чтó считать! От ее и следа не осталось. В ногу — это не в бок. Мне вон в бок, а и то терпимо...

И тут примерещилось ему, что он смех Ивана слышит. А Ивана не видать...

Разве справедливо Ивану смеяться над ним, когда смерть ему в глаза глядит?

Спина меж тем заныла. На земле были камешки. Да и холод от нее шел. Селиванов поежился. И вдруг сообразил: «А рана-то, может, и не смертельная вовсе...»

Не успела мысль эта сквозь мозг пройти, как он уже был на ногах. В боку резануло, защипало, заломило. По ноге, до самой пятки, ручеек потек. Но разве ж это смерть?!

— Во жизнь собачья! — сказал он громко. — Помереть и то по своей воле не дадено...

Он озадаченно покачал головой. Зажал рукой рану и поспешно заковылял к вокзалу.

ПОЭЗИЯ



ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



В ЦЕНТРЕ МИРА

* * *

Есть игры и жизни... Однажды в игре
Высокой, нездешней, поймешь безотчетно,
Что играми движет стихия расчета,
А жизнь — простодушна, как дождь во дворе.

Как дождь этот легкий у чьих-то ворот,
Светло и бездумно травой шелестящий,
Свободно летящий, в тот мир уходящий,
Где нет ни расчета, ни выгод, ни льгот.

Где школа живого твердит издавна
О вечно бесплодной тщете своеволья,

В 1854 году, во время катастрофы Крымской войны (мы о ней плохо помним и очень мало знаем, хотя она унесла полмиллиона человеческих жизней и была самой «большой» войной между 1812 и 1914 годами), Тютчев писал:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!..

Ныне тоже время такое, когда, казалось бы, «не до стихов». И большинство публикуемого сейчас настолько пропитано политикой, что для поэзии как бы не остается места.

Но ведь истинная политика — только средство для переустройства жизни, которое — хотя бы в идеале — призвано открывать простор высшим ценностям, утверждаемым именно поэзией. И я готов спорить с Федором Ивановичем Тютчевым; он ведь и в годы Крымской войны создал такие творения, как «Последняя любовь», «Пламя рдеет, пламя пышет...», «О вещая душа моя!..»

И, думаю, вполне ко времени печатаются стихотворения Евгения Курдакова. Это самобытный и зрелый мастер слова, издавший несколько значительных книг. Имя его не обладает широкой известностью прежде всего потому, что он живет почти в пяти тысячах километров от Москвы, в городе Усть-Каменогорске, расположенном на Иртыше, у отрогов Алтая. Эта горная страна связывает в

Где в поводыре не нуждается доля,
И цель не бесцельна, хотя не видна...

Без цели, без школы, без поводыря,
И волен, и легок, — но что ж так печально,
К далекой игре прикоснувшись случайно,
Твердишь, что и это, быть может, не зря? —

Не зря эти сходы, и споры, и взлет
Летучих прозрений, азарта и воли,
С уменьем играть, с ощущением роли
В игре, где все те же и риск, и расчет, —

Где козырем ходят, прикопленным впрок,
Где самозабвенно тасуются судьбы,
Где крапленой карты никто не осудит,
Была б она мечена к делу и в срок, —

Где к ночи задремлют партнеры, и дом,
Игрой оглушенный, уснет утомленно,
И станут слышны отдаленные стоны
Живого, ночного дождя за окном, —

И струи по грифельной глади стекла
Стекут, осветляя туманное что-то,
Как будто бы вечно смывая расчеты
Беспроигрышных игр...
Это жизнь подошла.

Пряха

Пряха за прялкой сидит у окна,
Топится печь,
и темнеет оконце,
Веретено все скребется о донце,
С лопасти солнце горит дотемна.

Заметена под застреху изба,
Зиму прядут вековые метели,
Тащится ветхая нить из кудели
Ровно и медленно, словно судьба.

Где это было, в каком полусне,
Ты из какого восстала напева,
Пресница, мóкошь, волхва,
параскева,
Прáматерь, память о древней родне?

единый узел пределы Казахстана, Сибири, Монголии и Китая. И связь многообразных культур определяет многое в творчестве Евгения Курдакова. Это никак не противоречит тому, что Евгений Курдаков — глубоко русский поэт. Вспомним хотя бы о той роли, которую сыграло в творчестве Лермонтова национальное многообразие Кавказа, или у Блока — стихия древних финских этносов, очень внятно звучавшая в его времена в окрестностях Петербурга.

Одно из наиболее сильных произведений Евгения Курдакова — «Баллада перевода», где сознание лирического героя словно сливается в одно с творческим духом переводимого на русский язык великого казахского поэта Абая Кунанбаева (1845—1904), чья жизнь прошла также у Алтая. Замечательно и стихотворение «Словно белый рассвет...», тесно связанное, в частности, с делом, которым Евгений Курдаков занят наряду с поэзией — созданием скульптур из как бы наполовину «готовых» древесных материалов (пни, корни, «капы» и т. п.); многие из работ Е. Курдакова представлены в музеях и частных коллекциях под названием «алтайские корни».

Стихотворения, которые я рад представить читателям, — это одна из очень немногих пока московских публикаций Евгения Курдакова, хотя для меня несомненно, что его творчество уже заняло свое весомое место в современной русской поэзии.

Вадим КОЖИНОВ.

Спас позабыто темнеет в углу,
Пряха прядет, словно молится богу,
Древнему Солнцу, Яриле, Сварогу,
Свету, грядущему с прялки во мглу.

И семипалой короною пласть
В лунные четверти век отмеряя,
Благословляет ее, помогая
Прясть эту пряжу,
как жизнь перепрясть...

Кто заповедал мне помнить душой
Это камланье, язычество это,
Солнцепряденье, кручение света,
Переполнение жизнью самой?

Переполняется веретено,
Скручено, смотано, ссучено, свито,
Отворожилось, пропало, забыто, —
Было ли, не было,
знать не дано...

Словно белый рассвет...

БАЛЛАДА

Этот кряж тополевый давно уже просится в дело,
Он гудит под корой, крепко сбитый, матерый, сухой,
Безмятежный объем, полноспелое плотное тело,
Сквозь которое мне прорубаться до встречи с собой.

Сквозь сучки и подсучья, сквозь скрученный луб заржавелый
Сквозь подкамбий, который держать свою марку устал,
Сквозь кору чепухи, затвердевшей в бугристые желвы,
Сквозь слои годовые, сквозь годы на скол и на свал.

Сквозь пути и пространства, квартиры, дома, квартирантство,
Где так тесно сплелись меж собою тугие слои,
Сквозь узлы и мешки, сквозь хозяйское чванство, тираиство,
Сквозь мытарства, дикарства, бунтарства, штукарства свои.

Сквозь пеленки, клеенки, сорочки, сквозь куклы для дочки,
Сквозь глухую трехсменку, сквозь ломаный хлам напрокат,
Сквозь получки, рассрочки, текучки, долги, сверхурочки,
Чьи долги и уроки досель отдаются назад.

Сквозь прощанья, вокзалы, сквозь бедную ту полусвадьбу
С беляшами и тестем за нищенски-щедрым столом,
Сквозь блужданья вдвоем, сквозь забытую богом усадьбу,
Сквозь дожди на Покров, сквозь дождями пронизанный дом.

Сквозь густой косослой, где резцам не распутать волокон,
Сквозь голландку, лежанку, где мама, где весь ее мир,
Сквозь матрас, керогаз, сквозь тоску промерзающих окон,
Сквозь картошку в мундире и жесткий отцовский мундир.

Сквозь запои отца, сквозь скандалы и горечь подачек,
Сквозь приемных щенков, снегирей, и щеглов, и котят,
Сквозь дощатый закýток, где спит неразбуженный мальчик,
И ресницы дрожат, и во сне его птицы летят.

Сквозь тропу через сад, где для мальчика вечно возвышен
Восходил и горел, и сиял, словно белый рассвет,
Над разбитым крыльцом расцветающих, млеющих вишен
Лебединый, святой, целомудренный утренний свет.

Еще медлит рассвет, и парят над ресницами птицы,
Сад цветет и плывет в золоченую медь и камедь, —
Не дышать, не будить — пусть ему в этих снах не приснится
То, что станет над ним через миг нарастать и коснеть.

Нарастать, наплывать в то, что после навек задубело,
Затвердело, замшело, скрутилось в густой косослой,
В этот кряжистый кряж, в полноспелое противотело,
Сквозь которое мне прорубаться до встречи с собой.

* * *

Душа хотела б быть звездой...
Ф. Тютчев.

Когда мечи заменим на орала,
Очистим мир и дух переведем,
Увидим мы, что очередь настала
Неспешно поразмыслить об ином:

О горестной душе, о человечьей,
Еще вчера забытой в суете,
Томившейся над вечностью
безвечной,
Как бы в последнем полузабытье, —

О разуме, бессильном перед волей
Почти самоубийственных идей,
О пагубе тотальных суесловий, —
И снова — о душе, душе своей, —

Которая над бездной ледяною
Мечтала с безнадежною тоской
Звездою быть,
звездою быть,
звездою,
Звездою над измученной землей.

* * *

Языки не враждуют ни в поле, ни в доле,
Они мирно парят над землею людей,
И похоже кричат от страданья и боли,
И похоже баюкают сонных детей.

Каждый свят изначально, как святы истоки
Всех земных арасанов, ключей и криниц,
И в живом этом вечно шумящем потоке
Нет врагов-языков и наречий-убийц.

И когда в поле брани выходят сурово
Разъяренные рати на смертную сечь, —
То виной не язык, — запоздавшее слово,
Не успевшее снова себя уберечь.

Языки не враждуют, враждует безмолвье,
Безъязыкое бденье пещерных теней,
И молчаньем, стократно оплаченным кровью,
Окупается каждое слово людей.

...Эта речь, эта молвь, потрясенные выси —
Дух живой бытия и само бытие...
Ни о чем не молчи, мир безмолвный — бессмыслен:
Называющий жизнь — продлевает ее.

* * *

Может быть, на земле только два языка...
Встанет солнце, и высвистит ветер
Из рассеянной соли сухого песка
Первозданное «соль!» на рассвете.

Этот звук изначальный лишь вспомни и тронь,
Как сквозь дебри державных фонетик
Забормочут в тебе и вода, и огонь,
Ржаньем поле ржаное ответит.

Это — дождь на овсы, — таусень, таусень!
Это — радуга, радость язычья! —
Нарекается ночь, нарекается день,
А звезда назовется по-птичьи.

И реке все равно, то ль ректи, то ли течь
Между Русом и Ляхом, и Чехом,
Где еще не разверстана натрое речь
И слова не утроены эхом.

Слышишь, слышишь ли звон золотого песка,
Что под солнцем свистит, развеваем?..
Может быть, на земле только два языка,
Но предтечи уже мы не знаем.

* * *

Эти грубые глыбы порфира,
Эти кварцы на гребнях холмов, —
Каждый камень лежит в центре мира
Над седеющим прахом веков.

Нет окраин, границ и провинций,
Мир вокруг запрессован в спираль,
И кварцитовой пылью искрится
Ось вселенной, простертая вдаль...

Ты найди свой крутой, преткновенный,
Тяжкий камень, распятый в ночи,
И с единственной точки вселенной
Три великих пути различи:

Слева — хлад под звездою полярной,
Справа — жар под июньской звездой,
Прямо — путь твоих предков, янтарный,
Озаренный высокой зарей.

Бьется звезд очарованный ропот,
Но в кремнистой рассчитанной мгле
Торжествует проверенный опыт
Ощущенья себя на земле:

Нет окраин, границ и провинций,
Страны света, сойдясь, разошлись,
И кварцитовой пылью искрится
Ось вселенной — от сердца и — ввысь.

Баллада перевода

Прожитое, не сном ли оказалось...
Абай, 1901 г.

■

Перевожу поэта... Полыхая,
Горит зима блистающим костром,
И даль, переметенная до края,
Сгорая, истекает за окном.

Снег падает.
Еще беззвучны строки,
Безжизненно чужое далеко, —
В том горнем вековом своем потоке,
Как этот снег, слетающий легко.

Но там, среди немого опаданья,
В холодном истекании снегов
Уж зародилось слабое дыханье
И шелест нарастающих стихов.

Чтоб позже,
все из той же снежной сечи,
Крепчая, накаляясь и звеня,
Силлабикой густой и крепкой речи
Возникнуть враз и хлынуть на меня.

Чтоб в гуле породненного звучанья,
Не противостоя, не снисходя,
Переводить дыханье на дыханье,
Как жить, дыханья не переводя.

■

Я растворен...
Я где-то без возврата,
Без облика еще и без лица.
И вся моя награда и расплата —
Все тот же снег и ветер без конца.

Все тот же ледяной полынный
шорох,
Все тот же круг родных
и неродных...
Я опоздал, я начинаю в сорок,
С предела, рокового для иных.

Прошла любовь, надежды отгорели,
И жизни бестолковая байга
Оставила, как эти вот метели,
В душе лишь беспросветные снега.

Дымят кочевья, кони снег копытят,
И бродят псы за ветреным холмом...

И мир уже почти не любопытен,
Он противоречив в себе самом.

Мне пятьдесят... Переболела ярость,
И уповать на вечность нет нужды.
Прожита жизнь,
и подступает старость,
И силы нет для дружбы и вражды.

Я трогаю струну, но то не лира,
И снежный ветер глушит песнь мою.
В пустынном азиатском сердце мира
Воистину пустыне вопию.

И все, что было прежде,
гнев и радость,
Все, что пронес и что в себе несу, —
Не тем ли горьким снегом
разгоралось,
Дымилось и мерцало на весу?..

И умер сын...
Снег черный, как несчастье,
Метет сквозь жизнь...
И изменяет брат...
И сердце холодеет в безучастье
Ко всем, кто был и не был виноват.

И выкрикнуть бы этой
вьюжной дали,
В глухой, все принимающий провал:
Стихи мои, зачем вы прозвучали!
Стихи мои, зачем я вас создал!..

■

Перевожу поэта... Догорает
Зима ли, жизнь,— моя ли, не моя,—
И светлым снегом небо истекает,
И стынет раскаленная земля.

В немыслимо застойном,
сизо-красном
Бескислородном воздухе кругом
Кристаллы льда, поблескивая,
гаснут,
Как искры
над прихлопнутым костром.

Там где-то —
средь безмолвных опаданий,
Дыханья мира с мерзлой высоты
Ссыпаются со льдом иных дыханий,
Сухи, как лед, как этот снег, чисты.

По снегу этих дней иду, сутулясь,
Будя дыханья, смерзшиеся в нем,
И треск шагов звучит
в безлюдье улиц,
Как пластырь, отдираемый живьем.

Зима гудит, ворочается, бьется,
Как перевод, растянутый в года...
И непереводимое поймется,
Не сразу, а когда-нибудь...

■

когда
С далеких гор заснеженного края,
Горящих предвесенней белизной,
Сорвется ветер и, внизу стихая,
Свободно разольется над землей.

И под его алеющим разливом,
В движенье, ощущаемом едва,
Как будто в трудном сне
неторопливом,
Мне прозвучат чуть слышные слова:

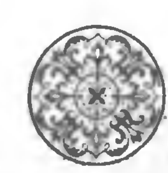
Я вас любил... а вы меня убили...
Холодным всплеском
пепельного льда
Встревожу ваши небыли и были
Пред тем,
как уж умолкнуть навсегда.

Пускай для вас судьбы моей
блужданья
Не исказят ни сердца, ни лица, —
Судьба поэта — тоже назиданье
Умеющим читать ее с конца.

Пусть в сутолоке
ваших вечных буден
Шептанье это из последних сил
Безрадостным упреком
вам не будет, —
Не убивайте тех, кто вас любил.

Я ветер, я почти уже преданье,
Но если и оно минует вас,
Останетесь навек без оправданья,
И вот тогда без красок и прикрас...

Перевожу поэта...



ПРОЗА



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

8

Этим летом на одном из патриотических концертов в крупном московском офицерском лазарете, в зале морозовского особняка, Алине поднесли изумительный влажнодышащий букет роз, какого в жизни никто ни по какому поводу ей не подносил, — не букет этикета, а — непомерный, в обхват на объятие, какой и может явиться женщине только в жизни раз.

Поднесла и в руки Алине передала санитарка, её саму Алина и не заметила за букетом, и потом спросить было не у кого. В тот миг Алина смотрела на эти сотни розовых, жёлтых и белых воланчиков, наслоенных в каждом цветке, и благодарно — на зал, где ещё аплодировали и, очевидно, сидел даритель, и снова на букет, опуская в него лицо, вдыхая, впивая.

А записки при букете — не оказалось. Или её обронили?.. Алина естественно, ждала, что и сам подноситель подойдёт к ней — за сценой, на лестнице или в вестибюле, когда букет вослед Алине спускали к извозчику: *как* это будет? *Кто* это будет? Ждала, так и не придумав, что же особенное ему ответить.

Но он не подошёл. Совсем.

Она ждала ещё и на другой день. И даже через несколько дней. Но — никто не объявился. Не пришёл. Не написал. Не назвался.

И осталось загадкой... Навсегда теперь.

А может быть — так и красивее? Своего рода *гранатовый браслет.*

Должна же быть в жизни одна точка — вершинной красоты.

Впрочем — как бы ей и послали письмо? Ведь фамилию, по новому для себя праву артистки, она принимала лишь на концерты — Сияльская, а в жизни зналась под тяжеловесной мужниной фамилией — от какого-то поворота тына, за десять лет смириться не могла, да по паспорту и имя у неё было другое — Аполлинария, с эстрады непроизносимое, шибающее купеческим (хотя человек с воображением проницал бы в нём вариант Аполлона).

Она и ещё раз давала концерт в том же лазарете, стараясь вызвать повтор чудесного стечения обстоятельств. Но ничто не повторилось.

Кто ж он был, таинственный поклонник? Скорее всего — раненый офицер. Может быть, то был его последний вечер, и он уехал в Действующую армию? Или врач того лазарета? — вряд ли. Или московский гость, зашедший на концерт случайно, но, поражённый с первых касаний клавишей, пославший за букетом тут же?..

Она — ждала дарителя, но и заранее робела, она при встрече не могла бы и найтись. От юных лет и до самых нынешних, при внешней резвости, громкости, порывах, Алина была невытравимо стеснительна: с гимназическими подругами или с матерью избегала говорить о стыдном, гордо: «я знаю! я знаю!», но из-за этой скованности не знала ничего, когда все уже знали. Неумелость была неразделённая тайна её, Алина искрилась, хохотала, кокетничала, но оставалась как бы за витринным стеклом. И эта застенчивость дотаилась в её характере навсегда.

И сейчас встреча с дарителем не могла бы иметь никакого разрешения или выхода.

Да она не посмела бы ничего.

Так и красивее: гранатовый браслет... Огромный неохватный букет как символ яркой жизни, полной огромных же чувств, для которой, Алина теперь это видела, она и была рождена со своим талантом, если б развила его, не утопила бы в замужестве, в скудном и безликом существовании офицерской жены. Её подруги по борисоглебской гимназии одна вышла замуж за французского дипломата и теперь жила за границей, другая — за очень богатого и много путешествовала с ним, ещё одна — за столичного тайного советника и вошла в петербургский высший круг. Алина же, встречая шумное одобрение на гимназических и уездных концертах, подумывала ехать учиться в консерваторию. Но тут тридцатилетний штабс-капитан, на концерте же, в Тамбове, и услышав её, — приступил решительным штурмом и, почти не дав подумать, уговорил на замужество.

Жорж не совпал с тем мечтаемым мужским образом, который Алина с гимназической скамьи носила в сердце: в нём не было того печоринского жестокого гордого презрения к миру и к женщинам, которое так подчиняет. А было — открытое простоватое восхищение, впрочем, оно и подобает рыцарям. Не сразу в нём узнав своего избранного, она колебалась. Но потом поверила в него, и долгие годы верила, своей же верой в своё призвание он её и увлёк: он ехал в Академию, кипел замыслами, и товарищи шутили о нём: «будущий начальник генерального штаба».

Поверила в него — и безраздельно отдала ему жизнь. Поженясь, переехали в Петербург, — не тот Петербург, не с той двери, — ни досуга, ни достатка, ни выхода в общество, чтобы развить и распахнуть свои способности. Что ж, для его будущего нужны жертвы. Женский удел — жертвы. При умеренной академической стипендии нужны были усилия и ограничения для их скромного быта. Но Алина привыкла и усвоила этот стиль — больше отказывать себе, чем разрешать, она даже полюбила этот стиль и направила на него внутреннюю изобретательность. После неудачи с ребёнком и уже обречённые на бездетность, они стали тонко нежны друг ко другу, заботливы и внимательны в мелочах — насколько вообще Жорж мог быть внимателен к чему-нибудь, кроме своей военной службы. Он — страстно стя-

Продолжение. Начало в № 1 за 1990 год.

гивался на своей работе, до того что закрывал дверь кабинета, значит: не входи, не рассеивай. И поощрял её больше играть на пианино, но сам через стенку воспринимал не как творение артистки, а как слитный фон для своих занятий. Однако и с этой обидой Алина примирилась. Она играла — чтоб ему лучше думалось. Она полюбила их быт, как он есть, их жизнь, как она есть, — с верой, что помогает мужу взнестись к трудному успеху.

Но не так сложилось. И окончание Академии по 1-му разряду и преподавание в ней — не привели ни к чему. Весь их военный кружок разогнали — да по затерянным гарнизонам, с их тошнотворным убожеством. Даже не Вятка, ещё глуше, безнадёжная дыра. Захлопнулась над ними и угасла надежда на что-нибудь светлое, охватило угнетающее чувство, что этим — и кончится всё, ощущение тонущего в болоте, уж не говоря, что пальцы Алины от грубых домашних работ, чудилось, навсегда потеряли свободную гибкость и уже никогда ей не выйти на хорошую сцену. Но и этот мрак Алина готова была сносить, кажется, ещё годы, уже и к этому она укрепилась. Было тяжело падение ей — но и мужу не легче, а она огорчалась его неудачами больше его самого.

Однако и года не прошло — переменилось к лучшему, случилось опять возвышение — теперь в Москву. А едва переехали и устроились — сразу война.

Во время войны жребии всех ли жён равны? Для всех: останется ли жив? Но для кадровых военных не менее важно — его место в армии: ведь военная служба вся направлена к продвижению, в этом смысл её, так она задумана. А Жорж после короткого взлёта в Ставку — тут же потерпел и крах, и ссылку в полк. Но и это крушение можно было пережить по-разному: естественно было не смиряться с унижением, пытаться исправить — и всю свою душевную помощь Алина простирала мужу. Увы! Постепенно открывалось, что его охватила своего рода психическая болезнь: со своим низвергнутым уровнем он не только смирился и сам уже считал, что не заслуживает высшего, не только не повторялись в нём прежние взлёты, не роились замыслы, а как будто стали отмирать и другие человеческие чувства, одно за другим, даже простое желание поехать на месяц в законный отпуск и отдохнуть. От письма к письму проскакивало: «мне всё более неприятен тыл, всё, что я о нём узнаю», «мне отвратителен тыл». Когда кончилось тяжкое отступление прошлого лета, и уже перетёк полный год, дающий Жоржу право на отпуск, — он окончательно написал, что в отпуск не приедет, а зовёт её в Буковину, перебыть с ним недели две неподалеку от передних линий, он снимет квартирку. Чудовищная причуда, которой тут, в Москве, никому и не истолкуешь, да и сама не найдёшь объяснения. Все офицеры ищут не только отпуск, а любой служебный предлог. Но жена, понимающая свой долг, должна знать и ступени жертв. И хотя это был совсем не обычный месяц, а как раз тридцатилетие Алины, она — поехала (тоже хорошенькая встряска для женщины — почти на передовые позиции). Но вся поездка оказалась унылой.

Она нашла мужа в состоянии ещё худшем, чем можно было предвидеть по письмам. Правда, в лазарет не пришлось ему ещё ложиться ни разу, хотя перевязан бывал. Но он был таким удрученным, таким погасшим, каким она никогда его не видела. Несколько первых дней он почти всё время лежал, молчал, ничего не рассказывал, только тяжело вздыхал, и сам того не замечая. Алине стало страшно: она потеряла своего мужа! это был не он! Потом, со днями, он постепенно отдыхал от своей омертвелости — и стал разговаривать. Разговаривать? Нет, какой же это разговор с женой: он только мог о своих убитых, о потерях, о нескладице, о тошноте, а больше ни о чём, и встречно ничего не слышал, или рассеянно. Да к простым человечес-

ким историям он и никогда в жизни не был внимателен, по своему офицерскому фанатизму. Сам он — не мог бы хорошо объяснить своего нынешнего состояния, но Алина с женским вниманием пристально наблюдала его, как никогда много, и заключала, и поняла. Не сама разлука отдалила их, но то, как Жорж воспринял войну: он дал нагрузить себе душу как обломками железа, железа, и вместе с ними тонул. Всю свою жизнь предназначив для войны, он её-то и не перенёс. Японскую — прекрасно перенёс, а эту — нет. Он не оказался таким сильным, как обещал, — погас. Она с ужасом смотрела, как он заживо погибал, — бессильна была помочь: он и сам видел, как упал, — и сам не хотел подняться, и ещё её же утапливал в своей безнадёжности. Чтобы вместе тонуть?! Нет! Она должна была спасти его, отвлечь, развлечь, освежить, обдать московскими струями. Но легко бы это сделать было дома, в Москве, и в полный месяц, он бы очнулся, — так ведь вот не захотел приехать. А там были убогие прогулки с улиц городка в предгорье, и никаких больше развлечений. Так для Алины свидание с мужем оказалось не праздником, а горем. О ней — он не подумал. Захолустное унижение, как будто опять Вятская губерния. А Жорж так изменился за эти годы, что они как бы снова знакомились и привыкали, с неладами и даже ссорами. Так и до конца он отдалённо не вернулся в себя прежнего. И всё его будущее, в которое она так радостно верила вместе с ним, теперь уже ясно было, что не состоялось: это не просто была служебная неудача в Ставке, но оказался он неравен своей задаче. Не удались мечты, проекты, провалились протесты. Безумно было его жалко.

А с ним — и себя. И не потеряв его из жизни — она как будто его потеряла.

А ему — напротив, не хватало чуткости вникнуть в её ощущения и осознать, что ж он делал с женой, каково жене. Анализируя — уже потом, многие месяцы потом, перебирая и всю их десятилетнюю жизнь, Алина нашла и объяснение: перевес военных интересов и раньше съедал его всего, он бывал нежен, ласков, но всегда весь в своём деле. А теперь, когда его так рано поразила общая старость чувств, атрофия жизненных влечений, — это больней всего отозвалось на островке личного. Вот, он лежал рядом с женой, немного оттаивал, но как будто душевно и не слишком нуждался в её приезде. Алина для союза с ним пожертвовала может быть яркой жизнью, и постоянно знала свой долг, и умела украсить их стеснённый быт, и вынесла даже вятское захолустье, — а ему не приходило в голову оценить размеры этих жертв. Он и не был виноват, он просто был мало чувствителен.

Расставались совсем печально. От этих двух недель не сблизились, а даже отдалились. Даже чужее стали, чем когда-нибудь раньше. Зареклась Алина, что больше в такой отпуск не поедет. Пусть Жорж приезжает в Москву.

Это счастье, что перед войной обосновались в Москве. Москва рассвободила Алину, открыла простор и разворот её силам, дала почувствовать собственные крылья — крепче, чем знала она за собой в прежней роли запечной Золушки. Восемь лет она была заперта при муже, уже забыв, сколько возможностей таится в ней самой. А так и должно было открыться! — у души тонкой и сложной всегда есть неутолённые интересы. В том общественном подъёме, который сопровождал войну, помочь победе наших орлов, нашла и Алина свою воздушную струю. Не сразу. Сперва, как все, мотала бинты, пересчитывала солдатское бельё. Но потом придумали устраивать «патриотические концерты» — сборы в пользу раненых и увечных, в помощь семьям призванных и на посылки защитникам родины. В первый год в Москве ещё мало кого зная, она быстро узнавала теперь. Все права на «энергию» прежде захватывал муж, и Алина мало применяла это слово к себе. Теперь же именно энергия Алины вошла в поговор-

ку среди других деятельниц этого движения. Изо всех дам Алина выделялась предприимчивостью, неутомимостью, красноречием убеждать имеющих власть по Союзу Городов, дважды доходила до Челнокова, успешно добивалась нужных разрешений в Управлении военного округа, вызывала изумление и благодарность попечителей. Хотя она с мужем шесть лет прожила в Петербурге, но только сейчас в военной Москве, во всей этой живой полноценной деятельности, ощутила и приобретала столичную лёгкость. Из первых добилась она и создания добровольной группы «летучих концертов» — для поездок в Действующую армию. И всюду же сопровождали её благодарные, без консерваторского снобизма, аплодисменты слушателей её фортепьянной игры — и Алина расцветала в живительной атмосфере. Открылось и подтвердилось, что она — самоценная личность, а не домостроевский придаток мужа. (Да и Жорж, прощаясь в Буковине, говорил ей: концертируй, сколько можешь, живи полной жизнью.)

В их выездной артистической группе бывало до дюжины человек. И потешный жирнолицый исполнитель шуточных малороссийских песен. И усатый интендантский подполковник-баритон. И скрипач с демонической наружностью. И молодой помощник присяжного поверенного, декламатор. Две певицы, одна танцовщица. (Для всех них постоянный аккомпаниатор — блондин с волевым подбородком, бывший тапёр из кинематографа «Унион».) И за каждым участником стоял свой круг друзей, ещё расширяя московские знакомства Алины.

Но более других она сошлась с милейшей 35-летней Сусанной Иосифовной Корзнер, женой известного московского адвоката, выступавшей у них с декламацией и чтением, а затем Алина сама предложила ей аккомпанировать и к мелодекламации — «Сакья-Муни», «Белое покрывало». Для этого понадобились ещё совместные репетиции на дому, а по поводу рассказов Шолом-Алейхема и отрывков из «Овода» — переговоры в инстанциях, насколько эти вещи соответствуют рамкам патриотических концертов. Эти ходатайства Алина охотно взяла на себя, успешно их провела, и тем ещё более сблизилась с Сусанной Иосифовной, они стали друг у друга бывать. Сусанна была совсем проста, равнодушна к аплодисментам, не завидовала успеху других, без гордости присаживалась переворачивать Алине ноты.

— Вот, — смеялась Алина, — кажется: трудна ли наука? А мужа я так никогда и не могла научить, чтоб он ноты читал и мог бы переворачивать. Бывают такие неразвитые души — их невозможно притянуть к искусству. Вот играю за стеной, играю, — «что я сейчас играла?» — никогда не ответит, хоть по двадцать раз одну и ту же вещь! Деревянный...

Сусанна Иосифовна так замечательно слушала всегда — и музыку, даже как бы зябла плечами в слухе, и простой рассказ, вбирая оливково-рыжеватыми глазами. — Алина всё охотней втягивалась откровенничать ей о себе, не всё же перегорать в замкнутой душе.

— Боже мой, Сусанна Иосифовна, сколько ж я ему жертв принесла, сколько лет я добросовестно смирялась, помогая его жизненной битве. Но всё же могла я верить, что когда-то наступит награда, когда-то мы начнём и жить как люди! Нет, в какую-то беспросветную пасть кидает он и свою жизнь до конца, и мою вместе. Да хотя бы этот отказ от отпуска! — ну какой же нормальный офицер откажется от отпуска?

Да хуже. Он и всегда склонен был высыхать чувствами, а сейчас на войне угас, омертвел, опустился, и это в сорок лет! Жизнь не состоялась. Теперь и война минует — он вряд ли станет прежним. Рассказывала и историю замужества, как не сразу его приняла, но он охватил её поклонением, — он ярко умел поклоняться, и особенно в письмах это выражать. Показывала Сусанне и старые письма Жоржа, да и свой давний альбом борисоглебской молодости, да была Сусанна и свидетельница того незабываемого букета. Конечно, этот альбом, столько раз просмотренный в одиночестве, мало понятен постороннему человеку, ведь каждая запись тут — не просто запись, но целое воспоминание, душевное общение, обаяние, взор, которого не сохраняет бумага, и записано всегда меньше, чем чувствовалось. Вот, например, в полушуточной форме — «Диане», а тут ведь не эпиграмма, но схвачено верным глазом — что-то от профиля, что-то от руки, что-то, значит, и от характера... Ах, совсем-совсем иначе могла пойти жизнь Алины...

Подружились с Сусанной и в новом столичном стиле самоограничения женщин: не шить новых платий, а переделывать старые, не ходить в рестораны, отпускать лишнюю прислугу (впрочем, у Алины была всего половинка, а у Сусанны — и кухарка, и горничная, не считая мужнина шофёра через день). По сравнению с Петербургом Москва и всегда была в нарядах строже, теперь ещё устрожилась, щеголять стало неприлично, даже щукинская дочь на сказочных лошадях под синими сетками (а движение было — и лошадей не держать) приезжала в театр скромно одетая, без бриллиантов. Дурно выделялись богатством нарядов только варшавские богатые беженки да нувориши, которые не считались ни с кем, ни с чем, но это был слой совсем уже не общества, и источники обогащения их — тёмные. А кто был узко-скромен в средствах, как Алина, тем неотклонней было ей сдерживаться в нарядах, даже выходя на сцену, и не часто позволять себе даже новую шляпу — например, модную широкополую, с лежачим мохром, какая несёт тебя будто на крыле.

Отказывались люди от пышных приёмов, но оживлённые ужины были в ходу, где и поговорить! Алина польщена бывала попасть к Сусанне вечером. За ужинами у Корзнеров собирались по десяти и по двадцати, и весьма известные люди, больше адвокатский круг: Левашкевич, служивший вместе с Корзнером юрисконсультом Азово-Донского банка, Крестовников, заходил и прославленный Грузенберг, и лидер «левых кадетов» Мандельштам, промелькнула как-то блестящая Тыркова — член кадетского ЦК и думская журналистка, а один раз и знаменитый Маклаков, но это было без Алины, она очень жалела, что не видела его. Весь круг Корзнеров составил большое расширение её мира — знаменитости, яркости, среди них вырастаешь.

Корзнеры снимали на Ильинке, в деловом квартале, квартиру в одиннадцать комнат: кроме кабинета самого Корзнера — приемная для его кабинетского помощника, общая приёмная, гостиная, спальня серого клёна, столовая в чёрном дубе — большая столовая с мебелью модерн, массивный стол на 12, а раздвигался и на 24 персоны, ещё закусочный столик на колёсиках объезжал вокруг, а самоварный стоял при дальнем конце, и часто одного самовара не хватало, приносили второй. Комната для английской гувернантки, ещё не съехавшей от них, две для прислуги. Квартира, правда, темноватая, столовая — почти без дневного света, зато с тяжёлыми драпировками, вечерами это уютно.

И муж и 18-летний сын, первокурсник юридического, были при Сусанне, семейно война не ощущалась, жизнь их была полна, изобильна, успешная карьера мужа, свой автомобиль, дача, абонементная ложа в Большом театре. И Сусанна признавалась суеверно:

— Знаете легенду о кольце Поликрата? Когда тебе слишком хорошо — надо самой нести судьбе жертвы, задабривать, чтоб она не разгневалась.

Перед разговорами за корзнеровским столом притихали заботы армейского попечительства и даже интересы искусства. Здесь держался накал общественный, гости бывали центральными участниками крупных московских событий, они приходили ещё разгорячёнными с заседаний городской думы, её секций или московского отдела кадетской партии, или других комитетов, их теперь так много, и свежегорячее тут и выкладывали первое.

Как и всё московское и всё русское передовое общество, здесь желали, ждали и требовали п о б е д, хотя уже столько было встречено разочарований. Здесь анализировали, всему искали причины. Военным поражениям. Невиданному вздорожанию съестных продуктов — за последние недели такому, что уже и средне-состоятельный городской класс начинает это ощущать, а виной тому — жадная неуступчивость аграриев, они наживаются, а власть не хочет их обуздать, крестьяне обдирают город, везут в деревню деньги мешками, спать на них будут. А причина всех причин: паралитичная неумелость правительства и его слепое упорство не уступить власти доверенным представителям интеллигенции.

Тут давали волю гневу на трагикомические стеснения прессы, или на английских демокрвтов, французских социалистов, как они своей усердной верностью союзу с царём вколачивают гвозди в гроб русской свободы. И давали волю остроумию, особенно — о казнокрадстве, о чиновничьей продажности: слишком поздно увидел объявление «принимают от трёх до пяти», эх, а я, дурак, дал десять! Или — как нужно понимать секретарей и младших чиновников: «мало *данных*», «придется *доложить* начальству», «надо ждать» или «надо ж *дать*»? От души смеялась Алина.

Тут обсуждались и деловые планы: как развить для внутренних политических боёв общеизвестные организации помощи войне и её жертвам. Этой квартиры не миновал ни один из *списков*, ходящих по Москве: письмо ли Керенского Родзянке, что гнездо измены — в министерстве внутренних дел, а не среди социал-демократических депутатов; или речь в думской бюджетной комиссии, не нашедшая пути в прессу; или пикантные страницы о Распутине из книги Илиодора. Целая библиотека уже набиралась этих списков за несколько лет: от старого письма Алисы к Распутину, пущенного по рукам когда-то Гучковым, — до нового письма того же Гучкова генералу Алексееву. Даже не из этой ли квартиры списки и начинали ходить? — у Корзнеров была пишущая машинка, так что не от руки переписывать.

Кто недавно повидался с Милюковым в его последний приезд, вот в этом октябре, передавал интересные выводы Павла Николаевича о Москве: Москва изжила мелочные заботы и мелкие иллюзии, которыми ещё много занят Петроград. Москва сейчас — передовой город Росссии, аванпост свободной мысли! Если в будущем году состоятся очередные выборы в Пятую Думу, то кадеты, возможно, окажутся для Москвы слишком правыми. Сейчас уже не вспомнить и не поверить, что совсем недавно Москва была оплотом монархии, и даже в прошлом году ещё очень отделяли виновность Сухомлинова от невиновности царя. Но никакой разумный человек уже не может остаться монархистом. Министерская чехарда просветила умы успешнее, чем десятилетия революционной пропаганды. Москва первая прозрела, что виновата в с я династия, и царь не чище своей Алисы ни в распутинстве, ни в штюрмер-протопоповщине, ни в сепаратных переговорах с немцами. Теперь в московских кругах заговорили тем языком непримиримых революционеров, каким до Пятого года разговаривали только в швейцарских эмигрантских!

Правда, пугал Игельзон:

— *Чёрный Блок* — теперь сила, господа! Он — как туча навис над нами, и действия его к позорному сепаратному миру — ужасны! Я могу фактами доказать!

Ну, так тем более, так тем более! Все сходились, ясно было уже всем, и присутствующим, и отсутствующим: власть в России а б с о л ю т н о б е з н а д ё ж н а! Перед нами — тупоумное правительство, которому недоступен язык логики.

У Давида Корзнера был на эти случаи любимый жест и любимая формула:

— К у л а к! — говорил он и выставлял перед собой на всю вытянутую недлинную руку свой кулак, собственно и не страшный: небольшой, с гладкой кожей, обтянутой по четырём косточкам, с посевом чёрных волосков на тыльной стороне, высунутый из крахмального манжета. Не грозен был сам этот кулак, но грозен голос, выражение лица и заложенный смысл: — *К у л а к!* — единственное, что они понимают! единственный язык, на котором к ним можно и нужно, и *будем* обращаться!!!

Эти слова экспромтом сказались у него как-то на совещании левых адвокатов, имели успех, и теперь Корзнер любил их повторять и внедрять в собеседников:

— Никакого другого языка! Ничего другого *они* не поймут. Все эти переговоры бледнорозовых либералов с правительством только заводят общество в тупик. Ку-лак им в нос! И уступят!

9

Смеялся Давид, что его Сусанна теперь записалась в черносотенные концерты. И правда, ухо трудно привыкало отличать «патриот» от «черносотенец», всегда прежде они значили одно.

И труппа их была, действительно, — не залюбуешься, без большой потребности не станешь с нею ездить. Чего стоил один тапёр с каменным подбородком, злодей и погромщик отлитой. Концертами этими через Союз Городов он явно прятался от военной службы, как впрочем и певец малороссийских песен. Интендант был невыносимый солдафон, певица с плечами-подушками оглушающе пошлая, с эстрадной танцовщицы и спрашивать нечего, так что Алина Владимировна была тут самая приличная, вполне сносная в общении. Да на ней держалось и всё антрепренёрство, её настойчивость была воодушевлённая, неиссякаемая. В провинциальном её альбомчике верно подметил какой-то шутник: что-то дианистое было в ней, гордый потрях головы, взлётные движения рук, мановенье кисти, — для нынешней роли очень подходящее. Но мягко рекомендовала ей Сусанна — выходя на сцену сдерживаться в цветах наряда и резких проявлениях.

При совместных поездках, репетициях и заботах немало времени досталось им бывать вместе, и чем чуждей сторонилась Сусанна остальной труппы, тем ближе с Алиной. В обиходе она была жизнерадостна, симпатична, не ныла от неудобств, даже услужлива в них. Располагала и прямота её, никакого лукавства. Она детски радовалась аплодисментам и не пыталась это скрывать, серые глаза её сияли, и она ещё потом спустя напоминала о своём успехе. Зато, от её открытости, не избежать было и некоторых излияний.

Сколько людей, сколько пар — столько особенных отношений, жизнь не скупа на сочетания. Вот, Алина с мужем была бездетная и безмятежно счастливая, сросшаяся за девять лет пара. Жили — как будто без трещинки, но из алининых бесхитростных рассказов выступало, сквозь глубь неизвестной чужой жизни, что как бы и не слитно. Настаивала читать письма от него, а письма эти были письма не боевого полковника, а скорей успешные упражнения молодого школяра в любовно-эпистолярном стиле, в облаках высокопарного заученного женопоклонения, но без живого прореза Алины самой. Особенно — ранних лет: восторженно-приподнятые, вариантно-дифирамбичные, разили ухо, так что закрадывалось даже подозрение в пародийности.

— Когда-нибудь познакомьте меня с ним, хорошо? — уклонилась Сусанна.

Алина коробила кое в чём, но не раздражала, она вызывала сочувствие. Симпатии содействовало и то, что, не будучи перегружена образованием, Алина достаточно тяготела к образованному кругу, чтобы не быть потенциально-враждебной в острых вопросах. То есть может быть, попадая в другие компании, под иное влияние, она мог-

ла охотно соглашаться и с противоположным, но собственного внутреннего противодействия не было в ней, это очень чувствуется всегда. Разгорался ли в труппе спор о прошлогоднем майском немецком погроме в Москве — Сусанна могла быть уверена, что Алина рядом не оспорит её.

Все они хорошо навидались тогда в Москве этих жутких картин. Как первый камень в саженное зеркальное окно немецкого магазина решал его судьбу. И потом беспощадно выбрасывалось наружу всё, что внутри, — коробки с галантереей, куски бархата, сукна, полотна, бельё и верхнее платье, гитары, игрушки, кухонные плиты и швейные машины. Циммермановские рояли с грохотом выбрасывали на мостовые со второго этажа и ещё добивали молотками. И — перяная, пуховая метель из перин и подушек немецкой фирмы. А если магазины оказывались наглухо заколоченными ставнями и железом — то их поджигали. Поджигали добро какого-нибудь немца — а по сеседству загоралось имущество русских. Ломали станки, коверкали машины, топтали на мостовых. Поджигали склады, заводы, аптекарскую фабрику Келлера, и сколько погибло добра — никому. Сгорели резиновый завод Брауна, водочный Штриттера, кондитерская фабрика Динга. Пылали пожары в Китай-городе, на Шереметьевском подворьи, в Средних, Верхних городских рядах, на Ильинке, Варварке, Никольской, на Кузнецком Мосту, на Лубянской площади, на Мясницкой, Маросейке, Петровке, Сретенке, Тверской, в Черкасском переулке. Громадные клубы дыма окутывали Москву как от лесного пожара, везде пахло гарью, метались пожарные автомобили и запряжки, кареты скорой помощи. Гарь, выстрелы, гиканье, ура, ругань, грохот разбиваемого, плач, смех, свистки, гудки, лошадиный топот, трамвайные звонки, и ещё чьи-то манифестации с патриотическими портретами. А от пожара винных складов — уже год как забытое пьянство, и упившиеся в лёжку на улицах. А через всю Мясницкую у конторы Тильманса — бесчисленно разбросано, навеяно фактур, меморандумов, дебетов-кредитов, писем — чьё-то ненаверстаемое и никому не нужное бухгалтерское добро. Говорят — убытков на 40 миллионов. А семью фабриканта Шредера — мужа, жену и двух дочерей, истерзали и голыми утопили в канаве...

— Но народ так чувствовал! — взбоченился тапёр, непробойный лоб, не представить его смирно согнутым в кинематографической тьме. — Это был взрыв народного самолюбия, оттого что правительство не освободило нас от немецкого засилия раньше, в начале войны. Это была месть за *газы!* Немцы пустили газы!

Немцы пустили газы, да, но на фронте и против военных, а кому же мстить тут? (Нет, прежде, *кому* доказывать?..) И — разве то была месть? Не столько громили, сколько грабили. Тащили, тащили узлы с вещами — и никто не останавливал, трамваями увозили из центра в Сокольники. Конечно, в каждом городе есть чернь, и много рабочих там было, вся окраина грабила центр. Но, видели: на Мясницкой из верхнего этажа выбрасывали тряпки — студент и реалист! На Кузнецком Мосту книжный магазин Вольфа грабили — студенты и курсистки! В Замоскворечьи видели офицера, как разворашивал саблей кучу награбленного, — не им, но выбирал подходящее. На Тверской дамы в шляпках подбирали куски шёлка! Среди грабителей узнавали студентов Университета и Коммерческого института!

Усач-интендант: — А вы думаете, было бы в Берлине столько русских торговцев — их бы не погромили? Да ещё раньше!

Да не чернь поражает, а — чистая культурная публика ходила *смотреть* и не мешала! Сусанна вывела из виденного:

— Страшно то, что это — не эпизод, не случайность! Так прорывается суть всей российской истории! Раззудись рука — это русская черта. Русские не умеют отстаивать свои интересы методически, они терпят, терпят рабски — а потом погром. Этот майский погром — напоминание о многом прошлом и предсказание будущего, ещё грозней! Под нами — дикая стихия. Во всякую минуту может прорвать — и всех нас залить раскалённой лавой!

— Ну уж, не так-то, Сусанна Иосифовна! — протестовал помощник присяжного поверенного. — Не природная стихия. Это было всё подготовлено!..

Подготовлено! Почему в газетах так и кинулись писать о зверствах немцев? Какая-то группа благодетельствовала раненым немцам — так «преступное милосердие»! Печатали списки высылаемых. Генерал-губернатор Юсупов заявил, по-княжески: «Я — на стороне рабочего люда!» Накануне погрома собирались в чайных какие-то *дружины*. Кому-то платили деньги, раздавали листки с перечнем и адресами немецких торговых фирм.

— Не подготовлено, а слух разнёсся, что на Прохоровской мануфактуре немцы отравили не то тридцать, не то триста человек, — возражал интендант. — А директор циделевской фабрики сам виноват, выхватил револьвер против толпы, ну и началось!

— Нет, не это главное, а: где была полиция? Почему она весь первый день не то что не стреляла в погромщиков, даже нагайками не разгоняла, только уговаривала? И даже скрывалась? Только на другой день, после ночных пожаров... Ну да ведь кое-где зашло, стали уже портреты царицы рвать...

Но Москва — всё-таки не Кишинёв! И — собирали общественные деньги, кормили пожарников, засыпающих на улице. И стенограмма срочного заседания городской думы шла по рукам. И выпустили на улицы свою общественную милицию. Но:

— Если подземной лавы нет — то вулканы не извергаются, и не вызовешь их никаким сверлением дыр, никакой подготовкой. Сейчас кричат: бей немцев! за газы! Но «немцы» — это только временный псевдоним, стечение обстоятельств, что против них воюют.

Выставляли надписи повидней: «Магазин пострадал ошибочно: фирма — русская и все служащие русские.» С иностранными фамилиями пострадали больше, чем немцы. Или, парадоксально: «Не трогайте! Здесь фирма — еврейская»! Сегодня было бы перед союзниками непрощаемо — бить евреев. Однако, громят немцев, а мысленно, перед глазами, представляют, конечно, *жида!* — ах, подожди, подойдёт времячко, как мы с тобой рассчитаемся! Вся война и может кончиться погромной эпидемией! Многие думают: не закрывать ли уже сейчас торговые дела? — следующая волна погромов ударит по ним.

Так задел Сусанну этот разговор в труппе, что и когда уже ночевать они устраивались, по тесноте с Алиной вдвоём в гостиничном номере, она ещё искала доказать:

— Вела меня мама, девочку, зимой, одетую и сытую, покупать игрушки. И перед самым магазином неодетый мальчик протянул голую ручку: «подайте, барыня!». Он дрожал — и дрожь его передалась мне в шубке, и не захотела я никаких игрушек, отдай, мама, деньги ему! Так вот: представляйте, никогда не забывайте еврейский озноб, еврейскую дрожь, еврейское чувство безнадёжности в этой стране. Унизительное наше положение: повсюду закрытые пути! нет права жительства в порядочных светлых городах! Моему брату не дали учиться в Киеве, он уехал ни много, ни мало — в Иркутск. Оттуда еврейская община послала его в Швейцарию, он кончил в Берне доктором философии, а вернулся в Россию — и что ж? Зубы лечит! Вот такие наши пути. Равноправие — наша грёза! Она жжёт меня с юных лет.

— Равноправие? — О, конечно! — искренно сочувствовала Алина. — Равноправие — да!

— А если ещё ребёнком ты видела однажды, как катит по ули-

це погром, а впереди несут хоругви и распятие, — то с каким же чувством во всю потом жизнь ты будешь видеть церковное шествие и просто даже крест? Или мимо церкви проходить?.. Естественно, с ненавистью. Поймите, я нисколько не пристрастна, не подвержена чувству превосходства еврейской нации. Я благоговею перед немецкой музыкой. Обожаю французскую живопись. А русская литература — моё духовное лоно. Напротив, еврейских песен и танцев нисколько не люблю. Но я не сгибалась и не согнусь до согласия быть каким-то вторым сортом. До этого нашего самочувствия беззащитной курицы.

Она заметила, что опять надевала и накалывала уже снятые на ночь запястье и брошь.

— И всё выворачивают против нас! Вот, произвели облаву на биржевиков-маклеров на Ильинке, обнаружили 70 евреев без права жительства, — так пущен слух, что маклеры — сплошь евреи. Не стало разменной монеты — опять евреи виноваты. Не хватает каких-то продуктов, дороговизна, — так евреи прячут. Теперь — эти пристрастные обвинения Рубинштейна и сахарозаводчиков. Допустим, они персонально и виноваты — так и судить персонально, но без расширения этой отравы: во всём и всегда виноваты евреи! За всё, что с государством происходит, — должны отдуваться своими боками евреи!

Влекла её страстность более сильная, чем у неё выражалось на сцене.

— Конечно, нас всегда держали в гнёте и легче всего обратить народный гнев на нас, отвлекая от подлинных виновников. И конечно, погромные настроения стольких лет как же не дадут плодов? Ещё процесс Бейлиса не остыл, у нас ещё слишком живы от него раны. Так ясен этот замысел: на еврейском вопросе расколоть русское общество, единое в своём отрицании режима. Теперь пропитывают антисемитизмом и армию, чтоб и недовольство войск направить туда же. С бесстыдством раздули эту шпиономанию — обыскивают синагогу в поисках беспроволочного телеграфа! Из Курляндской, Ковенской, Гродненской выселяли, как экзекутировали: старых, слабых, больных, ужасные случаи рассказывают. Алина Владимировна, вы поставьте себя на их место, что значит *выселяют:* в несколько дней отрывают от очагов, от скарба, с которым прилажена жизнь, и кати куда-нибудь на Волгу, или даже в сибирскую деревню, — где устроиться? чем жить? что есть? как детям расти?! И теперь предателя Сухомлинова вот выпустят гулять по столице — а евреи так и застряли по деревенским ссылкам. И мало того: беженцев заставляют насильно работать, вводят новое крепостное право, люди перестают принадлежать себе.

Да ранило её в еврейском состоянии не только то, что врезалось в тело, грубо ударяло или гнуло, но даже легчайший задев по волоску, с защитной чуткостью она вздрагивала ещё прежде, чем этот волосок задет, ещё только предвидя, что сейчас его заденут:

— И эта шпиономания мне особенно больна потому, что связывается с обвинением евреев в трусости, изо всех наших унижений — самое обидное. Вот этот мой брат Лазарь, которым я восхищаюсь, в Пятом году в Киеве создал из юношей отряд еврейской самообороны, с упоением ходил на ночные дежурства с револьвером — и впервые почувствовал, как это чудесно — не бояться! если умереть, то в схватке!

И в ясных глазах Алины не встречая скрытой насмешки, совсем уже прикровенно, перед тем как свет погасить, в ночном халатике:

— Наша история рассказывает, какими львами наши мужчины умели быть. В общественной жизни — и сегодня это видят уже все. А в военной — нет такой ситуации, а возникнет — они себя проявят.

И лампу уже задувая:

— Я не только не угнетена, но я — горда и счастлива, что я — еврейка! Что я из породы этих талантливых, справедливых, сильных духом и — храбрых людей. Да, храбрых! Спокойной ночи.

Для того и ездила она в этой жуткой труппе, по этим нелепым концертам, отрывавшим её от семьи, с тяготами переездов, с неудобными ночлегами, с декламацией, не всегда понятной молчаливой полуграмотной толпе, — чтобы отрабатывать честно долг перед войной и перед армией, и отнимать аргументы против евреев. Каждый по силам.

10

(вскользь по газетам)

«РУМЫНСКИЕ СОЛДАТЫ! Я призвал вас, чтобы вы понесли ваши знамёна за пределы наших границ... Через века веков нация будет вас прославлять!»

...После выступления Румынии путь на Балканы открыт. Не затянется и конец предательской Болгарии, теперь замкнутой со всех сторон...

— Теперь, сказал генерал-лейтенант Брусилов корреспонденту, левый фланг русской армии вполне обеспечен от всяких неожиданностей. Дух румынской армии великолепен. Генерал Брусилов уверен, что Австрия не сможет особенно долго защищаться, и война может окончиться в августе 1917 года.

УЖАСНАЯ НАХОДКА в саду германского посольства в Бухаресте: взрывчатые вещества... культура САПА...

...В Германии плохо уродилась картошка, давно нет хлеба и мяса. А кольцо неумолимой блокады...

...Имеются сведения, что крестьяне из-за какой-то совершенно непонятной боязни за будущее не везут зерна на рынок, а зарывают его в ямы... Необходимо вызвать у крестьян желание продавать зерно.

(*«Речь»*)

ТВЁРДЫЕ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. Современная психология деревни: крестьяне стремятся сберечь на чёрный день основу своего существования — хлеб. Утвердить закон о твёрдых ценах может лишь вмешательство организованных общественных сил.

...телеграмма от министерства земледелия... Устанавливается твёрдая цена на муку. Этой телеграммы мы ждали как манны небесной... Она развязала нам руки... Установление однородных твердых цен исключает даже мысль о недостатке муки... Сельское население должно встретить эту меру с гражданским мужеством.

...Смягчить остроту хлебного кризиса можно: понижением твёрдых цен и применением широкой реквизиции зерновых продуктов.

(*«Русские Ведомости»*)

Письмо в редакцию. ...В настоящее время, когда цены возрастают непрерывно, не должно быть двух мнений, что нельзя предоставить жизнь железному закону спроса и предложения... *Чрезвычайные меры регулирования,* а не отмена обязательных такс и твердых цен...

...Повышение цен на сахар... рафинад — 20 копеек фунт...

СПАСАТЬ УРОЖАЙ! — дружины школьной молодёжи... добровольное паломничество гимназистов и студентов в поля... Внутреннее возрождение русской молодёжи...

... (фотографии:) «Нашим солдатам всегда весело» (двое широко улыбаются). «Вот кому достанутся плоды наших побед» (русский солдат подобрал турецкого ребёнка).

...На наших пленных пашут гуськом по десятеро... ездят на пленных за картошкой и брюквой... заставляют изготовлять удушливые газы...

...Как сильно немецкое засилие в нашей жизни! Уж мы ли не ублажали немцев?

Наша наука и искусство 50 лет смотрели немецкими глазами, а наши декаденты не в состоянии образумиться и сегодня: несмотря на запрещение исполнять немецкие произведения, как это сделано в Италии и во Франции, разные концертанты понемножку поднимают голову, выражая свою душевную убогость, будто не могут обойтись без Бетховена и Вагнера. Публике остается бойкотировать такие концерты.

(*«Новое Время»*)

ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ «ДУША ЖЕНЩИНЫ». ...Отрицательный ответ Вейнингера... Женщина в изображении Мопассана и Чехова... в произведениях Шекспира... Взгляд Толстого... Освобождённая женщина...

В КИНЕМАТОГРАФАХ СТОЛИЦЫ:

«АККОРД ЛЮБВИ», «МОРФИНИСТКА», «СОН О МЕЧТЕ ЗОЛОТОЙ»

ПРОДАЕТСЯ белый лакированный **БУДУАР**

СЕНСАЦИОННЫЙ ПОДАРОК — военные игры для детей и для взрослых, институт Песталоцци.

КОСМЕТИКА ДРЕВНИХ ЭЛЛИНОВ. *Восковые и мраморные мыла...*

ОБУВЬ на деревянных подошвах, удобно и дёшево! — мастерские Земгора.

ЛЮБИТЕЛЬ СТАРИНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ПЛАТИТ за фарфор, картины, бронзу, мебель.

Желаю поступить **второй горничной...**

ПОДНЕСЕНИЕ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ военного английского ордена Бани 1-й степени за военные заслуги.

...пока наша армия и армии союзников не обнимутся в братских объятиях под стенами Берлина...

...Наши и румынские войска несколько отошли...

Английский журнал: «Неуязвимость Восточного Союзника. Русская традиционная тактика — отступать для лучшего удара...»

...Британские «Томми» окрестили свои новые блиндировки краткозвучным прозвищем танки, что значит «лохани». Это — ромбовидные сухопутные корабли. Отец «лохани» — Уинстон Черчилль.

...Как сообщает агентство Рейтера, в настоящее время в Германии наблюдается полный упадок духа... Конец Австро-Венгрии близок... Под знамёна призваны... от 50 до 60 лет.

...корреспондент видел собственными глазами, как немецкий солдат, не имея сливочного масла, мазал хлеб колёсной мазью. Положение Германии на третьем году войны...

Из Действующей армии. ...Немецкие дубинки для добивания наших воинов, отравленных удушливыми газами. Много таких дубинок, утыканных тупыми гвоздями, было подобрано в занятых немецких окопах...

ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ. Крайне напряжённое настроение... Твёрдым ценам в мелитопольских селениях не доверяют... скупщики уезжают, не заключив сделок...

Екатеринослав. На хлебном рынке — небывалое затишье. С утверждением новых твёрдых цен на хлеб аграрии предпочитают удерживать хлеб у себя. За недостатком зерна мельницы прекращают производство.

МУКИ И ХЛЕБА в Ростове достаточно! Мнимый недостаток создан самими же обывателями, которые стали усиленно закупать хлеб. Хлебопёки заявляют, что население берёт хлеба гораздо больше, чем нужно. ...Ограничить: пуд муки в одни руки...

...Спрашивают: но разве легко реквизировать? Отнимать силой хлеб у помещика и крестьянина по цене, которую они считают низкой? Не значит ли это — волновать часть русского народа? Однако без реквизиций вряд ли обойтись. В стране, где нет элементарной честности и гражданственности, нужна угроза.

(*«Речь»*)

...В губерниях, где нет запрета на вывоз овощей, они все дочиста куда-то исчезают. По деревням ездят перекупщики, скупают всё, что под руку попадётся — масло, яйца, грибы, шерсть, и всё увозят в неизвестную даль.

Тифлис. Тут обнаружено более 40 вагонов припрятанной муки. Часть испортилась.

СПЕКУЛЯЦИЯ ФИРМ Нобель и «Мазут»...

Спекуляция с галошами...

ОБЩЕСТВО 1914 ГОДА. **РАВНОДУШНЫМ — СОЖАЛЕНИЕ, ПРОТИВНИКАМ — УВАЖЕНИЕ, СОРАТНИКАМ — ПРИВЕТ.** ...задачи далеко выходят за рамки современных событий... Освободиться от всякой иностранной опеки... на страже русской самодеятельности и народной энергии...

ПАТРИОТИЗМ И КУРОРТЫ. ...На вокзале в Симферополе — столпотворение. На немногих счастливцев, получивших автомобиль или экипаж, накидывается стая, умоляя захватить и их...

НЕКУЛЬТУРНЫЙ ГЕНИЙ. ...В «Севильском цырюльнике» Каракаш спел не так, и «маэстро» Шаляпин демонстративно отбил ему ногою такт, а потом во всю ширь некогда богатырского голоса: «Если не умеешь петь — бросай!» Каракаш ушёл за кулисы, а вдогонку ему из уст гения раздалось непечатное ругательство...

СЫР ИЗ КАРТОФЕЛЯ по вкусу и питательным достоинствам приближается к швейцарскому...

РУССКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО **«ПУЛЕМЕТ»...**

Специально **ДАМСКИЙ ТРАУР**, *готовый и на заказ...*

Мамка, деревенская женщина, ищет места.

ЧИСТОКРОВНЫЕ ВЕРХОВЫЕ...

ПРОДАЕТСЯ **СОБОЛЬЯ РОТОНДА...**

ПОМОГИТЕ! Вниманию добрых людей! Жена землемера просит добрых отзывчивых людей о материальной помощи... в крайне тяжёлом положении, с двумя дочерьми, оставлена мужем... все вещи заложены...

В ЦАРСКОЙ СТАВКЕ. В день тезоименитства Наследника Цесаревича Высокопреосвященный митрополит Питирим совершил Божественную Литургию... Имели счастье поднести Его Императорскому Величеству от Святейшего Синода благословенную грамоту вместе с иконою Всемилостивого Спаса.

АВСТРИЙСКИЙ МИНИСТР-ПРЕЗИДЕНТ ШТЮРГК ЗАСТРЕЛЕН газетным издателем Фридрихом Адлером...

...В Добрудже наши и румынские войска несколько отошли...

...В наше время с мыслью о смерти сжились миллионы людей... Умирают без единого упрёка, сознавая всё громадное значение их смерти... «Пусть нас не станет, но наши дети узнают радость свободной, беспечальной, красивой жизни, которая придет на заплаканную землю...»

...Цынга в германской армии...

...Классовая вражда в Германии...

...Германские клеветы на Россию...

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДЗЯНКО. ...Ввиду появившихся в печати соображений, следовало ли бы М. В. Родзянко принять министерский пост, Председатель Гос. Думы просит сообщить, что никто никогда не делал ему таких предложений.

В БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ГОС. ДУМЫ. Министром земледелия внесен проект реорганизации продовольственного дела... Самое широкое участие общественных элементов... главноуполномоченных и помощников последних... Министерство внутренних дел со своей стороны также закончило разработку проекта нового продовольственного закона. Заведывание народным продовольствием в Империи возлагается на министерство внутренних дел, на губернаторов и градоначальников...

Тамбов. Губернатор угрожает реквизицией. Во имя патриотизма губернатор приглашает торговцев и производителей немедленно заявить уполномоченному об имеющихся у них для продажи запасах хлеба.

Новочеркасск. ...Вся власть по снабжению возложена на уполномоченных, разные совещания, комитеты, а когда беда нагрянет, население идёт к атаману...

АГРАРИИ МОБИЛИЗУЮТСЯ. Землевладельцы Саратовской губернии готовятся выступить против установленных твердых цен на зерновые продукты.

РАЗНЫЕ ИЗВЕСТИЯ... Бабы не идут на работы. Деревня так засыпана деньгами, что люди не хотят больше работать...

(«Речь»)

...Коровьим маслом Петроград совершенно не обеспечен. Наоборот, в прибалтийских губерниях имеется избыток масла, однако доставка его в Петроград невозможна из-за запрещения вывоза...

...Тульский сахарный завод не имеет сырья, а в Рязанской и Тамбовской губерниях свёкла гниёт: запрещено вывозить.

Кострома. Дровяной кризис в лесном царстве...

ОБЛАВА В ОДЕССЕ. В крупнейшем спекулянтском гнезде, в центре города... кончилась арестом нескольких десятков спекулянтов, маклеров и перекупщиков...

...Во Владикавказе за сокрытие 700 пар обуви миллионеры Николай и Владимир Запаловы подвергнуты генерал-губернатором аресту при тюрьме на 3 месяца без замены штрафом.

В опровержение неправильных сведений, проникающих в печать, о положении керосиновой торговли, ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА БРАТЬЕВ НОБЕЛЬ считает необходимым опубликовать... Запасы керосина нигде и никем не скрываются...

ПАТРИОТИЧНО И ВЫГОДНО: покупайте **В О Е Н Н Ы Й З А Е М.** 5 с половиной процентов годовых... Это наиболее лёгкий долг перед Родиной, а после войны благодаря сбережениям по-новому устроите вашу жизнь.

...женщина — рулевой на барже, женщина — водолей...

Общее собрание ОБЩЕСТВА ОХРАНЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ... Санаторий в Крыму...

В КОМИТЕТЕ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМ ЗАСИЛИЕМ. ...Ликвидация немецкого землевладения по Югу России идёт полным ходом...

Б О Л Ь Ш О Й Ц Ы Г А Н С К И Й К О Н Ц Е Р Т

КАТЮША СОРОКИНА... При благосклонном участии балерины имп. театров Тамары Платоновны Карсавиной.

БОЛЬШОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за содействие в найме **БАРСКОЙ КВАРТИРЫ.**

ВОЛНИСТОЙ БЕРЕЗЫ КРАСИВАЯ СПАЛЬНЯ продаётся...

Р О С К О Ш Н Ы Е П Е Р С И Д С К И Е И С М И Р Н С К И Е К О В Р Ы...

ШИТЬ ДОМА ОБУВЬ каждый легко научится...

П р а ч к а у ч ё н а я...

САМОВОЛЬНЫЙ АКТ. Германо-австрийский манифест о создании польского королевства... не спросив поляков, хотят ли они немецкого ярма... Обычная для германского правительства гнусность... Ведь со стороны России только потому ещё не приступлено к устройству Царства Польского, что такое устройство в разгаре войны невозможно осуществить.

...Daily Telegraph: «Понемногу мы начинаем понимать русскую душу... Непоколебимая лояльность, за которую мы так благодарны... Всё, что неясно грезилось мечтателям-идеалистам, — выносливость, добродушие, благочестие славян, стали выделяться из общего ада страданий и несчастья...»

...Фридрих Адлер — сын вождя с-д партии Виктора Адлера, женатый на русской студентке, любимый ученик знаменитого Маха. Страстный социал-демократ... Указал на повод своего акта — запрещение социалистического собрания...

(«Речь»)

...Даже неловко вспоминать, что у нас царило всеобщее убеждение в краткости военных действий — от 4-х до 8-ми месяцев. Продолжительность более года считалась немыслимой уже потому, что население Германии должна была постичь голодная смерть. Но 28-й месяц войны показывает... Мы не только пережили острый недостаток военного снабжения, но очутились перед изумительным фактом расстройства продовольственного дела Империи, до войны кормившей своим хлебом не одно западное государство.

В БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ГОС. ДУМЫ. Речь министра внутренних дел Протопопова... «Благородному лозунгу «всё для победы!» не следовало дать перейти в лозунг «ничего для тыла»... Когда я был в Англии... Мы опоздали... Частный почин должен жить, ибо это есть гений нации, её упругость... Введение карточной системы остановило бы всю торговлю...»

КУДА ИДЕТ РУССКИЙ ХЛЕБ. В Харькове на многолюдном совещании уполномоченных по хлебным заготовкам... в то время, как наши русские города не могут получить ни куля хлеба, в Финляндию хлеб вывозится в громадном количестве и беспрепятственно...

(«Новое время»)

Новочеркасск. Такса на картофель не свыше 75 коп. за пуд...
...из Москвы вернулся знакомый таганрожец. «По сравнению с Москвой и даже Харьковом — в Ростове ещё рай земной, стыдно за своё благополучие»...

МАТЕРИАЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. ...О мерах к прекращению потребления населением мяса и мясных продуктов от крупного рогатого скота, телят, овец и ягнят, свиней и поросят...

СОКРЫТИЕ ЗАПАСОВ. В квасоваренном заведении по Полюстровской набережной... в лабазе братьев Жигаловых 33 бочёнка...

Одесса. Продолжается обследование заводов Шапиро, Раухбергера, Шполянского, в отношении коих установлено использование оборонных материалов в спекулятивных целях для частных надобностей. Документы и книги полиция обнаружила закопанными в землю.

(«Русские Ведомости»)

ТОВАРИЩЕСТВО бр. НОБЕЛЬ И КЕРОСИН... Что же они опровергают? Во многих городах, не говоря о деревнях, нет керосина, цены непомерные. Доходы с нефти таковы, что акции товарищества расцениваются в 6 раз выше своей номинальной стоимости.

...нынешняя война — ВОЙНА НАРОДНАЯ, и военный заём должен стать НАРОДНЫМ ДЕЛОМ...

ОБЩЕСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОСКОШИ И РАСТОЧИТЕЛЬНОСТИ. ...Обращаемся к русским женщинам в надежде, что ни одна не примет участия в непристойном соревновании, в бале-маскараде с выдачей призов—за расточительность на туалеты и драгоценные камни...

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ! ОТЗОВИТЕСЬ!

...Последние дни выставки *ИСКУССТВЕННЫХ ПРОТЕЗОВ*. Работа на сенокосе с искусственной левой рукой... Казак с искусственными ногами... Нос из мягкого материала... Электромагнитная рука, приводится в действие при помощи штепселя...

ЖЕРТВЫ ШОФЕРОВ. НЕОСТОРОЖНАЯ ЕЗДА. ...Автомобиль №... сшиб извозчика на Дворцовой набережной... На Каменноостровском № ... переехал 7-летнего мальчика... № ... наскочил на фонарный газовый столб... № ... сломал столб электрического трамвая и скрылся...

ВНИМАНИЕ! Не нужно больше сахара! Берегите здоровье и деньги! Пейте РУССКИЙ ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЙ ЧАЙ...

ДАМЫ, любительницы нарядного белья, шикарных капотов, роскошных матинэ, — спешите приобрести у вояжёра!..

РАЗВОД быстро и дёшево. Невский проспект № ...

Ренессанс, дивный **КАБИНЕТ ТЕМНОГО ДУБА,** крыто заграничной кожей...

Одной прислугой...

ЖЕЛАЮ МОТОЦИКЛЕТКУ...

...единой и священной державной воле Помазанника Божьего, нашего горячо обожаемого Государя Императора, который...

...Оставление нами Констанцы... Подожгли элеваторы и резервуары нефти...
...Греческое правительство приняло все условия французского адмирала...

БОЛГАРСКИЕ ЗВЕРСТВА... Нация каинов-братоубийц...

ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ!

«Таймс» указывает, что главная причина, по которой Германия объявила создание польского королевства, — это необходимость получить польские войска.

...Главное противодействие деятельности парламентских учреждений происходило именно от Штюргка. Из сообщаемых газетных данных вытекает резко-реакционное направление его деятельности в последнее время. Он вооружил против себя самые широкие общественные круги. Таким образом мотивы адлеровского выстрела проясняются с достаточной полнотой.

(«Речь»)

Лондон. Митинг против преждевременного мира.

НОВЫЙ ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕКУЛЯЦИЮ.

Давно ожидавшийся населением, наконец-то распубликован... За требование чрезмерных цен на предметы продовольствия... за сокрытие запасов или прекращение продажи без уважительных причин... Зачинщики... тюрьме от 8 до 16 месяцев.

БАНКИ И ХЛЕБНАЯ ТОРГОВЛЯ. ...Совещание банкиров об участии в продовольственном деле.

Московская печать взволнована слухами о введении предварительной цензуры для московских газет... Все понимают необходимость военной цензуры, иное дело — гражданская. Какие политические тайны надо скрывать правительству от своего народа? Будет цензура — появятся «устные газеты» и едва ли им обрадуется правительство. Мы, журналисты, сейчас принадлежим к «натуралистической» школе, тогда станем «символистами»...

(«Утро России»)

ВОСПРЕЩЕНИЕ ВВОЗА ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ В РОССИЮ.

...меры борьбы с пятьевым потреблением лака и политуры...

ЖЕЛТЫЙ ТРУД. ...Во многих городах России китайцы появляются всё чаще.

КТО ИЗ НАС НЕ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ НАШЕМУ ХРАБРОМУ ВОИНСТВУ?

СПЕШИТЕ КУПИТЬ ВОЕННЫЙ 5½% ЗАЕМ!

Каждая облигация займа в 100 рублей
это три выстрела шрапнели по врагу.

Одесса. ДЕЛО О БАБЬЕМ БУНТЕ. В связи с земской переписью у населения продуктов по сёлам распространился слух о «возврате крепостного права»... Толпа около ста женщин...

ШАЙКА АФЕРИСТОВ. В особом присутствии петроградской судебной палаты началось рассмотрение большого дела о шайке всероссийских аферистов... Глава всей компании — Церетелли, незаурядная личность. По подложной телеграмме получил около 200.000 руб. ...пожертвовал на благотворительные цели 4000 руб. и за это окружён был почётом... «Я жил и давал жить другим»...

ВЫСТАВКА ПРОТЕЗОВ. ...Чувство изумления перед размерами остроумной изобретательности... Но попробуем заглянуть в будущее... Срок жизни каждого протеза — 2—3 года, новый стоит 100—150 руб. Очень скоро увечный должен будет обходиться при помощи деревяшки, и вот на это примитивное устройство желательно обратить особое...

Что все думы, все вопросы!
Сладко зыблюсь в гамаке.
Мёртвый пепел папиросы
Чуть сереет на песке.

Были бури, будут бури,
Но теперь лишь тихий сад.
Словно сам в бело-лазури,
Я, как ласточка, крылат.

В. Брюсов

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ МЯСО? *Руководство к приготовлению вкусных, сытных, дешёвых блюд.*

ЗУБЫ ПОКУПАЮ: зубы искусств. старые и даже ломаные челюсти по самым высоким ценам. Плачу за зуб от 50 к. ... Покупаю также лом золота, серебра и разные ордена...

ВСЁ В ЖИЗНИ МЕНЯЕТСЯ! — только единственные папиросы С Э Р были, есть и будут всегда постоянного высокого качества!

Сегодня БЕГА

МОЛОДЕНЬКАЯ ПАРИЖАНКА желает быть компаньонкой.

Роскошная белая спальня парижской работы...

УБЕЖИЩЕ БЕРЕМЕННЫХ, рожениц — секретная акушерка...

Ищут интеллигентную няню...

Швейцарская коза *требуется...*

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. Его Величество Государь Император с Наследником Цесаревичем Великим Князем Алексеем Николаевичем 19 сего октября изволил прибыть из Действующей армии в Царское Село.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОРЫВ ПОД ВЕРДЕНОМ!..

...наши и румынские войска несколько отошли...

...Россия приблизится к зениту своей мощи в будущем году. 99% русских требуют продолжения войны до окончательной победы. Будущим летом решится исход войны...

НОВОЕ ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА БРУСИЛОВА. «Война нами уже выиграна, — сказал доблестный русский генерал английскому корреспонденту, — вопрос лишь во времени. Неудачи румын не имеют серьезного значения...»

...Times: «Теперь мы все — за Россию. Будем надеяться, что эти горячие чувства не заменятся равнодушием».

Орган германской социал-демократии заявляет: главный пострадавший от этого акта — не убитый, не оставивший семьи. Трагической фигурой является «старик на троне», Франц-Иосиф, уже потерявший в таких же условиях и брата, и сына, и жену, и племянника. Но ещё трагичнее судьба отца убийцы Виктора Адлера, и к нему должны теперь направиться симпатии пролетариата. Это он когда-то вывел австрийское социалистическое движение из стадии терроризма, основал его на гранитных основах марксистского учения, — и теперь анархия нанесла ему страшный удар.

(«Речь», 20 окт.)

Назначение баварского принца Леопольда польским королем...

Вывоз мужского населения Сербии австрийцами...

...следует признать, что Германия, благодаря своевременно принятым тщательным мерам строгого порядка и экономии не испытала до сего времени существенного недостатка тех или иных продуктов...

...В Петрограде объявлено переосвидетельствование белобилетников.

ИЗОБИЛИЕ МЯСА В ПЕТРОГРАДЕ...

...Главный совет Союза Русского Народа считает, что в настоящее время России никакая революция не угрожает, всё это выдумки...

...В настоящее время наступил maximum всех солнечных и земных магнитных явлений... В течение предстоящей зимы в Петрограде можно будет часто наблюдать полярные сияния.

«МНЕ ВСЁ РАВНО, КТО УБИВАЕТ НЕМЦЕВ» — **ДЖЕК ЛОНДОН.** ...Скорбная весть о кончине писателя... Таким образом приведенные выше слова звучат предсмертным заветом...

...в помещении Петроградской военной гостиницы (Б. Астория) sive o'clock *ПЕТРОГРАД — ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ, при участии лучших сил...*

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ! ОТЗОВИТЕСЬ!

КАВКАЗСКИЕ КУРОРТЫ... Наплыв приезжих... Мясо — 30 коп. за фунт, куры — по рублю...

ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ ПЛАЧУ за бриллианты, жемчуг, золото... Ювелир Фиступь.

БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКА мгновенно и безошибочно раскрываю магическими картами.

Молодая интеллигентная барышня *предлагает массаж общий и местный...*

РУССКИЙ КУЧЕР, знает троечную езду...

11

В этом году Алина твёрдо решила, что больше не поедет свидаться с мужем у фронта, довольно этих унижений, как будто она выпрашивала себе свой естественный праздник. Захочет — приедет сам, как другие офицеры приезжают.

И значит, в этом октябре, в конце, ей предстояло встретить свой день рожденья без мужа. Обдумывала, как же бы его отметить пооригинальней, чтоб запомнился этот день. Кого бы позвать? (И вдруг бы! — как-нибудь разыскался бы да нагрянул даритель розового букета?.. Что бы тогда?..)

Но всё это задумывала Алина отчасти и через силу: и с деньгами было скромно (с ценами высоко), и на самом деле трудно было ей собрать смелость на слишком эксцентричный шаг. И уж она думала: просто уехать к маме в Борисоглебск да повидать кой-кого из подруг юности?

И вдруг в пятницу, 14-го, пришла от Жоржа телеграмма — да откуда! уже из Киева: что в субботу он будет в Москве! Замечательно! Милый! Ну, тут я тебя расшевелю! Не был в Москве с тех пор, как отчислили из Ставки, и тогда-то три дня.

И получалось — почти за две недели до дня рождения. Ну, всё-таки не вовсе потерянный человек.

И — облегчение: не напрягаться, не силиться на что-то экстравагантное. Ничего не изобретать, а по-домашнему, так и легче. Всегда легче жить, как жизнь течёт сама.

Как раз в пятницу пришла и черездневная прислуга. Кинулись с нею стряпать и квартиру приохорашивать — постирать и сменить тюлевые занавески на окнах, кружевные накидки на столиках, выбить ковры и коврики — Жорж совсем забыл о домашнем уюте, так любовно напомнить ему каждой мелочью, и каждой подушечкой на диване.

А жили они с 14-го года, как счастливо вырвались из Вятки в Москву, — в удобном приятном новопостроенном доме на Остоженке между Ушаковскими переулками, против Коммерческого училища. Чистая красивая лестница, мраморные ступеньки, коричневые плитки на площадках, трогательные звонки-ушки — «прошу повернуть». Чёрной лестницы не было, но был чёрный отвод марша в конце, чтобы с отбросами не выходить через парадное. Отопление было центральное, и в трудную осень, как сейчас, при дорогих дровах, не думать о топке, эта забота была — священника, построившего и содержавшего их дом на земле своей Успенской церкви. И — чудесица, теперь уже привычна и полюблена их квартирка в три комнаты на третьем этаже с окнами на Остоженку и на церковный двор. Из этих боковых окон ещё лучше виделась улица, сверху и вдаль, прямо к штабу Московского военного округа, куда Жорж и перевёлся в 14-м году. (И где у него сохранялись обширные знакомства, так что мог бы он и сейчас перекомандироваться сюда из полка — но отклонял даже намёки.)

Ещё поздно вечером Алина перекладывала любимые предметы мужа, представляя и вспоминая, как ему удобнее дотянуться и повернуться от письменного стола. Устояние семьи — это дом, и каждая мелочь в нём должна быть хороша, уместна, приспособлена, помогать жить, привязывать. А у Алины как раз есть ощущение единственной верности расстановки предметов, развески фотографий по стенам. За два года своей передряжной фронтовой жизни Жорж отвык, у него уже нет связи с домашними вещами, но должна вернуться! — после военных неудобств он особенно оценит их.

Теперь, если оглянуться, — и всегдашняя беда Жоржа была — душевная чёрствость, это не новое у него. У него нет подлинного дара любви — внимания к душевным движениям, особенно женским, к подробностям человеческих историй. Жалко его, дурачка: он первый и страдает от того, как обделён чувствами. Что ж, вот и направление деятель-

ности жены: следить за душой мужа и исправлять его органические недостатки. И даже с нынешним его омертвением — сейчас не может быть, чтоб он дома не оживел, не приободрился.

Убираясь, Алина размышляла, как лучше им распорядиться этими неделями, на которые он приезжает. Время — чудное, самое концертное, на конец месяца объявлены Рахманинов и Зилотти в Дворянском собрании, а вот с понедельника — оркестр Кусевицкого в театре Незлобина, а уже завтра — первое из шести собраний Русского Музыкального Общества, французская музыка, там соберётся цвет музыкальной Москвы, но на это уже не попасть. Для артистического развития, чтобы дышать музыкальным воздухом, Алине совершенно необходимо бывать на таких концертах. Но и насколько ярче — пойти не с подругами, а об руку с мужем, боевым импозантным полковником (лишь по своему упрямству до сих пор не генерал), и в антрактах, прохаживаясь по фойе, знакомить и знакомить его со своим новым московским кругом.

С утра она ждала, не зная часа приезда. Но вот зажурчал милый дверной звоночек, Алина распахнула дверь — и дала налететь на себя этим клещам, обнять, сжать (ещё сильней ты стал?) и даже подбросить, и щёкотом протереть бородой (подстригу тебе, очень выросла!).

— Цел! цел! — тянула она его за шею. Муж её был цел на расстройство всем врагам, тьфу, тьфу, тьфу!

И поплыла небуденная радость. Вместо фуражки — папаха, очень идёт. Кожа ещё загаристей и суровей. И прежние быстрые глаза (вот уже и оживляется). Мундир — не обычного серо-зелёного сукна, а коричневого. Красиво! А почему? Теперь тоже считается защитным? Но — не без франтовства. А в чём я сегодня? — ты хоть заметил или вовсе пень? Какой наш день тебе это напоминает?

Походили по комнате, обнявшись. Она пыталась ему показывать одну, другую свою затею — но он ещё не видел ничего. Ну, сожми меня ещё раз. Вот так.

Следила: известные милые предметы их обихода — вызывают ли попрежнему его улыбку? Всё на тех же местах, а что переставлено, перевешено — не к худшему. Водила его по квартире, следила за выражением лица, появляется ли облегчение от фронтовых тягот, изумление, что целые страны изойдены, исколешены, а здесь — всё на местах. Появлялось (но недостаточно). Да ты заметил ли, как тщательно прибрано, тюлень?

— А как вот эта накидочка называется, не забыл?

Вышитая паутинкой и накинутая на чёрный круглый столик.

Улыбнулся стеснительно:

— Паучок.

Помнит!

— А вот этот комодик?

Улыбнулся:

— Пузёныш.

И что граммофон их назывался Грум — тоже помнил. Многие привычные милые вещи, помогающие жить, назывались у них собственными именами. Обаяние дома.

— Сла́вночко до́менька? — добивалась Алина тоже принятыми ласковыми словами. — А чьи ручки всё устроили? — щурилась и протягивала для поцелуя обе.

Сбросил амуницию — но, не облегчённый, опустился на диван, как от тяжести своего тела. И даже выдохнул вслух:

— Фу-у-у-уф!

— Бо-оже мой, — передалось и ей, своим телом почувствовала это нагруженное железо в нём. — Как же тебе тяжело! — Подошла вплотную, ворошила ему волосы. — Тяжело, да? Очень?

— Да-а-а, — ещё выдохнул он, глухо и безнадёжно.

— Что? Вообще?

— Да. Вообще.

— А что именно?

Сидел неподвижно, вздохнул:

— Да-а-а так: больше мы теряем, чем когда-нибудь возьмём.

— Убитыми?

— Убитыми, ранеными, измученными... отвращёнными... Всяко. Ничем это не возместится. Никогда.

— О-о-о, Боже мой, как ты устал! Как ты устал! — ласкала его голову.

— Что я устал — это ладно. Но...

— Вот что значит — ты не приезжал в прошлом году в отпуск. Ты — сам себя всю жизнь мучил, сам себе — первый враг. Надо ж тебе и себя поберечь! Тебе надо — развеяться!

А вот уже и звонила в маленький китайский колокольчик. Колокольчик-то он помнит? — мелодично вызванивать, приглашать от работы к еде. А уж тут ему больше всего и должно было понравиться! Вкусы к еде не изучишь и за год, здесь-то — и давность, в том-то и женатость.

В петербургские годы они снимали квартиру «от хозяйки», чтоб у неё кормиться и не нужна прислуга. А в вятской дыре офицерские жёны, по недостатку жизни, стряпали сами, Алина тоже попытала своё уменье и, как всегда, за что б она ни взялась серьёзно, стало превосходно получаться. Жоржу очень нравилась её кулинария, он никогда не упускал сделанного, всегда видел, хвалил, не жалко и потрудиться. Мир домашнего хозяйства оказался особым сложным миром, требующим сразу и науки, и вкуса, и общего правильного распорядка, но в разнообразной богатой природе Алины всё это было и здесь применялось благодарно. С войны и в Москве стало модно обходиться на кухне самим, иные московские знакомые теперь тоже так — а уж Алина тем более легко.

Но как раз последние месяцы с продуктами сильно ухудшилось, далеко не всё достать. (Жорж высмеивает: ну не так, как отрежут подвоз в горах, и трое суток совсем есть нечего?) Не так, но чего нет — продаётся из-под полы по вздутым ценам, вдвое и втрое дороже. Захудалый Долгачёв, в подвале княгини Львовой, напротив, и тот припрятывает, допрашиваться надо. Кое в чём выручает недавно устроенная офицерская кооперативная лавка. Везде — хвосты, хвосты. Проезжал — видел?

— Са-ма? Ещё б я стояла! Что бы мне тогда оставалось в жизни! Мне — пять часов ежедневно надо просидеть за роялем! Ты ничего уже не помнишь...

Помнил, помнил. Не совсем ещё заглохло сердце.

Бывает — за мясом. За французскими булками, с раннего утра. А сахара совсем не достать. Неделю назад ввели такие талончики, будет теперь по ним. Но у нас-то — варений маминых борисоглебских... Дорогие конфеты, мёд — это везде. Но всё вдвое.

— О, вы разве представляете нашу жизнь? У вас там — паёк, всё готовое. А тут ещё — из-за беженцев, наехало их видимо-невидимо, и богатые. И ещё им платят пособие на прожитие. А — сколько приходится теперь прислуге платить? Чуть не каждый месяц добавлять.

— И — как же? — омрачился он.

Конечно, трудно. Конечно, плохо. Мама помогает, кто ж.

Мать Алины, вдова действительного статского советника, имела большую пожизненную пенсию. Немалую пенсию за отца когда-то получала и Алина, но по закону — лишь до замужества. Алина — не мотовка, он знает. Но офицерского жалованья и всегда было только-только. А звание генштабиста давало лишь особое служебное продвижение, но никаких собственно добавочных денег.

Впрочем — и он ведь, Алина знала, в карты не играл, не пил, в рестораны не ходил, дворянское прожигательство ему было всегда ненавистно, он фанатик дела.

— Ведь надо же мне сохраниться, милый? Для будущего? Для тебя же?

Ещё бы, ещё бы!.. Смутился, отемнился, потупился. Нет, он не безнадёжен и будет снова чуток, когда будет жить в тёплой семейной атмосфере.

Да он уже распрямляется. За несколько дней отойдёт, потеплеет.

Их руки, с одинаковыми обручальными кольцами, переносились над маленьким столом, беря, накладывая.

— Ну как? — уверенно улыбалась Алина. — Да ещё после окопного?

Нра-а-авилось. Покручивал широковатой, а лёгкой головой.

— Уменье! терпенье! — кокетливо изгибалась она. — А у тебя сединки, сединки, смотри! — оживлённо находила она. — Надо повыдёргивать, зачем мне седой муж?

Шутила. А на самом деле: какой достался. Надо уметь быть верной, прилежной и облагораживать его, в чём можно.

Между тем за суматохою и радостью встречи Алина упустила то, что замечала всегда: когда Жорж бывает потуплен и мнётся не от раскаяния, а — опасается её, что-то оттягивает, не хочет сказать. И вот теперь, когда стала говорить ему о планах, на какие бы концерты им пойти непременно на следующей неделе — Мейчик, Фрей, увидела: негладко, неладно, что-то тяготит его и всё больше.

Наконец, стал тягуче, смущённо выговариваться: что никак иначе было нельзя. Что это — не отпуск, а срочная командировка в военное министерство. Что, собственно, он должен был ехать в Петербург прямо через Могилёв, а не через Москву...

— Ка-ак? Ка-ак? — ранило Алину. — И ты — молчишь?! Да ты просто топчешь меня!

И над светлой сервировкой своей, над своими стараньями, заботами, всем приготовленным — заплакала от обиды, так это было жестоко и унизительно.

— Так и ехал бы прямо! И мне бы вовсе не объявлял! И это было бы милосерднее!

Стал позади, отаптывался виновато, за плечи брал.

— Или в телеграмме предупредил бы, что — проездом. Я б и не настраивалась. Тоже милосерднее.

Права́, права́, возразить ему было нечего, копошился там сзади у плеч.

— А что же ты мне в письмах писал? Как томишься моим молчанием? Если в этом году не увидимся — не вынесешь? Когда увидимся, то будешь только целовать, целовать, слова не произнесёшь... ?

Нет, это было его особое свойство: если и доставить радость, то неполную, обязательно тут же и омрачить. Пойти в концерт — и пробурчать весь вечер, что зря пришли. В театральном антракте не согласиться пойти в буфет, будто это противоречит духу спектакля. Сам же когда-то подарил ей фотографический аппарат — а её фотографий не рассматривал, уклонялся, так что у самой пропадает интерес показывать, классифицировать, наклеивать, отдавать в увеличение, — а были презамечательные. В чём, правда, корни его душевной сухости? Погоди:

— Но — день рождения?? Ты что же — н е б у д е ш ь?

Будет, будет, показал лицо, вышел из-за спины. Так на сколько ж дней в Петербург? Опасливость и виноватость ещё не ушли с его лица: дня н-на четыре... Ну ладно, до дня рождения ещё двенадцать, так-сяк. Но — категорически?!

Доедали удачный завтрак. Обычный обряд после каждой еды был — целовать в щёчку. Но сегодня Алина с полным правом подставила губы.

После завтрака мыла на кухне посуду, Жорж зашёл может быть и за делом, но против лампочки, зажжённой по тёмному дню, заметил, черствяк, как у неё ушко светится, — а ушки были действительно украшением Алины! изогнутые тонкие нежные раковинки с неприросшими

мочками! две симметричных изящных, как выхваченные дары океана! — поцеловал сзади в ушко. За ушком. В шею. И потянул из кухни, не давая как следует вытереть рук.

Не по времени дня, но вполне по сумеречному свету, лежали. А на душе стало светленько. И захотелось рассказывать. Рассказать близкому человеку — это ещё раз пережить, углубить переживание, даже как бы дополнить его. А за последние месяцы столько бывало!.. Например, один раз давали концерт в доме у Боткиных. Давали благотворительный в Охотничьем клубе, чудная акустика. Сам московский голова Челноков целовал Алине ручку.

— А один подполковник на другой день сказал: вы знаете, после вашей баллады Шопена *я не мог спать всю ночь!*

Но Жорж оставался не захвачен: он курил лёжа (как выгнали из Ставки, с тех пор опять стал курить и не борется с собой), методично стряхивал пепел, не просыпая мимо на тумбочку, а интереса не было, слушал-не перебивал, но и сердцем не встречал рассказа. И это после такой долгой разлуки!.. И не разделил даже самое драгоценное её: что этой бурной концертной деятельностью можно хоть с опозданием и косвенно наверстать упущенную консерваторию.

Ах, он оставался во мраке! Но — и очень же он отупел за эти годы окопного сидения. Почему не возвыситься к искусству — высшему, что в мире есть? Да уж не страдает ли его мужское достоинство от разворота алининого таланта — тогда как сам он заглох и опустился?

— Да ты не радуешься моим успехам? Ты что ж — ревнуешь? Ты предпочёл бы, чтоб я сидела в четырёх стенах?

Уверял, что — рад и даже очень, и букетам, и всему.

Она, напротив, была готова слушать его! Но он не рассказывал. И тут Алина спохватилась, что у них, по сути, *один вечер* — всего лишь один сегодняшний вечер! — и как же верней распорядиться им? надо скорей решать. — А дома не посидим? — надеялся Жорж. — По твоей собственной вине! Брал бы командировку в Московский округ. Билеты куда-нибудь? — уже поздно. Но — в гости. (А — показать его Сусанне!) Наденешь все ордена? — Нет, все носятся при парадной. Только Георгия и Владимира. — Жалко.

Завертелось у Алины: как дать знать? у кого собраться? Она деловито одевалась. Хорошо теперь повесили телефонный аппарат у них на лестнице, не идти в аптеку.

Пошла. Сделала удачные телефоны. Вернулась:

— Соберёмся у Мумы. Она попоёт, я поаккомпанирую.

Жорж скислился: мол, всего лишь аккомпанировать и для того тянуться? Да лучше дома поиграла бы сама, я люблю твою музыку именно, когда ты одна играешь.

— Аккомпанировать — это низко? — возмутилась Алина. — Да ты урод, ничего не понимаешь. Аккомпанимент — это высшее наслаждение для пианиста! Ансамбль! — ты можешь понять, что такое *ансамбль?..* А ты задумывался: если б не музыка — как бы я вообще выносила наши длительные разлуки?

Обминался по краям комнаты.

— Ты — приехал, уехал, а я — живу одинёшенька. Я — в духовном голоде. И мои друзья — мой мир, который я впитываю и перед которым раскрываюсь. Ты уедешь — а я останусь именно с тем, что будут думать обо мне эти люди. Ты — хоть мгновение можешь мне дать ощутить себя перед ними не соломенной вдовой? Хоть в памяти их оставить, что у меня есть какой-никакой муж? — И видя, что он расстроился: — Ну конечно, и я поиграю, и я! А ты — расскажешь о фронте, ведь это всем надо слушать, не мне одной!

Так и собрались у Мумы, хорошей алининой подруги, которая пела контральто и у которой был прекрасный беккеровский рояль. Пришли —

уж кого успели собрать, кой-какое общество, даже и мумины соседи, — да главная цель была показать Жоржа Сусанне.

Музыкальная часть прошла прекрасно. Мума пела безумно красивую Далилу и другое, Алина сыграла несколько прелестных шопеновских мазурок и накатный листовский этюд «Рим — Неаполь — Флоренция». И ещё был — свистун, художественный свист. Всем понравилось, принимали хорошо. Алина к ужину разгорелась, выпила две рюмки виноградного, вторую не против воли.

А потом, как и в каждой компании, где появляется из Действующей армии боевой офицер, — все очень ждали рассказов полковника. Но он, вредный, ничего не рассказал, так-таки ни одного эпизода, а ведь умел. (Не мог и для жёнушки постараться!) Тем не менее, просто удивительно как всем понравился, Алина была горда. Видели — планки орденов, загорелость, обветренность и дремлющую в нём волю, даже избыточную: вид у него сначала был недовольный, будто он сдерживал себя от распоряжений, а то бы всех тут загонял. Потом — смягчился. Все говорил Алине: как бы устроить ещё раз, и его послушать?

С интересом посматривала Алина, какое впечатление произведет Жорж на Сусанну. Отсели они на дальний диван, говорили немного. Алина проходила неподалеку, прислушалась — ну конечно, всякий о своём, Сусанна спрашивала:

— Ну, честно ли? — свои поражения, отступления, своё тупоголовство валить на еврейских шпионов?

— Решительно с вами согласен: нечестно.

— Но если на евреев такое возводят во время войны — что ж будет после победы? И как же евреям этой победы желать?

— Тоже согласен. Если евреи лишены какой-то части российских прав — нельзя с них спрашивать и полной любви к России. И не оскорбительно допустить, что многие больше сочувствуют Германии, где пользуются всеми правами.

Всё же Сусанна свои наблюдения успела сделать и позже в тот вечер сказала Алине:

— О нет, не похоже на старость чувств! Так что будьте повнимательней. И когда с ним в обществе — приглядывайтесь, как он смотрит на женщин, и как они на него.

— Ну уж, ну уж! — засмеялась Алина. — Спасибо за предупреждение, но об этом можно не тревожиться. Женщины — вообще не в круге его зрения. И никогда не были. И никакая ему не заменит меня. Да я бы, Сусанна Иосифовна, гордилась, если б у него было богатство чувств. Но увы, всё ушло — на русского несостоявшегося Шлиффена.

Возвращались домой — подумала: а может поехать с ним сейчас в Петроград? Алина была весьма способна на быстрые крутые решения, даже больше всего любила именно круто менять всегда. А?.. Да, мол, знаешь, с билетами трудно, я еле взял международный... Но и дело в том, что через два дня она сама участвует в концерте, жалко не выступать. А вот идея! — задержись на два дня, послушаешь *полный звук* в хорошем зале, а не в комнатной обстановке, а потом вместе и поедем в Петроград?

12

В августе Четырнадцатого года, отправленный из Ставки командиром полка на фронт, Воротынцев и перенёс туда себя всего, всю полноту жизни. Он и сам сознавал, что его снование по верхам в самсоновской катастрофе оказалось бесполезно — и за то одно, а не за скандал в Ставке, он уже заслужил быть сослан вниз и впряжён в прямое дело. Он — влился в свой полк, врос в него, и даже глубже, чем был обязан: ни разу с тех пор не ездил в отпуск, ни в прошлом году, ни в этом. Стена горечи отгородила от него всякую льготную свободную жизнь и

всякий вообще тыл — и он не дозволял себе бросить полк ни на неделю. Он посвящал свою жизнь военной службе? — ну вот он и попал теперь на неё, до последнего своего дня. После смены Николая Николаевича, Янушкевича, Данилова — Воротынцев мог бы предпринять попытку подняться вновь. Но не сделал этого. Из гордости. Перемежно-несчастный ход войны покрывал своей ужасающей тенью мелкое служебное крушение полковника Воротынцева. Не утеряв способности стратегического взгляда, он часто, сколько мог судить, не верил в высший смысл операций, в которые втягивалась их дивизия, корпус, армия, и с высоты полка было ясно, что лезть через Карпаты да без снарядов — крупная глупость. Но запретил себе этим разжигаться. В полку он был на месте, и хватит. Он больше не стремился отличиться, украситься орденами, снова возвыситься: там, наверху, он уже побывал и не испытывал тяги снова. Он ожесточённо врастил себя в здешнюю кору, рассудил считать себя обречённым, и периодами бывал даже подлинно нечувствителен к смерти, отчаянно себя вёл. А был только дважды зацеплен, легко. Когда же наступали месяцы размеренного позиционного сидения — утверживало грудь спокойное сознание посильно выполняемого долга. И чем больше притекало через отпускников мутных, оскорбительных рассказов о тыле, как там ловчат, как привыкли к войне будто обыденности, — тем отвратительней представлялся тыл, тем очистительней было сознавать здешнюю атмосферу, видеть чистые вокруг сердца, ежечасно готовые к смерти. Давние фронтовики, они перерodились тут в новую породу.

Но кто — *они?* Кадровые офицеры, сверхсрочные унтеры да обтерпевшиеся прапорщики. А главный солдатский поток притекал сюда по вынужденности, и держался тут на вынужденности, и почему они должны тут раниться и умирать — у них понятия ясного не было.

И переколачиваясь, и перевариваясь тут, и хороня, хороня, хороня вот уже двадцать четыре месяца — не мог Воротынцев не взглянуть на эту войну из-под солдатской покорной, обречённой шкуры.

Как будто дико: кадровому офицеру — усумниться в пользе войны?

Воротынцев сознательно отдал свою жизнь армии — и, значит, никакой высшей деятельности, чем война, не могло быть у него, всё лучшее в нём было наструнено на войну. С юности рвясь на военную службу, он мечтал только об её усовершенствовании, — а для чего же, как не для войны. Задача военного — только исполнять объявленную войну. Никогда прежде не приходило ему в голову, что в с я война, ведомая родиной, может быть тобою, офицером, не одобрена. Провоевав японскую, он до такой мысли не доходил. Тогда он только возмущался отдельными генералами и возмущался насмешливым и даже прямо предательским отношением к той войне образованного общества. Сам же, как ему казалось, глубоко понимал, что мы прорубаем окно на Тихий океан, что если две исторических мощи, растя, сокоснулись упруго границами — им не избежать попытать силы и определить линию раздела, — ведь так и всё живое, всегда на Земле. (Позже он понял, что у России умеренный выход — был, а просто раззявили рот на чужое.)

И нынешнюю войну Воротынцев начинал безо всякой мысли сомнения, да ещё в угаре первого поспешного маневренного периода, им владело молодое чувство радости перед боем. Только раз, в Восточной Пруссии, у скотобойного домика, коротким видением его посетила такая странность: зачем мы оказались на этой войне?

Но проволакивались месяцы и месяцы этих двух лет, уничтожение, уничтожение, уничтожение русских солдат в его полку, на их участке и на соседних — и всё больше прорезáло Воротынцева болезненное прояснение, что вся нынешняя война — н е т а. Как говорят в народе — не задалась. По ошибке начата, не с той ноги. И ведётся губительно. Не грозил России военный разгром, но не видно и выигрыша.

Во всех этих прокровавленных бинтах, как на себе стянутых, ощутил Воротынцев так: нельзя нам этой войны вести!

Пришлось ему задуматься: что ж он любит? — неужели своё военное ремесло выше, чем своё отечество? Он — военный, да, и должен служить войне, но не для самой же войны, а для России.

Так Воротынцев, посвятив себя войне, перестал в ней помещаться.

В этой войне, из-под досужих перьев то Великой, то Отечественной, то Европейской, — не чувствовалось неотвратимости.

А вести надо, он понял теперь, только неотвратимые войны.

Зачем мы вели японскую? Зачем теснили китайцев? Да даже и турецкую зачем? А — туркестанскую кампанию? Вот Крымскую — надо было вести, так вести. Так мы её поспешили сдать.

Воротынцев умел воевать только не отделяя себя от солдат. Ему всегда был неприятен офицерский отдельный быт, биллиард, «потанцевать бы». Ни кия, ни игральной колоды он в руки никогда не брал. И вообще не терпел офицеров-прожигателей жизни.

Вот так, веками, занятые только собой, мы держали народ в крепостном бесправии, не развивали ни духовно, ни культурно — и передали эту заботу революционерам. Но эта война послала нам такое соединение с простонародьем — когда оно бывало в жизни? Разве что с мальчишками, в костромское детство, в Застружьи. Послала такое безоглядное слитие: все мы—это *мы,* вот сидим в земле, а те, *они,* вон шевелятся, ползут, стреляют в нас, а нам их надо накрыть.

В чём может состоять главный долг офицера — беречь солдат! Солдат не знает, как воевать, он доверяет, что начальник его сбережёт. Да чем больше мы их сбережём — тем верней и выиграем войну: в благодарность за сбереженье он и воюет лучше, и в полку порядок. Незаменим оставался Воротынцев в задаче сохранять подчинённые жизни.

Но когда солдаты отдаются нам как отцам — каково же чувствовать, что мы их обманываем, не туда заводим?

Справедливое сознание вины, которым мучилась русская интеллигенция полное столетие, — вот оно сейчас и внятно: перед своим народом мы не имеем права на эту войну. И что мы сами в той же опасности — не снимает вины.

Прожив эти два года заедино с солдатом, гораздо тесней с его бытом и боем, чем это требуется от командира полка, не мог Воротынцев не убедиться, что крестьянство нисколько этой войной не увлечено, ничего не видит в ней, кроме бесполезных смертей и бесполезной потери рабочего времени. В народном сознании эта война не была подготовлена, не созрела, ворвалась насилием или стихийным бедствием, — и из сотни солдат редко один испытывал к австрияку, к немцу — враждебность, а гневались только за удушливые газы, за что и следовало. (После первых, на нашу беззащитность, газов — сдающихся в плен кололи, раньше никогда.) А кроме — ни у кого не было ни обиды на противника, ни разозлённости, ни ясной цели: для чего надо принимать все эти гибели и раны, или какая опасность так уж нам от немца грозит.

Да Воротынцев и сам не видел за Германией такого корпуса и веса, чтобы завоевать Россию.

Но если солдат не разделил сердцем этой войны и мы не в состоянии вдохнуть в него — то до каких же пор, до каких граней и с какой совестью мы можем продолжать гнать и гнать его на погибель, гнать и гнать в лобовые атаки, то по голым болотам, то по лесистым кручам?

Они — всё терпят, да. Но имею ли я право терпеть за них?

За все солдатские жизни — что мы дали им? Или дадим? Неужели Константинополь заменит нам всех убитых? А больше Константинополя мы и не добудем.

Да никакой тут и не мятеж. Не Воротынцев первый до этого додумался, но ещё Александр III сказал Бисмарку: за все Балканы не дам ни одного русского солдата.

И правильно!

Эта война перешла пределы, перешла размеры войны во всех прежних пониманиях. Это стало народное повальное бедствие — но не от природы, а от нас, от направителей.

И вот какая опасность: что народ не простит нам этой войны, как не простил крепостного рабства. Затаил ведь.

Ещё очень важно: за какую именно землю зовут тебя умирать. За щемящую белорусскую, за певучую малороссийскую, за кроткую среднерусскую — всегда готов, и солдаты бы тоже. Пойди Германия в глубь России — так это была б и другая война, и другое понятие. Но — за Карпаты? но — за румынское грязное невылазье, такое чужое, бессмысленное? Хоронить здесь русских солдат ощущал Воротынцев как ежедневное преступление.

Да вся эта небывалая война ничем не обоснована и для всех стран: она возникла от жира Европы. Но сердце к своему привязано, ноет: **н а м** не нужна эта война. И выход к победе проглядывается из неё не близко, разве что немцам ещё хуже, они в мышеловке. А верней, эта война перешла уже столько граней уничтожения, что и победитель не много будет радоваться перед побеждённым.

Обычное народное выражение — никогда не «победа», не «мир», но — з а м и р е н и е. Народ понимает только эту единственность выхода, где не различается ни победа, ни поражение, ни ничья.

И Воротынцев, два года в земле передовой линии, через смерть и раны перепустив уже не один состав своего полка, в солдатских землянках подошёл и своим сердцем к тому же: для спасения России, для спасения самого нашего корня, племени, семени, чтоб не извелось, не вывелось оно на земле, — нужно замирение, замирение во что бы то ни стало, и никакой Константинополь нам не награда, и даже предпочтительней замирение тотчас перед победой через год или два.

Однажды он заснул в землянке, где о нём не знали, и слышал солдатский разговор:

— Начальство пора менять. И чего царь-батюшка смотрит? — пора их в шею гнать.

И х! — это ясно отделялось в солдатском сознании. И страшно то, что о н и не придуманы были, а существовали — возвышенный, правящий, нажиревший, забывшийся, дремлющий слой. *Они* умудрялись плавать как-то над войной, позабыв, не сознавая свою жгучую ответственность.

Им—послана была военная реформа после японской, они её отбросили. Им послан был Столыпин, человек великого напряженья и дела,— они его отвергли, свергли, дали убить. (А если бы сегодня всё было в твёрдых столыпинских руках — то и не было бы этой войны или не так бы она велась.) Им послано было — не с такой бездарностью, не с такой закислотой вести эту войну, дать же свежему ветру продуть генеральские шеренги! В германской армии задолго до войны держался бесстрашный порядок новогодних синих конвертов: отставка старшего офицера по непригодности. А у нас — непригодных нет! И всё непробудно тупое, нерасчистимое, неубираемое, всё безответственное, самодовольное и живущее лишь для себя, — всё цеплялось за Верховного Главнокомандующего, за его необдуманные милости, его невзвешенную ласку.

Но так, неизбежно, от *них* мысль всегда возносилась к Нему. А он — что чувствует от всех этих наших жертв? Ему — ещё более было послано: вообще не вмешиваться в европейское галдёжное безумие, вообще не окунаться в эту войну, но оставить Россию неподвижной глыбой над разодранным континентом! А он — бултыхнул в войну миллионы захлебнувшихся Иванов.

Если он верит в рисованного мужика, то перед рисованным, полусвятым — тем больше должна быть его ответственность!

И это взятие поста Верховного, зная, что сам ничем не руководит, оставить в Петрограде министерский сумбур и беспомощно курсировать между Ставкой и Царским Селом, или хуже — сновать по войсковым

смотрам? Что может быть досадливей войсковых смотров в боевое время? Воротынцеву стыдно было за царя, как если б сам он придумывал эти смотры, чтоб оторвать воюющих людей от отдыха во второй линии, сгонять вместе по нескольку полков, а то ещё и из окопов вытаскивают чёрных, измученных, наскоро чистят, моют, муштруют последнюю ночь, — и всё для того, чтобы прогнать перед высочайшими очами церемониальным маршем, выслушать рапорты и произвести несколько фотографий, да каждый раз в чьей-нибудь новой полковой форме (и ходи уж в простом защитном!). Объезжая ряды верхом — с лошади какие-то никого не трогающие слова. В его обращениях к армии — ни крылатых выражений, ни государственной мощи, так, полковой праздник. И в газетах всегда: «нескончаемое громовое ура провожало обожаемого монарха». А уже создалось на фронте поверье, что его наезды приносят несчастье.

Этой весной Воротынцев и сам повидал Государя на смотре под Каменец-Подольском. Перед появлением его, правда, нельзя миновать ожидания восторженного: пока он ещё невидим, но его присутствие близко, сердце колотится и сознаёшь величие символа: в одном человеке сосредоточена, вот грядёт вся Россия! Невольно ждёшь необыкновенного! Но когда затем появляется полковник небольшого роста, без боевой резкости, да видимо ещё и стесняется, — восторг сразу опадает, остаётся в груди и в глазах лишь напряжённое любопытство. Бедные солдатики тянутся, вскидывают головы, кричат «ура» — а у царя утомлённое (предыдущими смотрами?), безразличное, невыразительное, даже малодовольное лицо.

Воротынцев впился в него, хотел понять: отдаёт ли этот монарх себя России — так, как должен? Сколько в его жизни парадов! — когда же думать о государстве?

А с каким духом он подписывает каждый новый призыв ополченцев второго разряда? Думает ли, как разоряет деревню? и какие из них солдаты? и через сколько месяцев?

Воротынцев мечтал бы любить своего Государя. Но и внушить себе культ он тоже не мог. Он — страдал, что Государь таков. В роковые годы — и такой бессильный над своей страной, такой не достигающий пределов мысли, и ещё безвольный? и ещё безъязыкий, и ещё бездейственный, — догадывается ли он сам обо всём этом?..

И притом — Верховный Главнокомандующий 12-миллионной армии. И — всё перегорожено. И можно только ждать конца войны или следующего царствования. (А почему этот мальчик, возростя, будет лучше?)

Да чем худшим мог быть наказан царь, чем вереницей нынешних ничтожных министров? Как будто на посмешище выводили одного ничтожней другого. Эту вереницу видели все, и самые ревностные подданные не могли привести слов оправдания. Во всех штабах с большой свободой говорили о негодности правительства и о придворной грязи. И даже — о Самом, с жалостью, с пренебрежением.

А больше всего недовольства было против царицы, её ругали уже совсем нестеснённо, беспощадно. Что царица, «развела мерзкую распутинщину», офицеры бросали настолько открыто, что слышали рядовые. Сам-то Воротынцев ни минуты не верил ни что она живёт с Распутиным, ни что творит государственную измену (уверяли, что это она навела немецкую подводную лодку на корабль Китченера, и что открывала немцам планы наших наступлений), — подозревал здесь общечеловеческое: на загадочные, недоступные личности наговаривают издали невозможное. Теребят и разносят всегда самый грубый, пошлый вариант.

Но даже если была верна одна восьмая из того, что говорили! Распутинство — как направление государственной жизни? Чтобы какой-то кудесник подобрался к кормилу власти и участвовал в назначении министров? Распутинский уровень государственных свершений — оскорблял.

Всё дочиста — ложью быть не могло. Если даже — одна восьмая...

И на фотографиях императрицы — это каменное лицо злой колдуньи, не позванной на свадьбу...

Мало было самой болезни войны — ещё и заболеть болезнью тыла? Мало было горечи от того, что видели каждый день тут, — ещё и сзади наползали облаками газа эти слухи о тыле как о чём-то худшем и горшем. Хотел бы Воротынцев не воспринимать этого удушья, оно не помещалось в груди, — но и отгородиться было невозможно, его наносили все приезжающие, слухами, сплетнями, — да и оно же почти открыто валило с газетных страниц. Печатные газетные авторитетные колонки — ведь это уже не сплетни, а вот они намекали и прямо клякали, что беда не в войне, а в дурном правительстве, даже злобном к своей стране. А ты, во фронтовой закинутости, усумиён: ты два года там не был, в России, и что там воистину делается — успеть ли тебе судить?

Однако сужденья этих самых газет о фронте были настолько все пальцем в лужу, что могли и в другом быть такие же. Газеты — Воротынцев презирал.

Но вот что: среди грязных слухов об императрице передавали и такой: что она ведёт с немцами тайные переговоры к сепаратному миру!

Передавали это крайне осудительно, а Воротынцев чуть не задохнулся: да умница бы была! И — правдоподобно: кому как не ей, русской царице немецкой крови, двоиться и муками исходить от этой войны? И — перспективно: единодушно всем было видно издали, что в царской чете она — ведущая, властная, так все и понимали. Так что́ задумает — она и склонит Государя! Так это обнадёжная линия?

И с новым чувством всматривался Воротынцев в портрет царицы. Не отказать в воле, в решительности — да, пожалуй, и в уме. Она — сосредоточенно знает своё. Да умница бы была!..

И как же чётко стоит проблема, и как же чётко её увидеть им сверху: если нет данных о близости исчерпывающей победы (а ведь нет! почувствовалось бы и здесь!) — то долг государственных людей не подвергать народное терпение новым испытаниям и новым жертвам.

Да — всё бы простил Воротынцев своему Государю за немедленный мир сейчас!

А вот и сам он на месте всё менее усиживал: заварилось, заклубилось: нельзя дать событиям просто течь, как они текут, в изнеможение и в гибель. Нельзя просто терпеть и ждать. Застучал в грудь порыв: действовать! Что пришла пора действовать — сходились знаки. И эта общая безвыходная брань на тыл. И это безнадёжное погружение в румынскую дичь, неудачи и расхлябица двухмесячной румынской кампании, новые могилы в чужой земле.

Но как и в чём действовать? — этого он не выхватывал умом. Ясно только, что действовать — не значило со своим полком через леснстые горы, глубже в Трансильванию.

И так далеко ушёл он мыслями, что и единомышленников не видел себе нигде вблизи: все ворчали на тыл, многие на правительство, но с кем из офицеров мог поделиться офицер, что нестерпима и не нужна сама война?

Нет, если *действовать*—то очевидно где-то в тылу? в столицах? Но — с кем? как? Что́ офицер знает о гражданской жизни? Ничего, мы — неуки.

Но и не может быть, чтоб энергичный человек не нашёл себе союзников, путей действия. Там-то, в тылу, есть же такие люди! Закисать — тоже невозможно! Нерешительность — наша всеобщая беда, сверху донизу.

Как-то раз было письмо и от Свечина, зовущего при случае заехать в Ставку. Позондировать и там?

Так этой осенью Воротынцев утерял ту отрешённую погружённость,в которой воевал два года, — и засверлилось в нём вертящее беспокойство. Так почувствовал, что его ещё не домотанным силам маячит

какое-то и другое применение. Тыл, от которого он отвращался два года, теперь стал ему допустим и нужен. Он созрел ехать туда даже и в не слишком спокойной обстановке тут. Ехать хоть просто на разведку. Кого-то увидеть. Если не начать что-то делать, так хоть узнать. Своё настроение проверить на думающих столичных людях? От многого он, видимо, отстал. Сидя здесь — конечно невозможно ни на что повлиять. В грязной дыре за Кымполунгом Воротынцев ощутил себя сжатой, неразряженной пружиной.

А тут попал в штаб корпуса, и дали ему прочесть — открыто, не то чтобы по тесному знакомству — письмо Гучкова генералу Алексееву, так и написанное, видимо, с расчётом на открытость, но ещё 15 августа, а Воротынцев прочёл вот только в начале октября. Это письмо с его частным как будто вопросом о полумиллионе не взятых в Англии винтовок (вопросом устаревшим, ибо в армии уже был излишек винтовок, теперь свои заводы давали по 100 тысяч в месяц) — было откровенно подстёгнуто общими бьющими словами (узнавалась манера Гучкова): «власть гниёт на корню», «гниющий тыл грозит и доблестному фронту», надвигается «пожар, размеры которого нельзя предвидеть».

И — может быть, правда? Ведь Гучков-то знает больше! Но сколько б он ни знал там, в Петербурге, — не может он знать всей трясины, которая здесь. Всей сути, к чему пришло. Он — должен это узнать! Надо повидаться!

Письмо Гучкова сослужило Воротынцеву как соскакивающая защёлка. И со всем, что в нём копилось, копилось, копилось, не находя решения, теперь он был выброшен вперёд и вверх, как с катапульты. Почти в час, ещё ходя между хатами штаба, Воротынцев понял и решил, что надо ехать, смотреть, искать, понять. Может, именно там он и нужен, на помощь? Ехать — в Петроград, очевидно. Момент подступал единственный, на это намекало письмо Гучкова.

Плечи, лопатки затомились. Какая сила осталась — её надо отдать, да!

В эти же часы, тут же, в корпусном штабе, от двух знакомых офицеров, от каждого врозь, он получил ещё один слух: что в Петрограде зреет заговор государственного переворота! — и о б э т о м в с е з н а ю т!

Это — что ещё? Заговор — для чего? И — как это возможно, если до здешнего штаба дошло без телефона и телеграфа?

Каков же это заговор, если о нём все знают? Или: каков же его несомненный перевес, если его и скрывать не надо?

В тот же вечер он подал рапорт об отпуске. За три дня сдал полк заместнику. И — понёсся, швырнутый по своему жгучему вектору.

~~~~~~

ЗАМИРИЛСЯ БЫ С ТУРКОЙ, ТАК ЦАРЬ НЕ ВЕЛИТ

~~~~~~

13

Но, прожигаемый замыслом, только сердцем несёшься мгновенно вперёд, а телом медленно: австрийская трофейная узкоколейка от Кымполунга, да первые малые поезда, да частые малые пересадки, и в поездах — одни военные, как и привыкли у себя в трансильванских горах, давно не видучи ни гражданского населения, ни живой женщины. В офицерских вагонах — обычные офицерские разговоры, и хотя лица новые и сразу из многих полков, много случаев — а всё на том же быте, и поручик в чёрной гуттаперчевой перчатке, скрывающей изуродованную

кисть, и рослый кавказец-ротмистр с изукрашенными ножнами шашки, и чрезмерно-возбуждённый штабс-капитан с жалобами на своего начальника, «иезуита генерального штаба».

Потом — спал до Винницы. А от Винницы уже много штатских в поезде, и от каждого спутника — свои новые наслоения, предвещающие огромный тыловой мир — ведь он полюдней нашего фронта! И — ни от чего не отмахнёшься, а даже и нужно всё это втягивать, в чём же смысл поездки? И всё это — тискается в тебя, не помещается, не укладывается, гудит.

А ещё ж — газеты, встречные газеты. Теперь покупал на станциях, читал — и от интереса, и уже как бы по обязанности. А в них больше всего споры: какому министерству поручить продовольственное дело. И понять это невозможно.

А в Киеве на вокзале — вдруг такая людность, и неожиданно — столько оживлённой, будто совсем не озабоченной публики. И хотя всё так же Воротынцев внутренне нёсся со своей катапульты, всё так же прожигался единым поиском, — а вдруг почувствовал в себе расслабление, и очень приятное. И заметил, что избегает смотреть на мелькающих офицеров, козыряет, козыряет, а совсем не видит их. И избегает лиц озабоченных, скорбных, и как будто не видит женщин в трауре — а видит нарядных, оживлённых, в разговоре и смехе. Вдруг — захотелось всего того, что напоминает довоенную жизнь. И хотя ничего в этом чувстве не было неестественного, а — от себя не ожидал. И отвычное чувство, и сладкое, и как будто нечестное. Воротынцев словно от получаса к получасу молодел. И летит — не слабей, чем полетел, но характер полёта его меняется.

Задача его была — прямо в Петербург, и он думал нестись туда, не растратив заряда, не сказавсь жене, — а вот вдруг, под этим новым настроением заколебался, не заехать ли к жене сперва. И польготило то, что московский поезд оказался на шесть часов раньше прямого петербургского. Ждать было — томительно, не хотелось, и ещё так себя убедил: ведь Гучков часто бывает в Москве, вдруг и сейчас там?

Сам себя убедил — и обрадовался. И взявши билет на Москву — сейчас же дал телеграмму Алине, радуясь и за неё и за себя.

И — тут же, как в накрыв за ошибку, в вокзальном ресторане оказался за столиком с моряком-севастопольцем, а от него узнал ошеломительное известие, о котором ничего не писали газеты: неделю назад, под утро 7 октября, возник пожар в носовых погребах «Императрицы Марии», потом сильный взрыв и загорелась нефть. Примчался Колчак, на накренившемся корабле сам руководил затопленьем остальных погребов — и удалось, больше взрывов не было. Броненосец перевернулся и потонул — но не пострадал ни рейд, ни город. Красы Черноморского флота не стало! Двести погибших, несколько сот раненых.

И — от чего же?? Неизвестно, виновников не нашли. Но оказалось, что на ремонтные работы — и в самую ночь перед взрывом — на броненосец привозились рабочие без всякой поимённой переписи и без осмотра их свёртков, и на корабле не было за ними надзора — любой мог бродить и из нижнего башенного помещения спустить через вентилятор в погреб любой предмет.

И — так воюют?.. И — так можно воевать?

Лучший корабль флота!..

Какие тут отвлеченья и развлеченья? как можно откладывать дело? Ах, не надо было брать на Москву!..

Воротынцев состоял в каком-то полусне-полуприсутствии. Разила на каждом шагу отвычная штатская тыловая жизнь. А роились и подталкивали мысли о каких-то неизвестных людях, которых он собирался искать. А каждый новый спутник наносил своё, и надо было слушать, даже непременно.

От Киева до Брянска попался спутник, наседливый в разговоре, — и как о простом известном пространно рассуждал, что правительство не-

стерпимо, что Россией управляет гигантская фигура распутного мужика, что страну спасает только Союз Земств и Городов. Оказался сосед уполномоченный по закупке хлеба и фуража для армии и толковал о твёрдых ценах, франко-амбар, франко-станция, о мельницах, сортах помола, доставке в города и в армию.

Во фронтовом охвате зрения и тыловом — разные предметы, несходная градация важного и неважного. Фронтовик обыденно соприкоснён с самым вечным, и только усмешку вызывает в нём то, что кажется тыловику первейше важным.

Но поезд шёл, углубляясь именно в тыл, часы текли — и Воротынцев через рассеянность и немоготу старался вслушиваться, научался вникать.

А спутник и кроме хлеба знал. Он рассказывал и о другом таком, о чём и догадаться можно бы было — а вот из окопа не вдумаешься.

Закон о «ликвидации немецкого засилия». К чему он, что от этого выиграет Россия? Сгоняют с земли немецких помещиков и колонистов, 600 тысяч десятин останутся незасеянными, расстроятся культурные хозяйства, а они ещё и сами изготовляли веялки, сеялки.

Беженство. Зачем его вообще придумали? — немцев пугать? Страгивать с места миллионы людей, забивать железные дороги, тыловые города, по всей России разливаются неприкаянно. Ну хорошо, уже давно видно, что война — не на месяц, и сажали б их на землю, ведь пустующая есть в разных фондах, да и отобранная от немцев. Давали бы ссуду на устройство, пусть пашут, — так нет. И эти миллионы людей не работают. А со стороны вербуют, везут китайцев, ещё больше толкучка.

Нет, никакой стороной головы не был готов Воротынцев освоить эти проблемы! Где ему всё сообразить в короткие дни отпуска! Только успевал он надивиться, до чего ж необъятно государственное дело, до чего нельзя решать его с наскоку, и где та голова, которая всё охватила бы?

Как он Гучкова знал — Гучков тоже не охватит.

Но надо найти людей, которые всё это уже поняли.

По пути, уже с первых штатских станций, мелькали и оскорбляли мундиры *земгусаров*—чиновников Союза земств и городов, ни в какой армии не состоящих, ни на какие передовые позиции никогда не попадущих, — а между тем в щегольской почти офицерской форме, со вшитыми погонами, только узкими, как у военных врачей и чиновников.

И они-то громче всего в вагонах рассуждали. И увереннєй всего представляли дело с российским правительством и с ходом российских дел окончательно погубленным. И с таким знанием они это всё заявляли — не только не поспоришь, а тревога охватывала: что слишком поздно Воротынцев схватился, что нечего и ехать, всё уже пропало. В тылу оказывалось гораздо хуже, чем на фронте?

И от них же услышал осудительно, что ведутся тайные переговоры о сепаратном мире. (И сердце забилось: не понимали, чего касались! Неужели ведутся??)

И среди них же попался, в такой же форме, сел от Брянска, со светлыми усами, слегка за тридцать, симпатичный, спокойный. Узнав, что полковник из Румынии, живо расспрашивал, он там бывал до войны по делам фирмы. Сам оказался урождённый швейцарец, инженер Жербер, привезен в Россию малым ребёнком, отец тоже инженер, вырос обрусевшим, много ездил по России. Когда другой земгусар надменно заявил: «За снаряды благодарите Земгор и военно-промышленный комитет, это они поставляют бóльшую часть», — Жербер невздорчиво ему возразил: «Не так, не так. Бóльшая часть поступает с казённых заводов.» — «Откуда вам так известно?» — вспылил тот. — «А я заведую в Москве центральным гаражом Земгора, и знаю, чтó возят грузовики.»

Выходили с Жербером покурить в коридор, и там он досказал, что

постеснялся тому в лицо: недавно был такой случай: вечером привезли на станцию партию снарядов с казённого завода, а утром перед погрузкой на ящиках оказались трафареты Земгора. Ловко работают, а на фронте и верят.

Разговорились с ним дольше, он выразил, что сейчас вся интеллигенция охвачена как бы поветрием, заразительной болезнью: ругать правительство, теряя чувство ответственности перед государством и народом. Чтобы подорвать правительство — готовы на всё.

— Отчего же не коснулось поветрие вас?

— Наверно потому, — улыбнулся Жербер, — что я не русский и могу беспредвзято смотреть со стороны. Какое бы ни плохое правительство, но менять его во время войны была бы анархия.

Ещё и Жербер догрузил впечатления, уже не вмещалось. Заснул Воротынцев за Сухиничами, спал плохо. И заботы разбирали, и непонятности, и тревожная радость перед Москвой.

Во фронтовом огрубленьи не думал, что такое сильное будет ощущение — выйти ногами в своей Москве и с холмика глянуть на тот берег реки, на столпленье домов, там и здесь прозначенных голубыми и золотыми куполами.

Чтобы без денщика — Воротынцев ехал почти и без багажа. Сразу же, под стеклянным колпаком Брянского вокзала, пошёл к телефонной будке, крутил ручку и назначал квартиру брата Гучкова, Николая Ивановича. И узнал: нет, Александр Иваныч сейчас в Петрограде и в близких днях в Москву не ждётся.

И тем более стало ясно, что надо было из Киева ехать прямо в Петроград. Ах, зря в Москву поехал, не хватило терпенья дождаться. И — эх, не давал бы телеграмму Алине, сейчас бы прямо с вокзала на вокзал, чтоб не рассеяться, не разменяться. Сколько раз в жизни обжигался Георгий на этой манере — раньше времени с размаху пообещать.

И совестно стало перед женой.

Всю жизнь таким он и был: почему-то семейное всегда отступает перед настоящим делом, никогда ему нет места.

Он дал телеграмму, потому что любил радовать Алину, и представлял её радость и разные мелкие приготовки, дорогие для неё, — так ей интересней, чем свалился бы неожиданно.

Но хотя с Брянского было уже ближе домой — Воротынцев, любя начинать с главного, поехал на Николаевский вокзал.

Шёл туда прямой 4-й трамвай, от Дорогомиловской заставы до Сокольников, но, выйдя на площадь, небывалое увидел Воротынцев: с задней площадки на ступеньках, на поручнях люди висели гроздьями, срывались, бежали вдогонку, скакали на чужие ноги, хватались за чужие руки.

Впрочем, извозчиков было много свободных у вокзала, только брали где раньше полтинник — теперь три рубля, и так себе, ванька, и ничего не поделаешь. И вот уж они ехали через новый Бородинский мост, а справа, от Воробьёвых гор, по небу, и без того хмурому, ещё тянуло большую чёрную тучу.

— Кабы не снеговая! — показал извозчик кнутом. — У нас уж тут срывался. И морозец подхватывал.

Да, тут холодный стоял октябрь, а в Румынии — только слякоть. На голову догадался Воротынцев надеть сюда папаху, а вот под шинель не поддел куртки меховой — всегда ему бывало жарко, больше всего боялся запариться.

А ехали-то — по Москве! Сказка! Внутренне ещё продолжал перебирать о Гучкове, а внешне — прочнулся к окружающему и смотрел простыми радостными глазами: Москва родимая!

Как будто первый раз оценивал — как же она неповторяемо вылеплена, здание за зданием, бульвар за бульваром, — да посторонний наблюдатель и не усмотрит в городе того, что знает давний его жилец. Видит особняки — а целые усадебные сады в глубине? А переулком в

сторону чуть — и трактир как в зачуханном уезде, торговая баня, позапрошлого века жизнь, и самовары распивают на травяных дворах. Да не только всё знаешь, но через чувство, через воспоминание протекает каждый угол, каждое дерево, каждая плита тротуарная, — сколько тут невидимого задержалось! а идут, топчут, не замечают.

Так расходилось внутри — будто для этого и ехал — смотреть да смотреть Москву. Вот так, из мира другого, из совсем небытия вернуться в родное место — ну, что разберёт больше! И даже не последнее вспоминается, не месяцы тут перед войной, а — давнее, давнее, детское...

Уже мог никогда не вернуться и на это посмотренье — от одного кусочка свинца, железа в два золотника.

Людей, людей, не тот стал город: толчея, сплошной поток, где его не бывало, и трамваи отчаянно звонят-стучат переходящим. И сами все набиты. Вот как, война идёт, а тут перенаселение. И много, видно на глаз, не московского люда, одеты лучше нашего обычного — привисленские? прибалтийские? Слышится с тротуара и речь нерусская частенько. Да ведь и по телефону ему барышня со станции ответила: «занэ́нто», он переспросил, лишь потом понял: «занято». Значит, на телефонной станции польки работают. Вспомнил, что ему в вагоне толковали про беженцев.

Много озабоченных лиц. А много — и без отпечатка, что война идёт.

Но что это? Там и здесь, загораживая проход по тротуару, скопились и стоят странно выстроенные в затылок друг другу люди разных возрастов, больше женщины, как слепые бы держались чередой или как становятся нижние чины с котелками, когда приезжает кухня, но там и наливают быстро. А в городе дико выглядит: стоят люди в затылок.

Объясняет извозчик: хвосты.

Это и Алине так достаётся?

И, чего никогда не бывало: женщины — трамвайные стрелочницы. Вагоновожатые, кондукторы. И вместо дворников. И промелькнула девушка в красной шапке посыльного.

Но это и доказывает, что прав Воротынцев: что нельзя дальше воевать.

И извозчик жалуется, что отощал конёк, овсу не докупишься.

Ещё: на очень многих домах висят полотнища с красными крестами, будто четверть Москвы только и лечит раненых. Столько лазаретов? Объяснил извозчик: разрешено вывешивать каждому, кто взял хоть в одну квартиру, хоть пятерых раненых. И берут? Очень берут.

С одной стороны — широкодушие, а с другой — беспорядок, как же можно так рассыпать раненых?

И самих раненых, с повязками, много, много на улицах. И — по виду легко раненых или хорошо выздоравливающих. И увечных, костыльных — немало.

И что им теперь победа? Даже и Константинополь?

Оттуда они только уходили. А здесь—все собирались, вот. И ещё тяжче нависали на совесть. Можно ли так и дальше?..

Обгоняя ломовых и извозчиков, воняя дымом, проходили иногда грузовые автомобили. А то — бронированные военные. А то — шикарные легковые, открытые и закрытые.

Ох, велика Россия. И кто же мог бы взяться всю эту массу, всю жизнь этой массы — исправить? направить? спасти? Разве способна на это какая-то кучка? — штатских? или военных?

Своя Москва — но и чужая. Что-то непоправимое произошло. Происходило.

И на Николаевском вокзале обнаружились перебои в расписании, так что правильно Воротынцев начал с билета. Иные пассажирские поезда были отменены — для разгрузки линии, в пользу лишних товарных. А недавно, оказывается, между Москвой и Петроградом и вовсе отменяли на неделю пассажирское движение. И даже не оказалось на завтра 1-го класса, пришлось брать международный.

Извозчик ждал, и теперь поехали домой на Остоженку.

Так напряжённо старался Воротынцев решать как лучше — а вот не ошибся ли опять? Уж если всё равно заехал в Москву — как же можно дома переночевать только одну ночь? И Алине будет страх как обидно, и самому обидно, и даже боязно, как ей сказать? Да не придумать ли себе командировку? Вот что: не отпуск, а командировка. В Петроград. Срочная.

Но так или иначе — с поездкой определилось, билет в кармане, точное время известно, — могли бы заботы и расступиться, можно бы просто смотреть на город.

Теперь — так близко оказалась Алина, и Георгий вот когда взволновался от приближения к ней. Подумать только — вот, через двадцать минут — своя жена, преданная, любимая, такая прелесть, — и почему она оказывается всё в конце ряда? Ничто в жизни не помещается.

С Мясницкой выехали на Лубянскую площадь, где по кругу, с железным подвизгиванием, раскручивались трамваи разных номеров, как и прежде неся на боках крыш крупные рекламы.

А там — Никольская, всегда деловая, густая, «Славянский базар», — такое всё и оставалось, тут война не отметилась заметно.

А дальше — самый просторный, пустой и быстрый путь для извозчика, когда он торопится, — через Кремль.

Под Спасскими воротами истинный москвич всегда обнажает голову. И Воротынцев не постеснялся, приподнял папаху — с почтением и гордостью.

Через Царскую площадь, через Императорскую площадь — эти лучшие дворы их детских игр. И лучший путь для седока, кто хочет эту свою здесь юность с лаской вспомнить.

Как доходчивы до нас воспоминания детства! Как они касаются сердца — особенней, чем всякие другие. И от их прикосновения вдруг хочется особенно жить — снова, ещё и подольше, и опять перебывать везде.

А ведь вот полоса была на фронте — совсем был решён на смерть, и даже без сожаления.

Да, и Георгий играл тут, как все, но уже с детства не были ему кремлёвские площади — просто удобные пустые дворы, уже с детства было напряжено его внимание к русской истории и предчувственно связывал он с ней свою будущую жизнь. Не побочно было ему, что святой Георгий, второй стратег небесного воинства, — покровитель Москвы. И бросаясь тут мячом, никогда Егорка не забывал, что эта каменная твердыня не для игр тут стала, посреди деревянной Москвы, что с этих зубцов отбивали живых татар, и сюда вероломством входили поляки. Что Кремль перестоял невообразимое — и каменно-вечным противопетровским упрёком так и застыл.

И сейчас над этими пустынными плитами, где и с поросшей травой, перед тесокаменными стенами соборов, теремками, куполочками, крылечком Благовещенского — даже останавливалось сердце, так дышала история своей утверждённой плотью. И не было бы здесь извозчика и редких прохожих-проезжих — сейчас бы остановился под тёмной тучей, снял бы шапку, перекрестился бы на соборы, стал на колени и даже лбом до плиты, всей грудью принять эти камни и повторить свою верность им. Их тут древнюю тайную связь как ничто не отодвинуло, а войной даже сблизило.

Но было бы театрально со стороны. Да сколько церквей сегодня миновали и вот мимо этих соборов — Георгий не перекрестился ни разу, неудобно. Ушла эта привычка, воспитанная няней, стало неловко, несовременно, формально, и что простодушно могла проходящая старуха, то как будто не к лицу штаб-офицеру. «За веру!» — это даже стояло в начале армейского лозунга, армия считалась христианской, на том

зиждилась, и не только никто не запрещал офицерам, но полагалось им верить, и первыми быть, и креститься на армейских богослужениях, — а вот какой-то улыбкой это всё тронуло, насмешливым воздухом образованности — и перешло в область стыдного. И хотя именно офицерскими приказами устраивались и полковые службы и пелись солдатские молитвы — но во всякую тяжёлую боевую минуту солдаты крестились естественно, а офицеры — или вовсе нет, или украдкой.

Из Боровицких ворот юркнули на набережную, пересекли поперёк толчею Большого Каменного моста, уже видя в пасмури перед собой терпеливое золото Храма Христа, а дальше — в огиб его террас, потом сокращали Зачатьевскими переулками — и на Остоженку выехали прямо против знаменитого часовщика Петрова — на месте, да! — спокойно работающего за большим витринным стеклом, как будто и невдомёк ему, отчего прохожие вздрагивают и останавливаются глазеть: на его невероятное (да наверно и подогнанное) сходство со Львом Толстым — будто из гроба воротился и дорабатывал ещё одно рукомесло неуёмный старик!

Стало весело. Петров на месте — так и вся Остоженка на месте. Всё та же белосиняя вывеска молочной Чичкина (да как в ней теперь с молоком?). И тот же большой крендель нависает над булочной Чуева (да с кренделями как? — но хвоста нет). А вот и наша крохотная церковка Успенская (всякий раз припомнишь: самсоновский день) — с настенным образом, крестятся пожилые прохожие. (А ты — и тут нет.) Тпр-р-ру! — подкатил к парадному не без лихости.

Хотя юность Воротынцева не на Остоженке прошла, здесь только месяцы перед войной, — а всё равно: дома! Прямо и забилось сердце, что сейчас увидит Алину. Утреннее чувство досады — зачем заехал в Москву? — совсем отлегло, а напротив разбирала виноватость: ведь только переполошил её и обманул. Но сейчас и он был к ней теплей и горячей, чем в несчастную буковинскую встречу: вот за эти дни поездки уже очнулась душа.

И сейчас он спешил к ней с нежностью, с лаской — но и сокрушённо: опять расстроит. Как и всегда раньше — не мог он дать ей полного счастья, не помещалось. И всегда сознавал свою вину: что она с ним видела, видит, или что хорошего может её ждать? Георгию б, наверно, такую жену, чтоб не скучала и в походной палатке.

Лестница без лифта (о, телефон повесили!), но легка молодым ногам. Трудней глазам — насколько же всё по-старому! (Но — уже́ стала лестница? темней?) Целая война прокатилась, дивизии гибли, спускались на венгерскую равнину, потом пятились, коченели и ногти срывали в Карпатах, кувыркались назад, отдавали Галицию, брали Буковину, сдвигались в Трансильванию, — а тут всё то же начищенное опадающее ушко: «прошу повернуть».

Жив!! Вернулся!

Ах ты, моя ласковая! Ах ты, моя нежная! Нет, поднять тебя всю, да покружить! Да ты помолодела, вот новость! И куда радостней, чем приезжала в прошлом году. Гордый взброс головы на тонкой шейке. Подобрана, как девочка. Хороша! Хорошо. Изменилось лицо. А струится в душу природнённое, привычное. Та особенная родность, какая с годами. Ну, вот и дома... Хорошо... Не для этого ехал, а переступил, пахнуло — хорошо! Ч-чудесно ты всё содержишь, золотые ручки!

Посмотрел на её милые, родные серые глаза. Не думал жаловаться, пожаловался, — простонал.

Как он безмерно огружен — даже только вот сейчас почувствовал, опускаясь гирей на диван.

Пытался и объяснить ей — не вышло. Да разве это так сразу расскажешь? Да разве — ей?

А готовишь замечательно. Ну просто объедение. После жизни перебродной — да так поесть.

По дозволенным дням мясо не трудно достать. Но слух, что будут на мясо карточки. И деньги бесценеют. И квартиры дорожают, сейчас в Москве два миллиона жителей, от беженцев.

Да что-то вижу, у вас потрудней, чем на фронте.

Но всё время мучнило, что надо было *сказать*. Что завтра — уже в Петроград. Духу не было сказать, омрачить её доверчивые глазки. И откладывать нельзя особенно. За своё же главное дело — как виноватый.

Начал осторожно, что не отпуск, а командировка. Постепенно сознался.

Бурно приняла. И тем смутительней пришлись её упрёки, что она — права. Проскок дома ей и должен показаться дикостью. А недосягаемо — пытаться бы объяснить ей двигательный мотив. Не разделить ей эту тяжесть, и зачем бы?.. И упрекала так горько: любит! ждёт! тоскует! — а он? А что он устроил ей в Буковине? разве это был отпуск? (И правда, неладно прожили тогда, на ровном месте скоблило, и даже облегчение было, когда она уехала.) И что ж, за два года не потянуло его так сильно, чтобы приехать к жене? (Конечно, можно было...) Ты — окостенел! ты — омертвел! В тебе порок чувств! (Да, это правда. Наверно возраст...)

Но ведь на обратном пути вернётся. Скоро вернётся! День рождения, конечно! Только тем и смягчил.

Слушал её рассказы о новой концертной жизни — и радовался. Да замечательно, что ты это открыла. Ну, с твоими исключительными способностями!.. Да ты всё сумеешь!.. Не надо мне о твоём поклоннике, можешь не рассказывать.

Георгий действительно любил её игру, журчистые эти пальчики. И — чем же ей сейчас заниматься, детей нет, только таланты развивать. Даже не помнил её такой оживлённой. Хорошо, что до войны довёз её в Москву. Большего он и не мог для неё сделать. Даже старости хорошо обеспеченной не даёт офицерство. После реального пойдя бы в инженерство — он зарабатывал бы куда больше.

Может быть задолго раньше он должен был воспитать из неё такую подругу, чтобы вот сейчас открыть свои намерения. Но — нужно ли это, возможно ли вообще с женщиной? И зачем? И — слишком много усилий потратить. После его скандала в Ставке она не пилила его, как делают другие жёны, — но осудила внутренне.

Сейчас он честно старался не зевнуть на её рассказы, только отвратился, когда стала — о концертных поездках на передовые.

Дома было уютно, покойно, и хороший, тихий обещал быть домашний вечер. Больше всего и хочется покоя. После гукающих, вздрагивающих, взлетающих и мокрых позиций — посидеть бы вдиво за своим письменным столом, среди домашних верных стен, перебрать ящики — что там где покинул? Полистать старые книги, даже просто подержаться — вот соловьёвские тома, вечный долг перед древней русской историей, так никогда и не успевал разобраться во всех князьях, — и когда успеешь?

Нет! Алине вздумалось в гости! Что за нескладица — добраться домой на единственный вечер — и тащиться в гости?? Показываться, знакомиться, через силу что-то выговаривать? Да Алиночка, да я отвык от всякого общества, от гостиных манер, мне даже трудно будет от грубых выражений сдерживаться, пощади!

Алина сама не знает, что как добрый дух домашнего мира она привлекательней всего именно дома. Но сегодня — безжалостно было бы ей отказать и в гостевой повинности, раз ей так хочется. Да уж лучше в компанию живых людей, чем парадно расхаживать по концертному фойе, как она сперва хотела. Да надо ж и набираться впечатлений. Всё, всё окружающее хотело втесниться в его грудь, и всё — в малые дни.

Только вечером, когда одевались, — заметила Алина, что у него эфес необычный, георгиевское оружие. Очень радовалась, но и обиде-

лась: что ж сразу не сказал? И почему в письмах не писал? — какой же ты ненормальный человек!

А была-то сегодня — суббота, и когда они на извозчике поехали к Муме в Замоскворечье — как раз ударили ко всенощной. Тоже это было по отвычке дивно. Первый, близкий, загудел им в спину Храм Христа. И почти сразу все — ближние, дальние, справа, слева, впереди, позади, — все несравненные, несравнимые, неповторимые московские сорок сороков! В холодном воздухе как будто не греющий же звон, а — звончатым теплом, всем теплом детства согрело уже тёмный московский воздух, и в грудь вошло. Так живо: как няня водила его именно к вечерням, без поощрения родителей, — и поднимала к подсвечнику, чтобы свечку он оплавил и поставил своей рукой.

Тягучие, могучие, гулкие, задумчивые — все звоны сливались, и будто гудело само московское вечернее небо, — а нет! в этом золотом звоне лишь для неопытного уха всё было слито, а кто вслушивался и знал — различал: голоса Кремля, гулы Китай-города, отзывы Хамовников, дальние вести Тверских и Садовых, и — за́ливы, заливы Замоскворечья, массива купеческой русской провинции, куда сейчас и въезжали они. А кто знал совсем хорошо, уже не как Воротынцев, тот в размытом, разлитом гуле различал не только близь, даль и направления, но выслушивал отдельные голоса любимых церквей и даже колокола отдельные.

И уже в дом входили — а звон ещё не весь умолк.

Сбор гостей показался странен: две пожилых четы среднего слоя, один художественный свистун — молодой человек женоватого вида, несколько отдельных дам и ещё две девицы. Сама Мума (Марья Андреевна) жила одиноко и бездетно, а была женщина красивая в русском вкусе, даже именно замоскворецком — избыточной русской пышностью, лицо белое, а волосы — вороньего крыла, одета же в лиловое. Она была не просто любительница, но училась петь, пела грудно, Георгию очень понравилось, аплодировал ей. Затем — и ручьистой, накатистой алининой игре, затем и свисту — удивительные выделывал арии, бывает же такое.

Георгий как утеривал компас и переставал удивляться, куда это его заворачивает. Уже не удивлялся и этому обществу и не удивился, когда после концерта разговор потёк о Распутине. Распутин тут занимал их умы куда сильней, чем на фронте, — там была лишь недоумённость да матюгались, а здесь пересмаковывали много подробностей — истинных ли, придуманных.

Ни на какой ответственный пост уже никто не может быть назначен, пока не поедет представиться Гришке. И будто такса у него: за дворянство — 25 тысяч, за крест — 3 тысячи. (Неужели так? Слушать страшно.) В его квартире на Гороховой установился такой обильный приём посетителей, что уже всем прохожим заметно, теперь ему готовят особняк на окраине. Охраняют же его крепче, чем самого царя.

— А вся эта история со взятками, поставками? Арест Рубинштейна?

— Ну, не забывайте, что дело Рубинштейна раздувают, чтобы придать ему антисемитский привкус.

— А за что слетел Поливанов? Был бы и сейчас военным министром, если б не дерзнул отобрать у Гришки четыре военных автомобиля.

Ну, так уж за это, много вы понимаете. Может, и вся цена вашим сведениям такая. Но — лень возражать.

Потолок — до того высокий, непомерно выше, чем надо человеку, чем в землянках. Совершенно не сыро, а сухо, тепло. Кресла до того мягкие — утопляешься. На столе — нежная ветчина, балык, буженина, но ворчат: «довели до разрухи, в России хлеба нет, житница Европы», — в одиннадцать часов уже кончаются булки, остаётся ситный и чёрный.

— ...Целует всех женщин даже при мужьях...

— ...Его теория: надо грешить, иначе не в чем будет раскаиваться.

Надо грешить внизу, чтобы наверху было светло. Посылает даму в церковь причаститься, а чтобы вечером к нему...

— ...А если женщина ему откажет — идёт с ней вместе молиться...

Беседа проскакивала как бы четыре угла: Распутин — Штюрмер — Протопопов — голод в России — и опять Распутин.

— ...Говорят, у него особенные глаза: загораются красным. Магнетизм.

— ...По поводу магнетизма такой рассказывают случай недавний. Одна женщина протелефонировала Распутину, была принята утром. Повёл её в спальню: «раздевайся». И обнимает. Она вырывается. «Не хочешь? А зачем же пришла? Ладно, приходи сегодня в 10 часов вечера.» Дама обедает в ресторане с мужем и знакомым доктором. Вдруг к десяти вечера — сильное беспокойство: «Я должна ехать.» Еле-еле доктор разгипнотизировал и удержал.

Но хотя истории эти рассказывались возмущённо — и в рассказах и в слушании угадывалась несоразмерность негодования, не столько осуждения, сколько любопытства и даже сострастия? Такое впечатление, что узнав очередную новость о Распутине, каждая дама спешит затем ехать по городу и распространять. И девицы слушали так же, ушки на макушке.

— ...Он любит абрикосовое варенье, причём берёт его из вазы пальцами. А потом даёт облизывать пальцы какой-нибудь даме, какая заслужит, остальные смотрят с завистью.

— ...Он так подчиняет, что женщины даже гордятся своим позором, не скрывают.

— ...Говорили: ему дозволяют купать великих княжён.

— ...И Протопопов и Штюрмер — просто в услужении у Распутина, ездят к нему с докладами.

И опять по четырёхугольнику: Протопопов — клинический сумасшедший. Штюрмер — немецкий шпион. В России — голод. А Гришка —...

Должен был бы Воротынцев рассердиться на себя и на жену — зачем он в этой дурацкой компании, зачем теряет вечер? Но неизвестно почему — облегчалось и рассвобождалось его внутреннее напряжённое летящее сознание, и он не начинал ли терять скорость? Уже не жгло, что так мало времени, его достаточно будет впереди, — а сейчас он самою кожей воспринимал этот нереально-реальный московский быт. До невероятия белая скатерть. Хрустальные грани. Сервиз один, сервиз другой, где довольно бы и мисок жестяных. Тело расслабляется, и если вот сейчас бы тревога — не сразу и вскочишь.

— ...Знаете, это mot из думских кругов? — мы ещё готовы понять власть с хлыстом, но не такую, которая *сама под хлыстом?*

И поглядывали на Воротынцева — как он? О верховной власти до сих пор не распускались — чтобы его не оскорбить? щадили офицерский монархизм?

Но его сейчас это не задевало. Осуждающе он заметил за собой, что терял напряжение своего броска. Ему сидеть сейчас тут было — хорошо, и приятно смотреть на женщин. Вечерние платья, все разных цветов и фасонов, и обладательницы их — разные, Мума по-своему, Сусанна по-своему.

А дамы, оказывается, больше всего и хотели — его рассказов. Они сошлись — не музыку слушать, всегда доступную им, а — на него. И глазами ждали, и прямо спрашивали вслух.

Не-ет, этого он не мог. Сидеть тут — неплохо, но рассказывать им о войне? — никуда. Да насколько это им нужно? Да ещё каждый ли день они проскальзывают газетные депеши?

Сказали: на днях в Петрограде арестован Гучков за своё знаменитое письмо к Алексееву.

— Нет-нет! — продремался тут Воротынцев к своему. — Неверно. Я сегодня утром разговаривал с его братом.

Ах, что делают слухи! Стали вспоминать: был слух, что Гучков умирал от отравления. И отравлен Николай Николаич. А царь разводится с царицей из-за Распутина.

Тогда понесло их восхвалять брусиловское наступление, так, как это нашумлено в газетах, — хотели ли сделать ему приятное? Пришлось их обломать:

— Брусиловское? Не много оно дало. Сняли давление с итальянцев, с Вердена, вот и всё. А сами не взяли ни Львова, ни Ковно, ни даже Владимира Волынского А имел Брусилов превосходство сил.

Да-а-а? — поражались. А правда ли, что немцы огненными струями сожгли наших десять тысяч?

Дикари, хоть и москвичи. Это в тыловой передаче так преобразился слух о появлении огнемётов.

А воинственны! Все хотели войны и победы.

И ждали, ждали его рассказов.

Но ощутил Воротынцев ревнивую скупость на свою фронтовую правду. Им, здесь — как это рассказывать? как рассказать?.. Ямы да ямы... Свежие — с чёрным земляным набрызгом. А старые, если зимой, сразу и заметает снегом. Какие успели закопать — воткнули крест из жёрдочек. Из незакопанной торчит не то кочерга, не то бывшая рука... На чужой проволоке месяцами висит содравшаяся с кого-то нашего серая тряпка, ветер её пошевеливает...

В их четырёхугольник это не вписывается.

Может, и собрался бы всё рассказать — да не здесь.

Ещё сам не очнулся для рассказа. Тут, среди них, он был как легко контуженный — не всё видя, не всё дослышивая, не всё соображая.

Так и с Сусанной Иосифовной: поговорил сколько-то, будто связно, осмысленно, а не взялся бы припомнить: о чём и в каком порядке. Ото всего разговора не осталось столько, как от её манеры садиться и вставать без помощи рук или от единственной нитки бело-розового жемчуга на шёлковом чёрном платьи, и больше ни цвета, ни украшения. Да ещё неназываемое струение из её глаз или со всего лица, устремлённого в собеседника, или даже с плеч, помогающих лицу. О чём-то политическом говорили они, но — как она веки суживала и расширяла, передавая глубину понимания и сочувствия, и сколько воздуха ещё сохранялось в её кофейно-гущевых шершавых волосах, убранных вкруговую ровно, а, напротив, как золотисты были волосики выше кисти по чуть веснушчатой коже, — почему-то прочно вынеслось из разговора.

14

— Ну посмотрим, посмотрим, с кем ты едешь? — оживлённо говорила Алина, проходя впереди мужа в вагон и оберегая широкополую шляпу от узости дверей.

Воротынцев с малым чемоданом шёл красным ковром позади, опустив голову. Сегодня всё утро он ощущал себя перед Алиной виноватым.

А остановясь против нужной двери и здороваясь там громче-приветливее, чем это удобно для мягкого малолюдного вагона, обернула к мужу передний отгиб шляпы:

— Ты будешь разочарован! Совсем и не дама.

Спутник, поднявшийся поклониться, оказался ниже среднего роста, скромный, совсем не по требованиям «международного» вагона — и костюм простенький, и галстук наброшен не так.

Алина села, хваля вагон, удобства, всё весело — и вдруг в полуфразе между двумя взглядами по купе сломалось её настроение — вот это была она, бедняжка! — сразу, не дав дозвучать оживлённому тону. И Георгий, только что стеснённый громкостью жены, вот и жалел её в естественной обиженности: почему, правда, ей не ехать с мужем после

столькой разлуки? Она же не знает смысла поездки... Зримый вид поездного уюта, конечно, был ей ощутительно обиднее — вот как интересно бы вместе! — чем домашние заранешние огорчения, зачем он поедет один.

Алина сникла на тонкой высокой шее, больше не шутила с соседом. Вдруг поднялась, не попрощалась — пошла!

И Воротынцев — за ней, опустив голову. Боже, как стало её остро жалко — и за что, правда, ей такая жизнь? Разве такого мужа ей нужно было? Разве мог он ей расцветить существование?

На перроне Алина не жаловалась, а настаивала, чтоб он вынес чемодан, а поедут вместе. Нельзя ждать концерта два дня? Хорошо, поедут завтра. Но — вместе. А иначе — просто бессердечно.

И — отшатнулся Георгий от забиравшей его жалости. Этой другой крайности тоже быть не могло, он и так уже больше суток потерял в Москве. Вместе с женой — а там что с ней делать? Вот так и доуступаешься.

На его катапультном глухом лету — выкинулась из сердца вмиг эта наклонность смягчать и льготить.

Но ещё не так мало осталось минут. Остерегался он этих минут. Неизбежно было туда-сюда погуливать вдоль вагона, обшитого коричневым деревом, и поглядывать на большие часы под темноватым колпаком вокзала, где поезд уместился почти весь.

На ходу придерживал рукоять шашки с георгиевским темляком.

Закурил. Но одним куреньем всех минут не протянешь тоже.

— Алиночка... я же тебе объяснял: не отпуск. Дела.

Ей, конечно, должно казаться бессердечно. А если в поездке закрутится какое большое дело — ей и вовсе места не станет.

Бедная пташка. Привлёк её за плечи.

Да ведь она в душе ребячлива, и как ребёнок способна к образумлению спокойными доводами. Я ведь вернусь, ещё до дня рождения. Гораздо раньше??! Раньше. И можно гостей собрать? Собери. И будешь всё рассказывать? Буду.

Вот и повеселела.

А когда времени так в обрез — тем более разумно пообещать, поладить, — и уезжать свободно. В чём можно — лучше всегда уступить, легче будет.

К счастью, поезд не задержался против расписания и не дал Алине ещё раз переломиться. Вовремя прогудели три наливистых удара станционного колокола, прорезался свисток старшего кондуктора, отдался ответный гудок паровоза — и из последних объятий выпустив жену, кажется примирившуюся, уже на ходу поезда через плечо кондуктора посылая ей воздушный поцелуй, дослышал Георгий её пожелания — что-то о перчатках и каждый бы день ей писал.

А соседа никто не провожал, никто ему за окном не махал. Он записывал в записную книжку. Закрыл её и улыбнулся Воротынцеву дежурной соседской улыбкой.

Лицо его было не слишком интеллигентное, даже весьма простецкое и скуластое. Коротко стриженные густые-прегустые чёрные волосы — вразброд, так и не нашли себе достойной укладки. Но свою не вполне отёсанную натуральность он старался держать в благообразии, правил не нарушать.

Воротынцев отстегнул шашку, повесил. Разделся.

Потом хоть всю дорогу молчи, в себя уйди, но тут что-то сказать надо. Разговор обыкновенный, пассажирский. Когда должны точно приехать? Да точно теперь не скажешь, расписание расплывается. Теперь и на час опоздают, не удивят. Всё валят на войну. Да и правда, на железных дорогах пятивластие. Как так? Считайте: министерство путей сообщения, интендантство, санитарно-эвакуационная часть, Земгор, а области прифронтовые — как обрезаны поперёк рельсов: вагоны, скла-

ды, грузы, что заглотнули — назад не спрашивай, там — другая держава, управление военных сообщений при Верховном.

Первые минуты движения, вся дорога впереди, всё — твоё, но ещё не знаешь, что с собой лучше делать: лежать? сидеть? читать? обдумывать, в окно смотреть?

А в окне ещё скучное дымное пристанционное.

А сосед — без затруднения, в том же роде. В Уральске миллион пудов рыбы, а отправить не на чем... На сибирской станции по оттепели стали замороженные туши гнить — а жителям продавать нельзя было, они же интендантские. Так и сгнили... На станции Кузёмовка с прошлого года куча зерна травой проросла, так и не берут... Ростов от Баку далеко ли? — а без керосина... Ни склады, ни станции к большим перевозкам не приспособлены... Паровозы изношены многие...

— Вы сами — по железнодорожной части?

— Да нет, — улыбнулся спутник. В улыбке он был прелесть и такой открытый, не в лад со своими тревожными словами. — Но наблюдать приходится. Много езжу, слежу. Охоту к этому имею.

А висели пальто, шляпа — вполне гражданские, ни значка, ни канта.

Всегда, когда её обидишь и расстанешься — ноет: жалко. А исправить нельзя. Но и это чувство — всегда только в начале, потом заглаживается.

Ну и, правда, железнодорожников многих в армию взяли. Топливо паровозам стало хуже. То оборудуй санитарные поезда, то бронированные. Порожние товарные вагоны не дают самим дорогам распределять. Ещё с первой военной зимы: не достанешь вагона без взятки, и всё... Кому вагонов разбейся не дают, а кто — по первой телеграмме получает... А достанешь — ещё на каждой узловой станции плати и плати, чтобы тебя подцепляли... Завелись такие *толкачи* — проталкивать свои грузы всеми способами. Шлют их с фронта в тыл, с севера на юг, с юга на север... Содержание грузов надо указывать — так врут. Или ложного получателя ставят, чтоб обойти запрет.

Что-то валилось-валилось опять на голову... Эти два дня в Москве рассеялся, замедлился — теперь снова собраться, вернуть себе скорость. Для чего и едет — всё это надо узнавать.

— То приказом собирают гуж и гонят продукты на станцию. А там наоборот — нельзя грузить, уполномоченный не велел... Или идёт четыреста пустых вагонов за пломбами уполномоченного, а загрузить попутно — не имеешь права, не тронь. То зов — собирать сухари для армии. И мешочками этими завалили волостные правления, в уездах — присутственные места. А — не берут, и крысы грызут. И видит население: какие ж начальники глупые...

И при соседе она разговаривала самоуверенно, как будто от силы, а на самом деле от слабости.

За этими постановлениями не уследить, никто не знает, что можно, чего нельзя, куда обращаться. Начальства везде много, а системы никакой. Одни — от властей, другие — от общественности. Как будто нарочно всё запутывают. Циркуляры — один против другого.

Ничего, она сильно изменилась к лучшему. Нашла дело, будет меньше зависеть от мужа. Пусть, хорошо.

Уполномоченные — один над другим и по каждой линии свои, и один другого отменяет. Есть уполномоченные от армии, есть от Особого Совещания по продовольствию. Между ними борьба, каждый доказывает, что он первей. Большие города и северные губернии шлют за хлебом ещё своих уполномоченных.

И в киевском поезде вроде этого. Как нарочно подсаживаются.

— Вы сами и есть... не такой уполномоченный?

— Да нет, — улыбнулся спутник, но как будто сокрушённо. Как

если б хотел быть уполномоченным, да не вышло. Расслабил галстук, развёл высокий крахмальный воротник — стесняют его заметно.

От одного уполномоченного к другому перевезёшь пуд хлеба — ловят, сажают. И никакой уполномоченный не защищён, что не явится более полномочный и не отберёт его хлеба. Над просто-уполномоченными разъезжают ещё главно-уполномоченные. И особо-уполномоченные. В особых вагонах. Вкусно обедают, ужинают.

Пересечённая местность по этой дороге. И обрывы крутые, холмы высокие. Хорошо оборону держать, вон по той гряде, например.

— И откуда ж иные дураки зерно берут? Например, на мельнице или на солодовом заводе сделан запас зерна. Так они зерно реквизируют, а мельницу останавливают!

Крыши будок, припутейских домиков — глянцевые. И голые лески и бурая трава — мокры от недавнего дождя. И ещё будет дождь: серо, темно. А в купе тепло, сухо. Панели красного дерева. Тиснёная кожа по стенам. Кто с войны едет — как не оценить?

— На ярмарках, на базарах — засады, капканы: вдруг какой-то один продукт почему-то реквизируют. Будто нарочно отучают деревню столовать город.

В полях и на поймах — грязно, невылазно, а здесь — сухо, мирно. Кто с войны едет и на войну — каждый день такой не прогонять надо, не рваться в завтрашний, а: хорошо! сегодня — оч-чень хорошо! Нога за ногу, в откид на спинку — хорошо!

Каждый губернатор по своему усмотрению получил право запрещать «экспорт» из своей губернии любого продукта. Как будто распалась Россия опять на уделы. На новых границах — свои таможни. И свои контрабандисты. В каждой губернии — свои *таксы*, и люди естественно стараются увезти и продать, где дороже. И получается спекуляция.

Изо всего течения русской жизни и всегда и сейчас меньше всего был настроен Воротынцев принимать и понимать вот это: торговлю, промышленность, какие-то таксы. А ведь наверно надо? — может, без этого ничего и не поймёшь? Но так непринуждённо складывался тревожный рассказ вагонного спутника, так охоче, сочувственно — к собеседнику и ко всем людям вообще, что не тревожил, а больше даже успокаивал. А скорей — от общего спаянного чувства, владевшего Воротынцевым постоянно и сверх других его чувств: как бы ни было густо-мрачно сегодня в деле, в войне, в жизни, частной или общей, — выше всех мрачных доводов и опасений всегда его выносило прирождённое здоровое ощущение: а, всё обойдётся, всё кончится благополучно, надо только перестоять. Это чувство очень помогало жить.

Спутника зовут Фёдор Дмитриевич. Мягкий, приятный человек. Но — не энергичный и в себе не уверенный, офицер бы из него не вышел, упущения да промахи: прикажет — отступится, скажет — оговорится.

— В этом году урожай трав — беспримерный, особенно на Севере. Но оттуда брать сена никто не думает и не хочет. Общероссийских запасов никто не смеряет и не согласует. Интендантство Северного фронта наладилось заготовлять вокруг Петрограда и по всему округу запретило везти сено в город. Но интендантство не всё сено берёт, а крестьяне и в город продать не могут. Под самым Петроградом сено гноят — а в Петрограде молочный скот кормить нечем. И своего молока в столице не стало.

Рассказчик тягучий, в другое время не дослушаешь. Но в поезде — вполне сносно. Только трудно перестроиться, во всё это вникнуть. А безобразие — круговое, что за чёрт?

— В Вологодской губернии тот год был невиданный урожай сена. И крестьяне набивались везти сено на станции по десяти копеек с пуда, — так уполномоченные, видите ли, не договорились о складировании, о вагонах, о погрузке, о перечислении денег. И так вся зима про-

шла. А когда в марте уже намочило и дороги упали — тогда стали приглашать крестьян, пожалуйста, везите хоть по полтиннику с пуда. Но мало кто довёз, и сено уже было плохое. Так и проиграли все вкруговую, и Россия первая.

Извинился спутник и вовсе отнял крахмальный воротник. Шеей посвободнел, видно, что так ему по-свойски, и в обращении ещё полегчал. Лет сорок пять ему. Усы густые, топорщенные. А бородки никакой. Без напряжения памяти, таскать-не перетаскать:

— Или сибирское масло, в «Новом времени» писали на днях. С начала войны остановили экспорт, цены сразу повалились, вместо четырнадцати рублей за пуд — восемь. Тут бы государству закупать его да класть впрок. Так ничего подобного. Довели маслобоев до краха, и уже сало шло вдвое дороже масла. И стали сибирское масло гнать на мыло.

Так и ободрало Воротынцева: сибирское масло — на мыло?!? Да как же это всё терпеть? Всё равно как в этом июле, в разгар страды — указ о призыве запасных, а через десять дней отменили, — что за тупоумие? Кто во главе государства? (Этот монарх запутал русский тыл ещё хуже, чем фронт? Свой собственный трон запутал ещё больше, чем должность Верховного? И сейчас, когда военных действий нет, — что́ в Ставке сидит? Почему не разбирается в Петрограде?)

А у Фёдора Дмитрича тон такой, что и почище знает. Тон — не настоятельный, как если бы привык рассказчик, что словам его значенья не придадут, и никого он не переубедит, как и этого офицера равнодушного. Рассказывал без напряжения, в любую минуту хоть и остановиться:

— И какой же нашли выход? Опять разрешили экспорт. И — полтора миллиона пудов ушло за границу; между прочим, в Голландию и в Данию. В Данию! — своего масла там нет. Ясно, что в Германию.

Наше масло — и в Германию??! Нет, скорей бы гнал поезд! Скорей бы кого-то встречать, что-то начинать! Как же всё это можно терпеть лишнюю неделю, лишний день? Нёсся, нёсся Воротынцев — и вот ещё по дороге его подхлёстывало.

— Да сами газеты читаете, знаете. Много пишут о таком разном.

Воротынцев усмехнулся, и честно:

— Представьте... газеты я — не очень...

— Да что вы? — удивился спутник, но — и смех в зелёных глазах, будто этого он как раз и ждал.

В другом каком обществе Воротынцеву, может, и стыдно было бы признаться, а этому чудаку — нисколько. Как это, правда, получилось? В академическое время уж как был занят — читал. Но именно на фронте стал замечать, что газеты — они какие-то деланные, неискренние, то слишком пристрастные, и всегда почему-то чужие.

— Да что ж читать? Разборы военных действий, сводки? — совершенно неудовлетворительны. Составляют их или невежды наскоком или слишком хитрые политики, понять по ним, как осуществлялась операция, — никогда нельзя. Истинно как дело было, узнаешь только от приезжих офицеров, от очевидцев.

В том объёме и точности, как сам бы он мог, например, рассказать о делах своего полка, своей дивизии.

— Да-а, да-а, — теперь уже будто и с уважением соглашался собеседливый чудачок-простачок. — Это в каждом деле, и в тыловом, и в хозяйственном: только от живого свидетеля... А если всю правду вот так напишешь, как я вам здесь говорю, — искромсают, узнать нельзя.

— Да ведь и задача газет — какая? — развивал Воротынцев. — Если бы — осведомить в полноте. Нет — выворачивать мозги как нужно их направлению, каждому. А тем более о правительстве, о Думе, о Земгоре — кто ж будет писать беспристрастно? Так что, знаете, все эти Русские, Московские или Биржевые, Ведомости, Слова и Богатства, — они слишком небеспристрастны. Газеты читать — воевать нельзя: на фронтах всё дурно, в тылу ещё хуже, а наверху всё сгнило.

Соседу бы дальше радоваться, а он, напротив, огорчился. Просто смяк, будто Воротынцев его ударил. И стал смотреть в окно.

В нём комичное что-то, отчасти котовье: от круглости лица при усах, от зеленоватых глаз. И лицо — неуверенное, немного обиженное, будто жизнь ему подсовывала всё не то, чего он ожидал.

— Ещё серьёзную журнальную статью? — попробовал его утешить Воротынцев. — А иллюстрированные издания — так и...

Даже говорить стыдно, как если б сам он это всё печатал.

— На каждом развороте каждого журнала...

Полковнику императорской армии больше сказать вслух и неприлично. На каждом развороте — чинные портреты всей семьи, то порознь, то женщины отдельно, то в санитарных платьях (а слышал от офицера, лежавшего в Царском Селе: перевязки делает императрица совсем неважно), то наследник отдельно, то все вместе. И императрица шлёт обязательными подарками тысячи нательных крестиков или образков, как не надеясь, что на солдатах есть свои, из деревни. Шлёт иконы Ивангородской, Ковенской крепости — и они на другой день сдаются. И по всем императорским случаям, а их дюжина на году, в каждом полку непременно молебствие, и рта не скриви. Всё это — не главное, всё это недостойно даже перемалывания языком, но из этого всего складывается...

Вслух произнести офицеру больше нельзя, но больше и не надо от русского к русскому понимающему человеку: если *на каждом развороте* — так что это может быть? о ком другом?

Фёдор Дмитрич опять повеселел и смотрел с симпатией. И Воротынцеву тоже стало приятно, что в разговоре у них — не отчуждение, как много лет противостояли студенты — и юнкера, занятое политикой общество — и от всякой политики отстранённое офицерство, не смеющее рассуждать о государственном строе. Не отчуждение враждебное, из-за которого многие офицеры даже бросали армию. А вот война, сколько бед ни принесла, открыла, что все мы — русские, прежде всего.

Можно было и без усилий ещё сблизиться сейчас на немецкой теме. И в тылу и на фронте равно ходили эти анекдоты — о Государе на парадах: «захватил в плен целую свиту немецких генералов», «со всех сторон окружён немцами и не положил оружия». Можно — но недостойно. Сам Воротынцев о немцах на русской службе думал двояко. Многие десятки их он знал лично — и все они были служаки честные. И всё же была порочность в их изобилии — наследный порок Петра, какая-то коренная неправильность, и вот, наверно, в чём: как бы честно они ни служили, но — только трону, а русской жизни — не добирали душой. И от этого — все были не на месте. Навязал России Пётр империю немецкую — так она и тянулась.

Было-таки в этом человеке комичное, но и сердечное. Не важничал он нисколько. И лицо его было: не насыщенное знанием, но как бы образования ему недостало, а хотелось бы ещё.

После того как Воротынцев намекнул на царскую тему — и Фёдор Дмитрич, через столик переклоняясь, доверчиво и печально:

— А Дума? Дума что делает—тоже не знает. *Мясопустный* закон? — четыре дня в неделю скот не убивать и мяса не подавать, а три дня убивать и подавать? Смех один! Только городские недотёпы и могут придумать: пригонять скот, а на бойне передерживать дни, чтоб он в весе терял. А в Сибири? — там одним мясом и питаются, и девать его некуда. Теперь и из Монголии перестанут скот пригонять.

Городские? Вот понял наконец-то: что-то совсем не городское было в этом человеке. А — образованное мужицкое.

— В продовольственных совещаниях сидят одни городские, кто гирку от арнаутки не отличит, да даже овса от ячменя, а уж как их вырастить и во что обходится — того и слыхом не слыхали. Городские только могут «комитеты по дороговизне» устраивать, чтоб им из кармана мень-

ше вынуть. Ну, и чего добились? Какой дурак им по этим ценам поверит? — С обидой, даже горло перехватывающей. — Есть пословица: «цены Бог строит». Цена — она строится от психологии, нам не уследить. Трогать цены — надо прежде хорошую голову иметь. Если прекратился экспорт, так зерна должно стать больше? И дешевле. А у нас — дороже, и нет. Как это?

Вот оно, опять! Едешь со своею болью, и кажется: ничего вопиющее нет, чем потери, формирования, усталость. А навстречу тебе катится: что стало с хлебом?? Второй раз ему толкуют, еле хватает соображения всё это переработать: и вообще всегда цены, а ещё теперь *твёрдые?*

— Для города главное: почему деревня дорого продаёт то, что горожане кушают? А у горожан — пресса, адвокаты, создают советы городских обывателей и без крестьян устанавливают предельные цены на рынке, вот это и есть таксы. А крестьяне, хоть они три четверти России, — вьючные и немые, газет у них нет, изъясниться негде...

И какой же выход?

Уверял Фёдор Дмитриевич: твёрдые цены отменить, чем скорей, тем лучше. А правительство... Да что о правительстве, язык устал: правительство в России только и существует, чтоб делать всё не так. (Вот и этот!) Был отличный министр земледелия Кривошеин—сняли, не угодил. Поставили Наумова — с ветра, ничего не знал. Только обучился — сняли, как всегда без объяснений. И летние месяцы, самое время урожая — должность вообще была не занята.

— Неужели ж, — верить не хотел Фёдор Дмитрич, но и лезли брови сами на лоб, — неужели действует у нас такая тайная организация для Германии? В народе слухов не оберёшься. То — из Царского Села в Берлин прямой кабель и царица всё туда докладывает. То: снаряды, мол, готовят такие, что не к нашим пушкам подходят, а к немецким. То — генералы изменники, продают военные секреты?

Слухи об измене — смрадная зараза, так и тянет ею по воюющей стране, по недовольной армии. Общество жаждет шпионской крови. Общая страсть к наказанью измены, это и у солдат. Естественное свойство замученной толпы: всякую неурядицу объяснять изменой. Но уж эти снаряды — с наших заводов да к немецким орудиям... Только что казалось, по хозяйству да по ценам, просто границ нет пониманию и знаниям этого человека, а вот — легли обыкновенные границы опыта. За снаряды Воротынцев обиделся.

— Это бы слишком просто было, Фёдор Дмитрич, если б генералы-изменники. Двух-трёх мы как-нибудь бы нашли. Но когда изменников нет, а — сто дураков, и искать их не надо, а снять с постов недоступно,— вот как быть тогда? А снаряды у нас — калибров своих.

— Ну, а своих почему нет?

— Не *нет,* а—не было. Теперь уже—есть. И в этом, представьте, не то что измены, но даже и глупости почти не было.

— Как? А что же? — теперь изумлялся сосед.

— Так. В японскую войну недостатка боеприпасов не знали. По тому расходу и запасались на полгода этой войны, не мало. Заготавливать больше?—а *когда́* начнется война? А если не начнётся? — эти снаряды на учебных стрельбах и за полвека не расстреляешь. А бездымный порох, дистанционные трубки вообще долгого хранения не выдерживают. А за годы появятся новые типы снарядов, новые взрыватели — как же можно запасаться?

Фёдор Дмитрич ошеломился, принять не мог:

— Так что? — со снарядами и ошибки не было??

— Ошибка — была. Но не в том, что не наготовили снарядов. А в том, что — промышленности не подготовили. И была неповоротливость: по первому месяцу войны, по одной восточно-прусской операции можно было понять, что в год на трёхдюймовую пушку нужно иметь не тысячу снарядов, а тысяч семь. Но разве вдолбишь? А французы вообще, вон,

начинали войну без гаубиц, это уже полная слепость. Но у них никто не винит правительство в измене. Всего не учтёшь. Ошибки — могут быть. Но надо уметь поворачиваться.

— Так — и Сухомлинов не виноват?..

— Я думаю: только в легкомыслии и глупости. Конечно, арест военного министра во время войны — позор, да для России — больше, чем для него. Подорвали не его, а весь государственный смысл. Что надо было — это тихо отставить его давно. Но шум об измене кто поднял? — Дума. За страстью ничего не соображают.

Всех этих вагонных спутников ещё надо и просеять. Так ли всё плохо, или это уж такая общественная интонация: во всяком неуспехе видеть злой умысел и развал центральной власти.

— И шпионства — нет??

— Шпионство — есть, конечно. Не такая германская хватка, чтоб деньги жалеть на агентов. Да вот, возьмите «Императрицу Марию» — взорвалась в Севастополе. — (Фёдор Дмитрич не знал.) — Очень допускаю, что — немецкий агент взорвал. И ведь — только что стала в строй, новёхонький первоклассный линейный корабль! Вот — сердце болит, вот это удар.

Куда-то в другое место вёз Воротынцев свои рассказы, кому-то другим, очень важным людям он должен был высыпать из груди свои горящие уголья, — конечно же не в вагонном купе случайному забавному спутнику. Но ровно стучит, стучит поезд, в свой отрешающий ритм убирая, укладывая, успокаивая торопливую душу, нетерпеливые замыслы. Не выскочишь, не опередишь. От Москвы до Петрограда сегодня полдня, долгий вечер, ещё потом ночь, ещё нерассветающее утро — совсем лишний, необязательный день твоей жизни, на что угодно можно его истратить, а как будто и не на что. За окном — мокрая темнеющая местность, не далеко и различимая. Где ещё такие долгие переезды, как в России? Уже слабеют связи с прошлым, ещё не выступили связи с будущим, и сегодняшние реальные люди — только кондуктор, предлагающий выплеснуть светлое тяжёлое полотно простыни на бархатный диван, если хотите отдохнуть раньше, да спутник-чудак с большой записной книжкой, чуть отвернёшься, а он уже записывает или в коридор с ней выходит. Два раза Брянск помянул, так вы оттуда? Нет, там брат у меня, лесничий. Из другого рассказа — гимназическим учителем был. Сейчас — на фронте бывает иногда, с санитарно-питательным отрядом Государственной Думы. А в Румынию — не ездили, не попадали? Ну, обереги вас Господь. Кто там не бывал — ещё горя не видал.

Румыния — не союзник России, а горе и посмешище. Пока она была нейтральна, она защищала нас сбоку, как мешок с песком. Теперь мешок просыпался, и надо подставлять бок и грудь. Союзничка этого сосватала нам Франция. Сухопутный фронт удлинился в полтора раза, добавилось 600 вёрст, целые Балканы, которые отгорожены были. И всё это великое государство немцы опрокинули тремя дивизиями и неделю назад вышли к Чёрному морю. А мы подходим малыми частями на подмогу — и гибнем. Так и глотает Румыния наши войска, сама ничего не держит.

— Посмотрели б вы на эту армию! От нескольких артиллерийских выстрелов полк разбежится — в три дня не соберёшь. Отходят румыны даже не строем, а поодиночке, волокут свои винтовки по земле — зрелище! как одиночные дезертиры. Ни пулемётов, ни лопат, ни умения вкапываться. Если услышишь частую стрельбу — не думай, что обязательно стрельба: возможно, это румыны бросили двуколки с патронами, и они горят. Уверяют, что готовясь к этой войне, мамалыжники с выгодой продали Австрии много продовольствия, военного снаряжения, вплоть до телефонной проволоки, — рассчитывали всё это готовое получить от русского союзника. Впрочем, я думаю, что телефонной проволоки у них никогда и не было: потому что о полевой связи они не имеют никакого понятия. Артиллерия у них — самая устарелая в Европе. Они проспали и

японскую войну, и мировую. Они умудряются ставить батареи друг другу в затылок!.. Офицеры — изнеженные, ходят в корсетах, напудренные, с подмазанными губами. И — вруны, из паники перекидываются в хвастовство, или нарочно обстановку врут, стыдно русским признаться. В официальных донесениях передают сплетни от жителей, распоряжения меняют едва не каждый час. Снимаются с позиций, не предупредив русских соседей. В их армейские линии включаются частные лица. Нет, этого нельзя рассказать!..

Фёдор Дмитриевич ещё выше вскидывал брови, засуетился, открывал записную книжку, хватал карандаш, но удерживался в приличии, не записывал. Вскидывал брови, но не поразился до конца, а нашёл своё навстречу:

— Георгий Михалыч, так это — в Румынии! В Румынии — ладно, нам там не жить. Но у *нас* воруют и всё продают, вот что страшно! На всех станциях воруют. Раньше сахару терялось в пути на вагон пуд, а теперь — тридцать пудов! Начальники гуртов, в прошлом году при отступлении скот отгоняя в тыл, — на казённые деньги в кафе-шантанах кутили, и ничего им! Расплодились аферисты, за один вечер в карты сотни тысяч проигрывают — откуда у них такие деньги? Говорят, при отступлении продовольственные и вещевые склады поджигают первыми, чтобы скрыть воровство интендантов.

— Поджигают — потому что надо жечь. Сало, сахар, консервы, да, видеть невозможно! А что ж — немцам оставлять?

Ну, может быть. Да всё равно знал Фёдор Дмитрич и похуже:

— Тыловое мародёрство — вот что самое страшное сейчас. *Мíродёрство,* как деревенские говорят. Чего открыто продавать нельзя, потому что цена уже стыдная, её не выговорить, — так в запас наберя, ещё держут, чтобы цены ещё повысились. Именно не дороговизна, а грабёж среди бела дня. Страсть разбогатеть во время народного бедствия — откуда это? Безгранично бессовестная торговля, психическая эпидемия. Как будто внутренний неприятель нас разоряет. Тьма спекулянтов развелась, достают всё исчезающее, особенно заграничное, — и торгуют. А какой-нибудь плюгавый купчишка 3-й гильдии поставляет армии гнилые валенки, тухлую крупу. Нахватают — потом из барышей жертвуют на лазареты. Одной рукой сапоги с инвалида снимают, другой — ставят свечку. В Германии небось не помародёрствуешь, там общество строгое, там за такое — военно-полевые суды. Говорят, и у нас некий генерал предложил: на вагонной платформе повесить одного банкира, одного купца и одного начальника станции. К курьерскому поезду подцепить и возить их показывать...

Фёдор Дмитрич смотрел страдательно. Взгляд его был остёр, пытлив, ничего комичного нет, откуда показалось? Почти с ужасом говорил:

— Сказочные обороты делают ювелиры, меховщики, дамские портные — значит, есть кому прожигать жизнь, о войне не печалятся! Вы на вечерний Петербург посмотрите, как он кипит в роскоши. А все эти дутые организации — Северонемощь или Себепомощь, как Северопомощь называют. И на беженцах наживаются, сотни тысяч рублей текут бесконтрольно. Вот что страшней всего: повальное устройство личных благ! Откуда эта всеобщая бессовестность в нашей стране? Откуда эта бесстыжая спекуляция?

И Воротынцев почувствовал как холодный ветерок по спине: вот — страшно! Это похуже, чем «правительство не годится». Разве такая всеобщая порча—у нас была? Вот—беда, вот от чего надо вызволяться!

— А у нас — твёрдой руки нет, — жаловался Фёдор Дмитрич,— злодейство ненаказуемо, справедливости не восстанавливают твёрдо. Нужно много честных и опытных людей на всех местах. А их — как смело. Где люди? Все везде спрашивают: где — люди??

О, да! О, да! Твёрдой-то честной власти и нужно. Твёрдая власть, а главное — не бездействующая. Ах, как нужна — для спасенья страны!

— Даже от месяца к месяцу заметно, вот от этого лета к осени. Такое общее настроение сейчас, с кем ни заговори, куда ни поедь, — все считают себя обиженными, обделёнными, ограбленными. Кто винит деревню, кто город, кто банки, кто беженцев, кто рабочих, кто полицию, кто Думу, кто внутренних немцев, и уж все вместе — правительство. За правительство — никто и гроша не даст. И какое-то, знаете, распространилось ожидание чего-то неизбежно плохого: то ли убийств представителей власти, то ли какого-то заговора...

— Заговора?

— Какое-то угнетённое настроение непрочности, недоверия. И даже — жаждут каких-то убийств! И честят министров и, простите, августейших особ — просто последними словами. Потом ещё этот Распутин: да мол простой мужик у себя в доме такого похабства бы не потерпел, как терпит Сам... Такого сраму... Как с начала войны сдвинулось с места, пошло не по порядку — так и пошло. До чего устойчиво раньше жизнь текла! — казалось, на века. А вот расхлябалась — и боком, боком. Лежит арбуз на бахче, кожа — цела, кажется крепкий. А в руки возьмёшь — разваливается, ладоней не выдерживает.

Да не может быть так плохо. Да не может быть! Склонны люди сгущать мрак. И в этом особенное думское и газетное направление — всё чернить, что в России есть. Так и этот человек как будто собрал с чужих голосов всё, что только есть плохое.

— Ну, не хуже ж прошлого года, когда отступали.

— Да, но тогда боялись немецкого нашествия, чуть Минска не сдали, — и страна была единая, и тыл здоров. А теперь армия вооружена, в Петроград и в Москву никто уже врага не ждёт. Но и в Берлин никто не собирается, как в Четырнадцатом. Теперь не объединяет страну ни порыв, ни страх. И всё внутреннее обострилось.

Уговорительный человек: и не настаивает как будто, а сыпет, сыпет примерами, льёт уверенным знанием дела — и спорить с ним не возьмёшься, откуда всё столько знает, пройдоха-дотоха? В санитарном поезде если ездил — много ли он там видел? Вот уже и о Донецком бассейне, везде успел:

— Все валят на шахты за отсрочками, чтобы спастись. Кто и никогда там не работал, кто и в заработке не нуждается. Все откровенно войну пережидают, скорей бы мир. — И сам с сочувствием: — Ах, Георгий Михалыч, соломенный мир лучше железной драки.

Хорошо сказал! Хороша пословица. Верно.

Но теперь уже даже противительное подымалось защитное фронтовое чувство: ну, у нас-то, слава Богу, ещё такого нет. У нас — чистота, здоровый дух. Опасность равняет, близость смерти — очищает. А в тылу от опасности дальней люди и гнутся, вот и распложивается гниль и гнусность.

— Да, — сказал Воротынцев. — Крестьяне честно дают себя в армию загребать. А сколько городских уклонились? Первые и законные дезертиры — ЗемГор. Вы, простите, не из них ли, случайно?

— Не-ет, — добродушно улыбнулся спутник.

— Выдумали себе погоны с какими-то фантастическими вензелями, спрятали здоровое тело.

Сосед согласен:

— Призвать их в строй, не надо и таких бешеных окладов платить. Даже два им платят: по старому месту службы и по Земгору.

До чего б ещё добрались, но шёл по коридору кондуктор и радостным голосом объявлял Клин.

С другого конца коридора крикнули:

— Кондуктор, вы что, дверь мою заперли?

Весело отозвался молодец-кондуктор:

— Крепче дёргать надо, дверь — международная!

Фёдор Дмитрич схватил записную книжку и записал.

И записывал дольше, чем было сказано. Наверно ещё что-нибудь.

Выйти пройтись? Оделись.

В тамбуре не упустил Фёдор Дмитрич ещё допросить кондуктора и услышал:

— Получаем всего 30 рублей, а бывает и ремонт на свой счёт. Лопнет труба, позовёшь монтёра — отдашь десятку свою любезную.

Да уж как-нибудь и кондукторы ловчат, наверно.

Опять записал Фёдор Дмитрич.

Вышли на сырой холод. Сперва приятно отдать лишнее долгое вагонное тепло.

По платформе прохромал один калечный, другой. И просили милостыню у богатых пассажиров.

А не так давно были бравыми солдатами. А перед тем — мирными обывателями, не предвидевшими своей судьбы. Ушли в калечество — и забыты в своей невылазной жизни.

Но вдесятеро многочисленней их околачивались на платформе и близ вокзала — запасные: дурно подпоясанные, со всклоченными шинелями, кривыми погонами, а уж выправка, а уж честь отдают!.. И — не строем, не командами, не патрулями, не по службе, — но группами, одиночками — гулять, что ли? на поезд смотреть?

— Да они — на всех станциях, на всех базарах, — наговаривал Фёдор Дмитриевич. — По курятникам шарят, яйца выискивают. Ленивые, наглые...

Хоть коменданта ищи, да времени нет.

Нависла чёрная туча, опять дождь начинался.

Вернулись в вагон.

Уже не просто они были чужие люди, простлалось между ними взаимное расположение. И Фёдор Дмитрич лукаво предложил:

— А не желаете по стаканчику винца донского?

— Да ведь запрещено. Откуда ж?

— На Дону всю войну самокурку пьют. А днями — сняли запрет с виноградного вина, не крепче 12 градусов. Разрешено из винодельческих местностей вывозить, продавать, даже экспортировать. Вот и я везу родного петербургским друзьям. Солнышка поглотать.

Вступил на приставную лестницу, приподнялся к багажной нише и оттуда двумя ладонями нежно притянул четвертную бутыль в соломенной оплётке. Оплётка — из больших квадратов, через них — тёмно-золотистая жидкость, втягивающая глаза.

Домовито распоряжаясь со стаканами и уже наливая мягкими наплесками, и самой жидкости улыбаясь, Фёдор Дмитрич протянул:

— Когда есть оно, как в станице, дома, так и даром бывает не надо, не дороже воды. А в военное время или в тюрьме — вспо-омнишь.

— А вам что, и в тюрьме приходилось?

— Да был немного. В Крестах, три месяца. Я — выборжанин.

Выборжанин? Только подумал, что с Дона этот бродячий вездешний человек, — нет, из Выборга. Или — Выборгского полка? 85-й Выборгский? Сама память подавала готовое связно, но что-то не то: Уздау, окопы, обстрел, Арсений Благодарёв, жёлтый игрушечный лев... Нет, конечно, какой же он военный. Просто — выборгский мещанин?

— Выборжанин?

Фёдор Дмитрич жадно смотрел, уголками бровей на отлёте, ждал отзыва, острого слова какого-то. Не дождался. И с улыбкой непритязательной, даже виноватой:

— Я — Выборгское воззвание подписал.

— Ах, вот оно что!.. Да, да... — (Наудачу.)

Выборгское воззвание? Какое-то было, да. От кого к кому? почему Выборгское? Да мало ли этих разных воззваний? Революционер, что ли? Вот уж не похож. За два часа от простого среднего человека — одни загадки.

А тут поезд тронул — мягко, без толчка, как поскользил, так что стаканы, налитые всклень, ничуть не расплескались.

И огорчённый Фёдор Дмитрич снова улыбнулся:

— Хорош машинист. Это ведь трудно — так взять состав. Пассажирских машинистов да ещё на Николаевской дороге — молодых не бывает.

— Почему?

— Долгая выслужба. Начинает смазчиком, потом кочегаром, потом помощником машиниста, потом машинист маневрового, потом товарного, только потом — пассажирского. И то разный класс бывает. Ну, ваше здоровье!

— Ваше!

Потягивали. Смаковал Фёдор Дмитрич.

— Опытный машинист, да ещё если участок знает — чудеса может делать. На станции Елец — 10 минут стоянка, никак пассажирам пообедать нельзя. Но, бывало, бежит к паровозу официант и поднимает машинисту серебряный подносик — рюмка водки и бутерброд с чёрной икрой: «Василь Тимофеич, примите-с! Вас Абдула Махмудович»... а арендаторы буфетов — все казанские татары ... «насчёт остановки, чтоб не шибко скоро отправились». «Скажи Абдулке: ладно.» Помощнику: «Сходи к дежурному, заяви смазку подшипников.» И стоит поезд 25 минут, на паровоз тоже три полных обеда подаётся. А расписание — нагонится до Грязей: знает Василь Тимофеич все уклоны, все подъёмы.

Не давая допить, долил сосед снова дополна.

И вдруг почему-то стало Воротынцеву — жалко его. Что-то неудачливое было в нём или обречённое, а нисколько вот не озлобленное. При его всезнании и уверенных доводах — что-то неуверенное. И неумение в себя уйти, обрезать, замолчать — у независимого человека какая-то зависимость ото всех и всего.

А поезд шёл, небыстро, но с ровным хорошим стуком, и располагал и велел всматриваться: мимоходом встреченный — ещё мимоходный ли человек?

— Простите, не помню я это Выборгское воззвание. Это — какое же? когда?

Посмотрел Фёдор Дмитрич опять огорчённо. Зеленовато.

— Когда Первую Думу разогнали — мы в Выборге собрались и там... Обсуждали, что делать... И подписали Воззвание...

— А кто мы, простите?

— Члены Государственной Думы. Некоторые.

— Так вы... что ж? Член Думы??

Шутит?

— Да, бывший. Первой, — извинительно улыбался спутник, вполне допуская своё несоответствие.

Ах, Первой. Давно это было.

— А сейчас — нет?

Стеснялся Фёдор Дмитрич за полковника, и оттого явней выступало в нём доброе:

— Так вот нас... с тех пор... и лишили... политической деятельности.

— Вы — политический деятель? — не совсем без насмешки всматривался Воротынцев.

— Да нет... Вовсе нет... Так, попал.

— А, простите, как ваша фамилия?

— Ковынёв.

— Н-не слышал, да. — И обижать человека неудобно, но — не слышал. — А — откуда депутатом?

— С Дона. Усть-Медведицкого округа.

— А партии какой?

— Да к-как вам сказать. Назывался трудовик. Обвинялся ещё и в создании народно-социалистической. Отпало, а то бы год дали. Вообще в ту пору свободы, в те дни упований без меня митинги не обходились. Меня потом наказный атаман с Дона высылал.

— Так вы — казаком были?
— И есть.
— Ну, теперь какой же!
— А на сенокос, на уборку, за садом ухаживать — домой езжу. Сёстрам одним не справиться, незамужние.
Улыбнулся, как бы внутрь себя:
— Казаки! Знаете вы, что значит казаки? Вот июльский день, все на уборке хлеба. Вдруг через станицы и по полям скачут гонцы-казаки с красными флажками на пиках, это значит — война, боевой сбор. Сегодня засветло к пяти часам вечера всем быть обмундированными, на боевых конях и в полном снаряжении у станичного правления! И вот — бросают хлебную страду, полосу на середине, бросают жену, ребятишек, — и через несколько часов четыреста снаряженных бойцов — у станичного правления.
И даже заблистал от гордости. И сам готов на коня?
— Так вы где ж постоянно живёте?
— Теперь в Петербурге.
— И — преподаёте?
Потупился Фёдор Дмитрич, повёл глазами по столику, на вино, на записную книжку.
— Теперь нет. Я теперь... в общем... так сказать... Очеркист.
Ах, вот кто! Ах, из тех как раз, кто и пишет все эти Слова и Богатства!..

15

(Из записных книжек Фёдора Ковынёва)

* * *

— Вашескобродие, — робко говорит Сигней, подвигаясь к войсковому старшине, — позвольте вас спросить, правда, нет ли, гуторят тут у нас... — и понижает голос до таинственности, — будто мериканский царь прислал в Расею письмо... Желает у себя казаков завесть... Мол, русский царь не кормит своих казаков, пущай едут в Америк, у меня голодными не будут?
— И чёрт их знает, — закричал войсковой старшина на Сигнея, — какую ерунду собирают! Откуда это?
— Болтают тут, вашескобродие... Больше бабьи брехни...
— Плюнь ты в глаза этим смутьянам! Твоя родина вот — степь привольная Дона Тихого...
— Самой наш корень, — уныло поддакивает Сигней.
— И нигде на свете ты лучше места не найдёшь!
— Так точно, вашескобродие...

* * *

Приехал со службы казак, в офицеры выслужился. Горница полна гостей, старики за столом, по лавкам — родство и соседство, и женщины, молодые казаки у грубки стоят, в чулане жаркой грудой зрители.
— Это самая ваша форма, Гаврил Макарыч?
— Вобче — присвоенная чину подхорунжего.
— Очень прекрасная форма.
— Только по этому чину хлебопашество вам будет трудно, пожалуй. За время службы от нашей польской работы, небось, отстали?
— Желание было, конечно, послужить в полку, ну, родитель не благословил. Ну, и на родину, конечно, пожелалось — посмотреть родимые предметы.
— Тут и кушанье простое: лапши побольше — это так! Наелся, чтобы блоху на пузе раздавить можно — вот это по-нашему.

Бородатый умственный сосед:
— Ну как, спокойно сейчас по России?
— Пока ничего, бунты усмирены.
— То-то по газетам не видать, чтобы...
— Сейчас затихли. Как раньше, например, были эти самые забастовки, сейчас этого ничего не слыхать...
Старик с голым черепом и с георгием на синем суконном халате:
— Гаврюша! Скажи ты мне на милость, через чего эти самые бунты бывают? По какой причине купоросятся те народы?
— Да конечно — от неудовольствия...
— Земли хотят?
— Одни — земли, другие — в дороговизне товаров стесняются. А в обчем итоге надо счесть — от необразованности.
— Да кто же виноват, какая сторона? Зык идёт и на начальство...
— Начальство начальством, дедушка, да и сами виноваты: надо учиться...
Дед крутит головой:
— Не в том сила, я думаю... Жили вперёд их, не учились... а жили, не бунтовались. Просторней было... Садов не было, вишни в лесу сколько хошь рви, яблоки, груши, тёрен... Рыбы этой!.. А нынче всё перевелось. Все образованные, все в калошах ходят...
Карпо Тиун, вставая, голосом спотыкаясь:
— Вы говорите — учиться, Гаврил Макарыч. А дозвольте спросить: иде свободный доступ? Окупить права — например, чем?
Служивый строго собрал подбородок:
— Кто в голове имеет, доступа добьётся.

* * *

Яркий мартовский день. На Неве сухой лёд, ноздреватый, с тёмными извилистыми полосками. Радостная тревога на сердце. На набережной встретилась нарядная, тоненькая, в чёрном, с чёрными глазами и бровями, вся накрашенная, как будто смутилась чего-то. Может быть певичка. С жалостью и симпатией встретился взглядом.

* * *

24 мая 13 г., СПб. Вчера вечером, на Вознесение, у нас было заседание редакционного комитета. Короленко не спеша, очень подробно, делал разбор рукописей. Потом пошли чай пить. Он говорил со мной о рассказе с таким энтузиазмом, ласково мягко блестели прекрасные небольшие глаза. Прекрасное лицо у седой квадратной бородки и головы в тёмно-серых кудрях. В его изъеденном, но твёрдом лице физически сильного трудящегося человека — привлекательность силы, выдержки, мысли и осторожности. Кольнулось сердце, любовалось им. Тихий волшебный ровный голос необычайной грусти и живости. А когда он встал из-за стола, я заметил на сапогах его заплаты...

* * *

23 июля. Едем со станции. Белые платки табором, повозки, арбы, радостные рабочие. Луга зелены, как весною, — кормá-то! Мощь зелени, давно не бывалая. «Это когда в Турцию шли, тогда так было.» Трещит барабан лобогрейки. От спелой пшеницы запах родной, сытный, хлебный. Почему-то думаю: больше в жизни такого урожая, такого богатства и буйства я никогда не увижу.

* * *

Сухой ковыль волос на старых казачьих головах.

* * *

Усы, похожие на укороченные турецкие ятаганы.

* * *

Я написал З*: теперь по станице катят на велосипедах молодые люди в котелках и блузках прозрачной материи, в карты играют при взрослых. Барышни в узких платьях и французских туфлях идут по пыльной улице, обходя свежие, густо-ароматные нашлёпы прошедшего стада. Меняется быт...

Она: не быт, а—*брать* как можно больше хочет теперь молодежь, особенно в любви. Всё реже способность отдаться и привязаться.

* * *

По листве шелестит мелкий дождь. Пахнет укропом. Сижу в шалаше, жду — не придёт ли какая. И ничего в груди, кроме желания, да ещё страха заболеть. Птички звенят в саду.

* * *

Старый бородатый казак поёт общую песню, а сам топырит в воздухе пальцы, наклоняется к соседям, будто им что рассказывает, крутя головой.

Другой старик вспоминает: «Был такой атаман — фон-Рябый... (значит — фон-Граббе или фон Таубе. Что казацкому языку делать с таким «атаманом»?) Лютой был генерал, как-то сразу в нём воспарение делалось. Одному казаку за возражение карандашом ноздрю пропорол.»

* * *

В саду у Памфилича. — Ну, когда ж, Памфилич, лучше было? в старину аль теперь? — Да теперь, сказать, лучше. Посветлее стало. Грамахоны, наряды! У нас-то, бывало, всё холстинное, самоделишное. — А — что ругается молодёжь? — Да, мы такого не ведали. Как это — матерным словом? Ведь она Владычица наша, заступница... — А мой дедушка, помню, говорил: детям нашим—*подступает*, а внукам и вовсе худо будет...

* * *

Сизая степь с низкими холмами и буерачками. Низкорослый дубнячок по балкам и по мелкой Медведице. Низенькие курени, пахнущие кизячным дымком. Облупленная станичная церковь. Вспомнил, как в лаптишках любил бегать к вечерне, в полупустоту. А ещё больше — кругозор с колокольни, когда пускали.

* * *

Ласковые недра неспешной жизни.

* * *

«Нитнюдь не проницать!»

* * *

— У меня сын имеет медаль за храбрость. Гришка, ну-ка зацепи, где она у тебя?

Рябой неуклюжий казак достаёт из кармана серебряную медаль на алой ленте, прикладывает к груди, торжественно:

— Святыя Анны...

— За какой же именно случай? — почтительно спрашивает сват.

— Это — на конюшне я стоял. Командир пришёл ночью, видит — всё исправно, и всю ночь я напролёт не спал. «Вот это молодец!» — говорит. И представил к медали.

* * *

З* после тамбовской постановки «Мещан»: «гнетущее настроение, из театра шла как автомат посреди улицы и вязла в грязи. В душе такая пустота, будто вынули из меня всё и ничего не положили взамен. Главный вопрос — во имя чего жить — не решён. Все отрицательные (по Горькому) герои находят, что жизнь скучна, мертва, неинтересна, а все положительные его типы только восклицают «хорошо жить!», «жизнь хороша!», но никто и попыток не делает объяснить, почему так. Нил, самодовольный откормленный бык, душит и давит всё, что попадается под ноги, — и он по Горькому герой будущего? Но разве героизм будущего в жестокости? Горький за Ницше восклицает: «падающего подтолкни». Я понимаю — отжившие учреждения, но не людей же? За что? что родились раньше нас? Гадко, тяжело, просто погано. Если бы не было так поздно — полетела бы, не знаю, к тётке своей в монастырь. А вы, друг мой, выставите «наши теперешние условия», «российские порядки»? Если я угадала — не пишите этого, это ложь, самоутешение.»

Провинциальная девчёнка, ничего не видела, но как смело судит. Поди-ка скажи такое в редакции «Русского Богатства».

* * *

Гримаса усилия (грузчика), похожая на улыбку.

* * *

Шибарёвая баба.

* * *

— Жизня моя, ежели мне про неё начать, то целая библия. Сколько я перенёс на своей груде, то в Волге воды столько не найдётся.

— А именно что же?

— Мало ли!.. Раз калоши новые у меня украли и самовар новый невладанный — в один день.

* * *

— Если более или менее утробистая бабочка попадётся, ну... А что касается бессмыслицы жизни — это не моя специальность.

* * *

— Вы ж не социалист, надеюсь? — отчего ж нам не выпить по одной?

* * *

Шум отвечающих многих голосов издали — как опрокинутый ковш со щебнем.

* * *

Ильич про сына:

— Первым долгом — по ногам он не годится. Ноги у него ни к чему, до того потеют — хочь выжми.

Слабосильный мужичок Агафон, ростом в аршин три четверти:

— Раненого я надысь встрел. Без ноги, а смеётся. Надо, говорит, сукина сына германа придавить хорошенько.

— А как думаешь, Агафон, если нас с тобой возьмут? Германец вон грозится в Дону коней попоить.

Агафон, держа цыгарку на отлёте против уха, надменно отзывается:

— Чего потребуют, то и сделаем, а уж герману уважать я не согласен.

— А налетит на ероплане — цап! и упёр?

— Пущай по всей комплекции бьёт — не поддамся!

* * *

Повороты душ, предположить нельзя: после всех разжалований Филипп попросился в армию добровольцем! Вернули подъесаула и вместе с сыном-подхорунжим — в один полк. Три первых же недели оба не вылезали из разведок. Отец — повышен до есаула, Владимир 4-й, Анны 2-й и георгиевское оружие. Сын — до хорунжего, тоже орден и в атаке убит.

* * *

Крест на крест: георгиевский кавалер, подпоручик, — и сестра милосердия.

* * *

Брат Александр пишет: мобилизовали крестьян-возчиков на обязательную вывозку дров для военного завода. Но как бестолково: всех мужчин с одной лошадью выгоняют за 40 вёрст (из других уездов тоже), а дома остаются по две-три лошади без работы. На ближних были бы все заняты. А начальник велит лесничеству: отгрузку дров на брянский арсенал прекратить, грузить для полицеймейстера.

* * *

Пишет сестра Маша: вчера заходил казак с хутора Себряково, перешить посылку сыну на войну. Говорит: мать уважки напекла на масле, на яйцах, да присметанила, а на поште начальник спросил — что в посылку зашил, говори истинно. Я мол: тёплая рубашка, поштанники, варежки, да мать горстку сухариков всыпала в чулки. А вот этого, говорит, никак нельзя, перешивай. К себе на хутор далеко идти, он — ко мне. Пока порет, спрашиваю — что сын-то пишет? Да в последнем письме написал — объявили поход на немца. Кроволитие идёт громадное, силы несметные гибнут. О Господи, один у нас сыночек-то. Детина и бабочка у нас тихие, сиротные и дитя-то у них одно. Пришёл Сёмушка с действительной, лишь успели деточку родить, а вот опять на войну... Ну, ягодка, распорол я, да думаю: хоть с десяток сухариков суну в поддёвку-то? — дойдёт ли, нет? Мать хотела уточку положить, баба — нет: сухарики в карман насыплет, ходя съест. А ещё обвела ручёнку и ножёнку Ванюши и приписать велела: вдарь, батенька родимый, моей рукой и ткни моей ногой лютого врага немца, чтоб не успели испить твоей родительской крови и осиротить твою единственную чадушку и уложить в гроб твою родимую матушку. Вот и её слёзочки, видны на бумажке, уж кричала, кричала.

Зашиваю: ну, а ещё что пишут казаки? Вообще пишут: всю сущность писать не велят и неколи. Из Карпатов пишут: голод, холод, мяса много, а хлебушка редко, лошади под седлом без силы. Из Александрополя пишут: ждём турку, чиним крепость. Работу несём словно каторгу, на себе таскаем кули песку, а всё-таки, милые родители, надёжней, чем где бой. Отдохнём от песку, разобьём кулаки на морде турка. Теперь уж надо идти, не опускать голову перед кривоносыми чертями. Как ни говори, ягодка, много русской силушки закрыли землёй. Зашила? Ох, за сухари старуха будет бранить...

* * *

Рязанец псковскому:

— Надо средственно махать косой, а ты рвёшь. У косе понятия не имеешь. Острамотил Скопскую губернию на всю Европу.

— А ты дай струмент следующий, тогда говори. Такими косами мёрзлое дерьмо сбивать, а не косить.

— Соболезную я не столько об тебе, сколько об лугу. Пошматуешь ни за что...

* * *

«В выпитом разе — сурьёзный человек.»

* * *

В Ксеньинском лазарете зашёл я в рентгеновский кабинет. Принесли молодого татарина. Тонкий, совсем мальчик, трудно дышит, лихорадочный взгляд. — «Замечательный случай, — сказал врач (артист), — парализованы ноги, а никакого ранения. По-видимому контузия.» Сделали снимок — нашлась пуля в спинном хребте, что изумило ещё больше: нигде никаких призиаков входного отверстия. Рассуждали, обдумывали. Татарин тяжело дышал. Подошла сестра: «Люблю я их, татарчат, — ласково утирая ладонью щёку и подбородок его, — такие они милые. Домой хочешь? Ах, ты...» В мутных лихорадочных глазах мальчика блеснула радость, он беззвучно засмеялся, разинув рот, забывая страдания. Служители уносили носилки с татарином, но светлое так и лежало на его лице.

Магическое и великое в ласке женщин.

* * *

Жирный голос — похожий на шкворчанье горячего жира.

* * *

Брат пишет: по «Русскому Инвалиду» надо скоро ожидать на фронте больших оживлений. Хоть бы ломанули немца! Удастся ли? Всё так напряжено, боюсь катастрофы. На Страстной и на Пасхе не было бы голодных бунтов: всё перед праздником вздорожало на 500%. Прямо надо удивляться нахальству торгового класса. Не кончилось бы разгромлением тыла.

Для домашней работы никого не найдёшь, девчёнка и та за 10 рублей к ребёнку идти не хочет, и правильно: раньше 10 р. были деньги, а что сейчас? И служи сам, и по дому сам, и весна настала, мясо кончилось — сели на жидкую кашу да молоко, вот тебе и лесничий.

* * *

Потянулись по станице слухи о наживе там, на полях войны, дразнили воображение. Уляшка, хорёк-баба, сигнула к своему первая, аж до Карпат. Воротилась — облепили её бабы. Сухопарая, рябая, но чернобровая, рассказывает:

— И-и, мои болезные, и поспать сладко не привелось: всё на стороже были, как гуси на пруду под осень.

— Ну а как, деньжонками, правда, нет ли, поджился?
Бабы, затаив дыхание, ловят, как пофортунило Родьке.
— Да всей касции двадцать три рубля было у него.
— Ну, не греши.
— Ей-Богу, как перед Истинным! — Уляшка крестится на вывеску потребительской лавки. — Я два дня посидела — трюшница осталась, крынули как следует. И он меня с касции сместил.
— А говорили, добра много набрали.
— И-и, тётя, один разговор. Може кто и поджился, а мой, чего и зашиб — всё в орла прокидал. Тут им — поход, и он мне: с меня теперь гнедого достаточно. Куда тебе за нами с мешком сухарей тюлюпать? Езжай домой. Служите там молебны.
— А у нас по всей станице зык пошёл: поехала, мол, Уляшка деньги забрать.
— Вот, купила себе на жакет сукна, и всё нажитие.

* * *

Прошлогодняя ржавая листва и сквозь неё пробивается травка в первых днях своей жизни: зелёные наплочки, крошечные вёсла, зелёно-золотые копьеца, бархатная проседь распластавшегося полынка.

* * *

Пьяный казак своей случайной возлюбленной:
— Я баб лучше всякой скотины люблю!

* * *

Зинаида: «Страстная неделя. Мимо моих окон идёт народ со стояния. Все несут свечи, лёгкий ветерок их колышет, слышен смех, в лицах бодрое оживление. А я стою у окна — в душе мрак, на дне — холод и смерть. И на живое чувство их откликнуться не могу.»

* * *

— Не дерзай (-терзай) ты свово сердца!

* * *

Пишет Александр: задумали строить лесопильный завод для заготовки шпал и дров. Цены на всё бешеные, рабочих нет никаких — ни плотников, ни каменщиков. Ничего не достанешь, не укупишь, не найдёшь. Учреждения военные и земгоровские с ценой не считаются, они и вздувают. Вчера пробовал нанять колодец выкопать для завода. За выемку 6 куб. саженей запросили 500 рублей. Теперь ревизор торопит с постройкой узкоколейки к заводскому складу. А дорог нет, возить надо песок, балласт, рельсы — за 35 вёрст, почему-то их выписали не на нашу станцию, а на Белые Берега. Ужасно тяжело, но всё-таки надо сделать. Немцы за это время использовали огромные леса наших западных губерний. А мы сидим без шпал.
Ещё пишет: получил 37 человек военнопленных. Теперь верчусь: накормить, обуть, одеть, дать работу, заинтересовать. Думаю, нашим солдатикам в плену не видать таких попечений.

* * *

— Был я вахмистр, из себя черноусый, тело белое, настроение развязное. А она — плюнуть не на что, вся с напёрсток. А пока я служил — тоже... приобрела мне одного...

* * *

Утром в лесу. Над ухом тихо звенят комарики. Редко с расстановкой стрекочет какой-то кузнец. Кочета кричат за рекой. Зелено, шорох. И нет мыслей, кроме тоски: женщина бы встретилась!..

* * *

— Надысь тут офицера немецкого провезли раненого, бабы окружили. Одна старуха: «Глаза бы тебе выцарапать, немецкая морда! Двух сынов через вас лишаюсь!» А он по-русски говорить знает: «Тётушка, у меня у самого дети, не охотой покинул.» И заплакал.

* * *

«За это, голубь, скребанут!»

* * *

Брат пишет: Дело с постройкой завода курится как мокрое г... Со всех сторон сыпят наряды, не успеваешь поворачиваться. А всё-таки, несмотря на военные затруднения, работы по лесничеству сделано больше, чем в обычное время, раза в два-три, и самое дело разработки расширилось.
Пленными очень доволен, собираюсь косить ими луга для казённых лошадей.

* * *

Зина: «Нужно идти или навстречу друг другу или в разные стороны. Других отношений между людьми не ценю и не желаю поддерживать».
Вечные милые враги (мужчина и женщина).

* * *

Спина косца в синей рубахе взмокла пятнами и кажется заплатанной чёрными латками.

* * *

— Режется трава не чутно, косить её — как блинцы с каймаком есть.

* * *

Извозчик: Старший сын зиму в школу походил, стал читать хорошо, ну бедность, отдал в колбасную к зятю. Зять у меня в колбасной приказчиком. И девчёнку малую ему же отдал, за детьми ходить. — Не обижают? — Ничего. Только в Бога верить перестали. Не говоря, что скоромное жрут всё время, а уж веру самую потеряли. Я им про Бога, а они: что я заработал, то и есть, а Бог мне не поможет. Там такие слова, дескать **ничего** нет. Ну, а природа? Да и природы нет! Врё-ошь! Природа есть, и должен быть у неё великий хозяин. Кабы тебя отец с маткой не родили, как бы ты на свет явился?
— Выехал чуть не ночьещем, на козлах подремлю, опять за работу. Лошадь одну поставил, другую запрёг.

* * *

16 июля 16 г. На набережной, в жемчужный час белого вечера, заря на закате, тепло, серебрится Нева, солдаты, девицы, пиджаки, рубахи, женщины с платками на плечах. Долетают обрывки разговоров:
— Муж солдат и любовник солдат... (бабий голос). — Богачей под-

жать (мужской баритон). У них и спирт, и коньяк, а тут пей отраву за 2 рубля. Да и отравы-то не достанешь... — Теперь не берут нашего брата на работу, по всему берегу баба расположилась. По 3 рубля в день бабы зарабатывают, дрова сгружают.

* * *

Ходит по рукам такой Акафист Григорию, Конокраду Новому:

Радуйся, Церкви Христовой поругание... Радуйся, Синода оплевание... Радуйся, Григорие, великий скверн отворче!..

* * *

Брат: Распущенность в народной среде такая сделалась, ни чувства достоинства, ни совести. Все и всё в каком-то смятении. Мечутся, где взять побольше, а сделать поменьше. На наших глядя, и военнопленные стали хуже работать.

* * *

Подрядчик берёт за каждого китайца в день два с полтиной, а ему платит 60 копеек — кроме него никто ж китайского не знает.

* * *

Зина не признаёт различия «малых» и «великих» дел: мол, у каждого свой запас нравственных сил, и всякий истративший максимум своих сил — вот уже и совершил своё великое дело: между собой эти люди равны, хотя для внешнего мира поступки несоизмеримы.

А и верно?

* * *

Детские голоса выскакивают как искорки из сухих лучинок.

* * *

— За такой вилок — пятак?

— Прошу пятак, а может и за четыре сойдёмся.

— А такса?

Заседатель пренебрежительно тычет пальцами в кочни. Взгляд его леденит. Баба безмолвствует.

Из толпы сострадательный голос, заступаясь за бабу:

— Да ведь кабы мы грамотные народы, ваше благородие, а то мы народы степные, не письменные... Слыхали, такция мол, а в какую силу такция, мы не знаем... Слепые мы народы...

— На все предметы первой необходимости... На капусту установлено 40 копеек за пуд. А иначе для чего же такса?

— Да мы её сроду на вес не продавали, а вилка́ми... Иде ж я весы возьму? Я вашей хозяйке и так один пожертвовала, вилочек как слеза чистый...

— Такцию, вашбродь, надо на всё коль такцию, — глухо гудят в толпе голоса, — а то ситец — доступу нет...

— А спички? а карасин?

Баба осмелела:

— Ты бы пополивался её летом по такции, узнал бы, почём сотня гребешков. Я на твою такцию не подписываюсь!

* * *

Такса появилась на станичном базаре тишком: наклеили таблицу на заборе вокруг отхожего места и всё. Кому надо, те и без того наизусть её уже знали.

Казаку-хуторянину и невдомёк, почему прежде покупатель торговался до изнеможения, а теперь выбирает без лишних разговоров:

— Караси, что ль? А сазан есть?

— Есть, ваше степенство. Вот извольте, фунтиков пяток потянет. Или вот...

— Весь!

— Обех возьмёте?

— Обоих весь!

Казак взвесил на безмене, покупатель, не справляясь о цене, положил в корзину, отсчитал 74 копейки и молча передал казаку.

— Господин! это что ж такое будет? — изумился казак, держа на бурой широкой ладони запачканные современные монеты-марки.

— По таксе, голубчик, — кротко отвечает покупатель, ткнув пальцем к забору, — коль грамотный, должен сам прочесть.

— Давай сюда рыбу! — закричал казак, выкидывая в корзину покупателя его марки. — Как бы у тебя живот не заболел, по таксе кушать!

— А полицейского шумну?

— Шуми, а рыбу подай сюда!

И вцепилось в корзину четыре руки.

* * *

«Сам рявёть, а сам бягёть.»

* * *

— Извините!..

* * *

В Усть-Медведицкой коробка спичек доходит до сорока копеек. Все цены в гору.

А брат: Брянск всегда был дорогим, а теперь торговцы вовсе разнуздались. Цены повышаются каждый день. Некоторые товары периодически скрываются, а вновь появляются сильно поднятыми в цене. Что ж дальше будет? Во всём виновато, безусловно, правительство: оно ведёт организованную борьбу с русским обществом в пользу Германии. Надо ожидать ещё худшего стыда и позора — измены союзникам. Революция — необходима. И будет весьма кровавая. Ужасно всё это...

* * *

При луне скакала на одной ноге. «Так ждала!..» А я не приехал...

* * *

Дороговизна — не сами высокие цены, дороговизна — настроение, это всеобщий испуг: если сегодня хуже, чем вчера, то что же будет завтра? Это особенное чувство безнадёжной незащищённости, которое охватывает человека на рынке и при каждой покупке: невместимыми ценами тебе сжимают глотку; невидимые люди с уже огромными деньгами — где-то рядом, вот может за этой каменной стеной, прячут товары, а из твоего горла выжимают ещё и ещё! И в обиде кажется, что этих спекулянтов, этих мародёров — поощряет власть и куплена ими полиция. А иначе — как простому человеку объяснить: почему же правительство не обуздает мародёров? Ведь не может быть, чтоб на Руси не было продуктов. Русь всегда полна, почему же в лавках нет? Значит, прячут, «сдирай, сколько сможешь!». И от этого горше всего обида на власть, не за что-нибудь другое.

* * *

12 октября. Генерал-от-кавалерии Покотило издал постановление: через границу запрещается провозить печатные произведения, записные книжки, даже частную корреспонденцию. До чего дошли!..

* * *

Извозчик: «Вот у нас всё свободы требуют, а обязанностей не помнят. Живёт профессор, химик, семья 8 человек, а прислуга у них — старуха, встаёт в 5 часов, лягет в полночь, так они этого не замечают. А свободу им дайте...»

Проезжая мимо церкви Михаила Архангела: «Воин небесный. Я книжечку об нём читал. Диковинное дело, какие войны были. Ведь — духи, чего б им воевать? А бились.»

16

Он сказал о себе «очеркист», постеснявшись как истинно думал: «писатель». Для уха нелитературного, как у этого полковника, который вот не читает ни газет, ни журналов, а может и книг? и ни с какой стороны не знает имени Фёдора Ковынёва, — «писатель» звучало бы смешно, с надутой претензией. Да Ковынёв был и очеркист: уже не двадцать ли скоро лет, как всё окружающее, а особенно свою родную станицу — с неё начав и более всего её — он без отказа и без отсева втягивал через глаза и уши, жадно подхватывая все диковины просторечия и простомыслия, и тотчас же вгонял мелким наклонным почерком в очередную из многих записных книжек. Коллекция этих записных книжек становилась как вторым вместилищем его души, так что потеряв бы вдруг свои записные книжки, Ковынёв оказался бы обокраденным на всю прошлую жизнь и почти без смысла на будущую, как при смерти сразу. Однако в тех записных книжках собранный материал не залёживался: всё то время, что Ковынёв не наблюдал, он понуждён был этот материал перерабатывать и выпускать в люди, это была форма его жизни: не для себя записывалось, а чтобы люди, особенно не дончаки, это всё тоже увидели, услышали, узнали. А подхваченного было так много, так распирало оно кожаные переплётики записных книжек, что еле успевалось, не обдумывая хитро строения, не расставаясь с природнённым, лишь перегребать и перегребать лопатою эти записи, переписывать из записных книжек на листы, уподробняя, дополняя объяснениями, новыми тёплыми воспоминаниями, — и так получались именно *очерки*.

И пока неутомимо записываешь в книжечки, и переписываешь в очерки, и отсылаешь в редакцию — нет работы ясней и прямей, чтоб освободить душу от требовательного груза. А когда уже отвалится очередное давление и сколько-то спустя найдутся просветы времени полистать эти очерки — вздохнёшь и узнаешь для себя, что, пожалуй, они велики и слишком многочисленны. А когда эти черновые записи переставишь терпеливее, сочетаешь иначе, а потом в неожиданной счастливой погонке не поразогнёшь спины, — увидишь сам, что сверкнуло намного сильней. И подписываешь «рассказ» или «повесть».

Это — как масло из семячек: надо по нескольку раз отгнетать, отжимать и отцеживать. Или как обработка леса: всего нужнее людям простые дрова; но если дровами уже снабжены, и леса много, а ты про себя знаешь, что ты не дровокол, но затаённый столяр, то удел твой — с терпением гнуться у верстака, обтачивать, опиливать, выбирать четвертные пазы, пока вложенный твой труд не станет дороже взятого дерева; и люди от самых тёплых печей вздоргнут и потянутся к твоей работе.

А в общем это прирождённая потребность твоей души постоянно тихо изливаться: как в зелёной балке между пашен лопаются почки на кустарнике и курится золотистая их пыль под трели жаворонков; или как провожают служивого, весь печальный и лихой этот обряд, со всеми подробностями, и какие песни старинные поют, — хочется и песенную манеру передать и даже все слова привести, ведь их не знают не дончаки, — и уже забываешь, к чему всё начато, лишь бы вместился этот быт, повествование раздаётся разливом Дона и Медведицы — и уже протестует редакция, что страниц много.

Как и всякого начинающего, Ковынёва сперва долго не признавали, в журнальном море плавали его обломки малозамечаемы. Лет его уже за тридцать вышла первая книга рассказов «Казацкие мотивы». Тогда сам Короленко назвал и выделил его как особого донского писателя, двери и обложки «Русского Богатства» открылись перед ним — сладкий миг поверить в себя! Так уже всё достигнуто? Нет, всё только ещё начинается. Ему уже заказывали, его просили, ждали, — но заказывали и ждали как-то не совсем того и всё более даже не того, о чём лилась душа. Картины, как цветут овраги или как тучи плывут по ту сторону Дона, находили редакторы и критики очень милыми, однако ждали от него, чтоб он отстаивал справедливость, свободу, а если уж непременно о казаках, то тогда — как отвратительно использование казаков для угнетения, иначе казацкая тема выглядит реакционной. А то б — и на другие важные редакции темы, например, что столыпинское выделение на отруба — это жестокий эксперимент над народом. И вообще что-нибудь такое, в чём ярко выразится свободолюбие.

Да что ж Фёдора Дмитрича уж так просить? Он и сам разве так не думает? Он и сам глубоко считает оскорблением чести казаков карательное использование их. Он и сам видел в приволжской степи безудачливых отрубников, мог описать их. Он и сам три месяца сидел в Крестах — так об этом публика и ждёт рассказа! Да свободно, о чём угодно, но хорошо если с писательским метким глазом он не упустит хоть какие-то общественно-важные эпизоды: самоуправство хоть железнодорожного жандарма или корыстные расчёты жадного попа. А ещё же, сколько лет гимназический учитель — как ярко может он вылепить гадкую фигуру верноподданного тупого педагога-монархиста, у которого, вероятно, и нечистая страсть к гимназисткам и он тайком отдаёт деньги в рост.

И правда, Ковынёв много чего видел, а о другом догадывался, и, в лад ожидаемому, всё это пишет — и гладко катится по журнальной дороге, признанный в общественных кругах, иногда и упрекаемый, что образы интеллигентов у него духовно немощны, малосодержательны. (И это — так, про себя с сокрушением знает Фёдор Дмитрич, что, хоть и сам интеллигент, — а интеллигентов он постигает не таё, не очень.) И — снова, снова о казачьей жизни, всласть.

В *кругах*—похваливают, но покупатели что-то не очень берут его книги, что-то не очень знают имя. Подойдёшь к прилавку — аж зло берёт: лежит книга Ф. Ковынёва, от солнца выгорает, от жара коробится — не раскупают! Эх, баре, ... вашу так, — выругаешься про себя: о чём душа казачья поёт — вам не надобно?

Знала Ковынёва родная станица Глазуновская, и звала «пересмешником». Знали Ковынёва донские читающие круги, числили своим бардом. А вся Россия необъятная никак не хотела знать.

И кто ж иногда жесточе других, так что согласиться невозможно, принять нельзя, — вдруг впечатает тебе твои промахи? Что излюбленная твоя медленная лирика, вот с этими самыми почками, жаворонками и старинными песнями, растянута даже до нудности? И все описания донской степи — повторяются и даже разваливают композицию? И лучшие фразы, которыми автор особенно горд, — красивая нарядная печаль с тихой умирающей зарёй; и подстреленная птица сердца; непобедимое обаяние и тревожное замирание восторга трепетной искрой, — что всё это не вершины красоты слога, но литературный мусор, который стыд-

но видеть за подписью Ковынёва? Вот странно, об этом не Короленко скажет ему, не какой-нибудь из славных сочленов по «Русскому Богатству», — но станет писать ему такие письма дерзкая тамбовская девица, его бывшая гимназистка, которой он же и толковал литературу, — Зина Алтанская.

(С гимназистками — это ведь не так просто, что только педагог-черносотенец и ростовщик испытывают к ним нечистую страсть. Да всякий нормальный педагог мужеского рода — как удержится в безразличии, в неотличии этих тридцати девичьих лиц, повёрнутых к тебе в старшем классе? Как не выделить тайной симпатией одну, другую, не подумать мельком, тетрадку от неё принимая, или мел из обелённых пальцев: а вдруг *если бы когда-нибудь*...?)

Но откуда у девушки провинциального кругозора, у твоей же ученицы, эта хватка, эта уверенность вкуса, этот уровень суждений, тобой на уроках не внушённый? Так обидит — хоть писем её не вскрывай, а походив да перечитавши — вдруг обнаружишь, что прилипли сужденья девчёночьи, уже не стряхнуть. И порой для шутки перепишешь брату, в ответ на его восхищение, брат удивляется: ну, ты к себе беспощаден! нý, ты действительно, значит, гений, если можешь так!..

Но что Фёдор Дмитрич знал верно про себя, не вышибить, укрепляла и Зина: поразительная память на всё, что *прозвучало* однажды, реплики персонажей как будто годами носятся в голове неискажёнными. Или — вытянуть кусок жизни до того изглуби, что и психологией украшать не надо, и на то засмотришься. Это — знал он за собой отлично. Знал ту истинную возможную силу, какой за пятнадцать лет литераторства в нём никто не предполагал, а он — знал. Внутреннее, тайное, удивительно сообщаемое нам едва ли не в ребяческом возрасте, отчего и путь этот выбран, по нему поплёлся. Странное дрожащее предчувствие: как высоко ты способен подняться, как душезадевательно когда-нибудь написать. И вот уже в последние годы что-то, кубыть, переливается из заготовок в формы: главные лица, и эпизоды, и целые главы — так ли? хорошо ли? Границы точной нет, всё колышется, не застынет: роман не роман, а может Поэма в прозе, и с названьем, наверно, самым простым — «Тихий Дон», потому что черезо всё растекаются — Дон да кормящие запахи любушки-земли. Да первая часть и готова, но Федя по робости не осмеливается предложить публике: ведь ещё что из того выйдет? И сразу укажут дружно, что слишком много бесцельного быта, слишком много пейзажа — а как же со свободолюбием?

Главные помехи — не супротивники или завистники, а ты сам: может быть и правда нетребовательность вкуса? Или образ жизни твой не тот? — перестать бы мотаться по России, да ходить по редакциям, да даже и газеты перестать читать, как этот полковник? Оторваться от охотливых собеседников, собутыльников, разбитных друзей и доискливых женщин?..

Так и вовсе, может быть, ничего не напишешь.

А вот спутника вагонного между тем не упустить. Но едва выйдет в коридор — тотчас распахивать записную книжку на столе и воровато скорей вписывать чёрточки его. Может никогда и не понадобится, а может в Роман ещё вставится, вперёд не знаешь. На всякий случай — и жену его в широкой шляпе, с властно-хрупкими нотками голоса. Много воли такая баба захватывает, Фёдор таких боится, визгу не оберёшься, лучше уступить. Странно, мужа одного отпускает, такие всегда вместе ездят.

Полковник — с аксельбантами генштабиста. Сильно занят своим, на Федю сперва — как в тумане. Тёмно-русая бородка не виснет, но крепкой щёткой, густая, короткая, обводная. Очень решительный (после ухода жены). Сидит, нога за ногу, совсем неподвижно, даже без мелких перемен позы, в покое, но не расслаблен (фронтовая вымучка, выучка, прокалка?), как врос в диван, и руки не суетятся — не потрёт колено, не потеребит бороду. И рот без пожимок. А лёгкие повороты головы,

мысли меняются быстро — и глаза меняются, меняются. Когда слушает — одни, вбирает, когда говорит — другие, как досылает. И по глазам наперёд видно — сейчас скажет или промолчит.

По всему направлению нынешней литературы, по настроению редакций, интеллигенции — офицеров не любили, даже презирали как исполнительных тупых слуг режима, которых натаскивают в их тёмных училищах на высокомерие, самонадеянность, жестокость. И тех, правда, что из высоких бар и стелется им незатруднительно гвардейская служба, — тех Федя тоже не любил. Но как казак по рожденью и сердцу, несчастно отведенный от службы недостатком зрения и затем без верховой езды омешковатившись, — Федя как бы мог не любить, не понимать военную службу, и втайне как не завидовать этим подхватистым дерзким людям, служба которых была раз навсегда под бой поставленная жизнь? Ещё как бы со страстью Федя и сам показаковал! Не делился он с литераторами, а — любил офицеров. И приятно было оказаться с таким в дороге, и хотелось быть с ним вравне.

Хотя, конечно, обидно: внишь ты, ничего нашего не читает. И даже никакого Выборгского воззвания не слышал, вот те да!

А что творилось в выборгской гостинице «Бельведер»! Мятежным собранием депутатов председательствовал сам глава Думы благолепный Муромцев. В кулуарах очаровательные интеллигентные женщины вскакивали туфельками на мягкие стулья и оттуда разили пламенем доводов знаменитых юристов. Разгон Первой Думы казался переломом всей русской истории, концом всего Освободительного движения. Если примириться — то никакой больше Думы не соберут, конец юному парламенту, конец юной свободе! Правительство совершило государственное преступление, и народ не простит своим избранникам, если они за него не ответят ударом на удар! После думских яростных обличений — и как же теперь смолчать? Да не словами, а—*делом* (каким?? каким??) указать народу путь сопротивления,—и он *пойдёт!* (И хотя Ковынёв как трезвый житель глухого сельского угла отлично понимал, что никуда народ не *пойдёт,* что этот крик депутатский—не давать солдат, не платить податей — оборвётся, никем услышан не будет, — и он тоже, в высших обязанностях свободы, подписал с другими горячими депутатами.) А потом возвращались из Финляндии в жáре: распространить воззвание в *миллионах* экземпляров, и в бесстрашии—всем быть арестованными тотчас в Белоострове! Но никого не тронули.

Однако и глыба народа—не пошевельнулась. С большим опозданием мятежных депутатов потом судили. Невозбранно длинные речи обвиняемых, жалкенький трёхмесячный тюремный приговор да 10 лет не занимать должностей в своём крае. И вот через десять лет полковник генерального штаба не понимает слова *выборжанин*...

И каким же манером сдвигаются? вообще сдвигаются ли массы?..

Первая Дума! Депутаты вступали в Таврический дворец не сотрудничать с трухлявым правительством, но — продолжать великое шествие революции! На железнодорожных станциях едущим депутатам кричали провожающие непримиримо: «Земли и Воли!». И когда на пароходе переезжали депутаты из Зимнего дворца в Таврический — петербургская образованная толпа с набережной кричала: «Амнистии!» (террористам). В Екатерининский зал ломились депутации избирателей, дохаживали дальние ходоки, а нарядные женщины, спустившиеся с хоров, оглаживали думцев после смелых речей и нащебетывали напутствий перед выступлениями.

И через десять лет... ?

И что же собственная скромная речь Ковынёва (в кулуарах тогда захваленная, да на публику и построенная: без высокого градуса гнева тогда не всходили на речи)? — уж её и вовсе не осталось в русской истории. А подымаясь на думскую трибуну, мнишь: сейчас сотрясётся и по слову твоему изменится... Почему именно казаков заставляют давить революционный народ? Ярмо службы, покрывшей позором казаче-

ство! Вывернутая присяга: защита отечества гипнотически подменяется подчинением начальству. Страшный кодекс — повиноваться без рассуждения! (А как же иначе может быть в армии?..) Демобилизуйте наши полки! Освободите нас от палачества! Наша старинная казачья свобода — и есть та самая свобода, которой сегодня добивается весь русский народ!

А виноградное винцо, двумя руками наливаемое из тяжёлой четверти по стаканам, не крепостью, но ароматом, но сознанием, что — своё, донское, черкасское, стёпляет с этим полковником — да дружелюбным человеком, со взглядом *нитнюдь* не тупым, способным понять и не своё, только сильно отвлечён.

— Вот и войдите, каково ж положение тех немногих казачьих... ну, пусть полуинтеллигентов, кто полистал Герцена с Чернышевским, а сам — в чекмене и шароварах с лампасами, от раннего возраста, от землепашества и станичной жизни уже неминуемо, без выбора был включён — защищать трон ото всех врагов? Есть у меня сверстник такой и земляк, Филипп Миронов, не слышали? Войсковой старшина сейчас, помощник полкового командира 32-го Донского?

— Да н-нет, пожалуй... Хотя 32-й Донской не так далеко от нас.

— Могли б вы его и по японской слышать, он очень там отличался. И сейчас. То разведки, то захваты, то переправы невероятные, просто на смерть лезет казак! То в немецком тылу взорвал мост, то одной сотней выручил окружённый полк, у него этих орденов сейчас — семь или восемь, включая Владимира. Так вот, в Шестом году послали его с отрядом давить восставших крестьян — а он возьми и сам разделил им помещичьи луга! Вот так действовал! Тогда ж в Усть-Медведицкой на станичном сборе...

...В окружной их станице Усть-Медведицкой в те упоительные дни свободы кто ж и ораторы были главные, как не Федя да Филя?..

— ...подбил второочередных казаков не мобилизоваться на полицейскую службу! И не пошли!! Тоже и Филипп был кандидатом в Думу, во Вторую, но прокурор отвёл его. И было восемь месяцев домашнего ареста. И стихало уже революционное время. И наказной атаман, тогда генерал Самсонов, в те же месяцы, что меня изгнал из области, его — простил, послал служить. Но если в тебе уже *сознание* проявилось, то объясните: к а к служить? Или народу — или царю, или совести — или присяге, ведь тут неизбежный выбор.

— Отечеству служишь — вот, значит, и народу, — возразил полковник.

Ну, так. Или не так. В общем, казак мироновской сотни получил письмо: умерла жена, а мать больна, двое детей беспризорные. Миронов пообещал ему месяц отпуска и уволил в город дать телеграмму. А казак до того затемнился с расстройства — встретил в городе командира полка и чести ему не отдал. Приказ: наложить взыскание. Филипп поставил казака под боевую выкладку на два часа, а сам пошёл хлопотать ему отпуск. Ответ полкового: взыскание недостаточно, в отпуске отказать. Ну ведь есть же такие твари с погонами, скажите?

— Увы, есть, — даже слишком просто согласился полковник. — Но и от отдания чести однажды отказаться — армия в прах.

Звякнули тормоза — а вагоны почему-то не стронулись. Паровоз дал легонько назад — и тогда уже снова мягко взял.

— Но ведь наказал же! Нет: за тяжкий проступок неотдания чести — 25 розог в присутствии сотни. Вот мы, казаки, палачи какие: нас самих дерут как детишек... Миронов пошёл просить отмены. Ах так? — пороть в присутствии полка! Ну скажите, к а к с ними служить?

С *ними*?.. С вами?..

— Побои теперь изжиты, это прошлое, — уверенно сказал полковник. — Среди офицеров это считается позор. И розги — редкость. Их вводили — как избежание военного суда.

— И Миронов перед строем полка скомандовал: «Такой-то, десять шагов вперед! Как твой непосредственный начальник я *запрещаю* тебе ложиться на эту позорную скамью! Кру-гом, на место в строй!»

Взмыв бровей промелькнул у полковника: честь отдавать надо, но *так* — тоже лихо!

— И что ж?

— Третье преступление! Значит укоренённый! Отозвали в Новочеркасск и перед тем же генералом Самсоновым снял адъютант с бунтовщика подъесаульские погоны, и кончилась служба в Войске Донском. Вот так... И герой, и прославленный, и кавалер, но ежели начинаешь *размышлять*... К а к нам, казакáм, размышлять, скажите? Ведь потрудней, чем остальным прочим? А все нас клянут...

Ковынёв потёр лоб. Пощурился в окно, почти уже безвидно, серело там.

— Вот это и мучит. Какая ж всё-таки насмешка... истории. Именно казаки. Самые непримиримые к холопству. От него бежавшие на край земли за волей. И в потомках своих воротились в Россию — эту же самую волю отымать? У той же самой голытьбы, из которой вышли? Скакать, гикать и хлестать — в самую гущу своего народа. Разврат души. И жалость. Ведь не злодеи, а: не ведают, что творят.

Не отозвался полковник насчёт холопства и воли, а о Миронове: чем же кончилось?

— А вот что Филипп придумал. Когда-то отец его, несостоятельный, справить сыну строевого коня не мог, развозил по Усть-Медведицкой воду в бочке. Так теперь и разжалованный подъесаул: на шинель без погонов нацепил все ордена и тоже в бочке воду повёз, по копейке ведро!

Картинка — для лучшей художественной страницы, а соришь вот так вагонному спутнику, толчком из груди выносит само. Столько в жизни людей, событий — какому перу за ними успеть?

— Устыдились. Назначили писарем земельного стола в Новочеркасск. Так не унялся Филипп и там: представил проект перераспределения всей донской земли!.. В кого зёрна свободы брошены — того уже не исправишь.

Как и Федю самого.

— А в эту войну подал добровольцем. И представьте же, как воюет лихо!

А свет за окном убывает. Отпадает приманчивое мелькание заоконного перемежного мира, всё меньше отбирает внимания на себя, всё больше оставляет спутников друг другу.

— Так вы, значит, коренной донец?

— Да даже отец мой — станичный атаман.

— А сами не служили?

— Сам я нет, — каждый раз со стеснением, как о позоре, признаётся Фёдор Дмитрич, — по глазам. Брат тоже, по хромоте, так что и коней не справляли. А учился я в Петербурге, на историко-филологическом. Десять лет в орловской гимназии преподавал, четыре в тамбовской.

— В Тамбове? И я там был один раз, — усмехнулся полковник. — Женился.

— Да-а? — Фёдор Дмитрич поколебался. — Представьте, я тоже там чуть не... — Перевздохнул. — Зимой я в Петербурге, но всякий год и в станице, месяца три-четыре. И — признают меня земляки, идут ко мне как к судье мировому, к адвокату. За доктора иногда. И председателем станичного кооператива.

Ещё — с казачками, холостыми под плетиём, под вишнями покатаешься. И на пятом десятке ничего-о, даже на пятом особенно. Свои казачки, родные, и земля родная и трава.

— Так и внятно мне: что деревня думает? и как понимает город? Живу в станице — всё петербургское как забываю, чувствую себя толь-

ко дончаком. И всё в мире видится: как это для Дона одного будет — хорошо или плохо? А возвращаюсь в Петербург, и с первых же часов, с первых редакционных встреч или в Горном институте, где я библиотекарем, и квартирую у земляка, — опять вразумляюсь, расширяется обзор опять до России, и уже странно, что три дня назад я шире Дона не видел и знать не хотел. Из России глядя, Дон — как шалопутный сынок. А с Дона Дон — как и не Россия.

— Как так, Дон — не Россия?!

— Странно?

Как так, Дон или какая другая река может возомнить себя не Россией? Да не то что Дон, а даже клинышек вот этот между Доном и Медведицей, пусть неудачлив, неплодороден, а тоже особлив.

Другая какая река не может, а Дон вот — может. Песни свои, сказанья свои. И степь особо пахнет. Нет, неверно выразил, что оба взгляда понимает однаково:

— Когда меня в Седьмом году лишили Дона, это горше всего пришлось. Тамбов — далеко ли? а как в ссылке.

Конечно, в стране с развитым цельным сознанием отечества быть бы так не должно — каждая река отдельно. А вот у нас...

— Чуть в Пятые годы заколебалось — и сразу это в грудях поднялось. И того же Филиппа фотография у меня есть: «За автономию донских казаков лягут наши головы!».

Нет, не понимает полковник, чуть не смеётся.

— Мы вот ваше вино допьём, это да. Хватит. Прямо с Дона едете — и земляку не довезёте.

— Да я не прямо. Я ещё по дороге... заезжал...

Пристукивание вагонное сближает со случайным человеком, вчера и завтра чужим, а сегодня как будто в чём-то и свояко́м. Подрагивающий этот переместный домик на колёсах освобождает от связей дисциплинарных, служебных, партийных, семейных, отъединяет даже от весёлого кондуктора, от пассажиров, невидимо проходящих за толстым зернистым стеклом двери. И оставляет доверчиво их только друг другу.

Можно сказать, можно и миновать. Что эти подробности спутнику? — а почему-то сладко открыться: в Козлове сошёл с ростовского поезда, вещи сдал, а сам... А сам! — помолодев на двадцать лет, с колотящимся...

— ...в Тамбов.

Так они и сейчас сидели, так ехали: Воротынцев — быстрей вперёд, лицом к завтрашнему Петербургу, Ковынёв — ещё бы задержаться, лицом ко вчерашнему Тамбову.

Тамбов! Даже только вслух назвать—удовольствие, радость губам, как имя той женщины. Город назвать — как будто её саму: Зина Алтанская!

17

Весь этот перешаг — от надоевшего безнадёжного жребия провинциального гимназического учителя к писателю, члену редакции столичного толстого журнала, Ковынёв совершил именно в Тамбове: приехал изгнанником с Дона, уехал признанником в столицу. И в Тамбове именно, сам долго не поняв, оставил... Сколько их за партами пересидело, учениц, сколькие в пелеринках протягивали руку получить своё сочинение после проверки... И никогда за все годы, хотя рисовалось... А именно Алтанская... И под самый уже конец, неудачно так.

А вечер впереди — немеряный. Поезд идёт укачивающе ровно. Двое мужчин, уже не молодых, уже достаточно знающих жизнь, на твёрдый маленький столик четырьмя локтями опершись... Отчего б и не рассказать?

— Да только откуда ж это рассказывать?

— Да, конечно, знакомств осталось много повсюду, разные там любви, как понимаете...

Думаешь одначе, выговариваешь иначе. Мужчина мужчине вслух, без усмешки, без небрежения и не скажешь... Разные там любви...

— ...Но те все забылись, закрылись. А из-за этой девчушки... — на «девчушке», кажется, голос его подвёл, — и сейчас заезжал, да. Сто вёрст не околица.

Присмехнулся снисходительно.

А в груди — всё раскалённое, непродорное, отчего весь досюдошний разговор только был отвлечением. Уж отмахнуто было, уж быть его не должно ничего! — нет, слез в Козлове, пересел на тамбовский...

Не только полковнику армейскому, никому вообще этого рассказать нельзя, да ты сам десять раз это забыл, и только теперь вспоминаешь: то коса, спустившаяся на тетрадь; то какой-то дутый чёртик из бумаги; то особенная закладочка именно в тетради по литературе; то — прыснула необъяснимо; то — с первой парты во все глаза за тобой, во все глаза. Дорого то, что это — к тебе самому, не к бывшему думцу, не к будущему писателю, ещё когда не замерли тамбовцы в ужасе и надежде, что Фёдор Ковынёв теперь их *пропишет*, — нет, к тому сорокалетнему, довольно опущенному гимназическому учителю.

И ведь — уже она отучилась, уже гимназию кончила, ушла. Совершенно случайная встреча: пройди бы один на минуту раньше или позже — и ничего бы...

— Вы в Тамбове не помните — там такая долгая милая набережная, приподнятая над рукавом Цны? А ещё повыше — односторонняя улица, деревянные домишки. И сидят на всех крылечках или у распахнутых окон — с самоварами. Попивают да на реку глядят. На лодки, на луга. И на виду у всех этих чаепитников встретились мы, остановились всего на две минуты, дольше не постоишь, сплетни сейчас же взорвутся. А она уже — ростом с меня, и прежние косы перемотаны на взрослую причёску, а лицо ещё девье, пухленькое, и ещё не мятое, не худевшее, — подбородок закинула и спросила отчаянно: «Фёдор Дмитрич! А можно я к вам сегодня или завтра—*домой приду*?»

Это соотношение «учитель — ученица» — оно и частое, однако и чистое оно. Тут столько рубежей, тут столько «принято» и долга. Но отношение к твоей гимназистке, даже и бывшей, — особенное, не такое, как ко встречной зрелой женщине: с самого начала ты уже поставлен к ней сверху вниз — и вместе с тем к тебе несётся такое юное, на первом своём переломе к женщине... И чем учитель старше, вот уже и под сорок, тем более лестно ему, тем невозможнее отказаться... Однако и с другой стороны, чем ты старше, тем ты и скованней, тем невозможнее решиться. Тем ты робче и не можешь быть интересен. Если сам себя в рассказе, со стороны, описываешь так: учитель был мужицкого склада, смирный, неэффектный, с тощими усами, жидкой бородёнкой; растерянно мигающие глазки, спотыкающийся голос, лицо плебейское, тусклое, ни одной яркой черты... На самом деле — не до того же плохо, но минутами? Но — для семнадцатилетней статной девушки?

Да потом, это всё — по незнанию затевать, с девицей юной, боже! Это сколько будет изворотов, сколько будет выкрутасов. Зачем все эти хлопоты, беспокойства, когда есть учительские жёны, есть разные встречи в разъездах, а в станице — и вдовы, и молодки, ждущие служивых? Да скоро из Тамбова уезжать навсегда... Да, кажется, повесть большую в те самые дни начинал?.. Не помещалась никакая встреча, лишняя она тебе. И потом: если девушка так начинает — это что ж за характерец? это что ж будет дальше?

— ...Две минутки протекли, ничего я придумать в ответ не успел,— ещё выше голову задрала и ушла. А через два дня по почте письмо: зачем ещё вам пишу — не могу ясно представить. Хочу вам разъяснить, что я вас *не* люблю, как вы иной раз, кажется, думали и как могли бы

подумать на набережной. Однако вы нравитесь мне как недюжинный человек, которых я встречала довольно редко... Кого она *там* могла встречать, недюжинных? Смех один... Если же это письмо разгласится — лично мне совершенно всё равно, но очень бы огорчило маму... Прочёл я — и такое раскаяние меня взяло: да что ж я за увалень? как же можно этот самый первый аромат пропускать? Пишу и я, приглашаю к себе на определённый вечер. И какой же, вы думаете, ответ?.. В тот день, когда я просилась к вам, мне было очень скверно на душе, а ни к кому бы в Тамбове! А сейчас миновало, спасибо. К тому же в вашем приглашении мне почудилось что-то фривольное, вы меня как-то не так поняли... Теперь пиши, объясняйся: что́ вы, что вы, я конечно не понял вас превратно!.. Ну, а через два месяца я вообще из Тамбова уехал. Навсегда в Петербург.

Мужчина мужчине — стыдно и рассказывать: началась бесконечная с девчёнкой переписка, из тамбовских с нею одной, и письма её сохранял, и даже перечитывал. В Тамбове для этой девчёнки одного вечера не нашёл, а из Петербурга сколько же вечеров ухлопал на ответы, когда недоработанные писательские материалы грудились. Перед полковником неловко.

Но нет, неожиданно принял:

— Письмом навёрстываешь расстояние, разлуку, возмещаешь в нежности. Письмо всегда получается ярче, сильней, чем скажешь в обычной жизни. Через шейку пера так оно и... закручивает.

— Да я сперва и не писал, адрес мой она сама нашла. Что-то, видите ли, милое, что-то близкое ей во мне... И она дорожит тем, что есть. А если бы, мол, наши отношения перешли известные границы, то было бы утеряно...

Да ведь польстит, что письма твои наполняют её «какой-то беспечной удалью». То: сейчас такое чувство к вам, будь у меня воздушный шар или крылья — прилетела бы к вашему изголовью и навеяла бы «сон золотой». Нет, при встрече не буду так свободна, мне даже боязно узнать вас ближе... И стояла как рядом — у письма, у стола, у ручки кресла, уже кажется вот склонилась, ярче видная, чем въявь, перехваченная в поясе, в запястьях, по горлу, — влекущая! Но не ехала. Только письма.

Полковник размял папиросу двумя пальцами, вышел покурить в коридор. (Всё-таки, не могут люди без любовных историй, с чего другого поважней — а всё на это переползут.)

И откуда у неё взялась лёгкость, с какою гимназистки не пишут? И почерк такой же, влетающий в душу, что-то слитное между задорным слогом и почерком — летишь, летишь, куда в этот раз? И даже на странице начертание: то между фразами просвет, между абзацами вздох, то вместо ровного обруба строчек — лесенка, будто не хватает ей наших тире и многоточий. От настроения — разный рисунок на странице, сразу понятный, едва распечатаешь конверт. Письмо прочесть — как увидеться. (Фёдор Дмитрич и это всё примечал, предполагая описать когда-нибудь.)

И — не льстила ему, не похваливала. Писала не увещательно, не упросчиво, но — гордо, свободно. Девочка, на двадцать лет моложе, досматривала в нём через письма, через очерки, через статьи, и резко высказывала, как он не привык, как при людях даже бы обиделся, а промеж них текло, никто не знал: а вы очень подлаживаетесь к обществу, в которое попадаете! а вы слишком в плену у *передовых идей,* это вам мешает как художнику! Да ваша передовая журналистика вон что выдула из Мани Спиридоновой, что ж, я её не знаю? она в нашей гимназии и училась, все знают, её из 7-го класса выгнали: классная дама нашла записку присяжного поверенного, что она с ним в связи давно. И она продолжала с ним ездить по губернии, и на частной квартире застрелила из ревности — а ваши передовые журналисты сочинили, что она идейная эсерка, что стреляла в него как в подавителя восстаний, на вокзале, и тут же её взвод казаков, дескать, изнасиловал. Так ни взвода не было, ни насилия, ни даже вокзала: сидела на коленях у любовника и ухлопала — и вошла революционной иконой, — вот до чего ваши передовые журналы доводят, берегитесь!

Сама Зинаида тоже не рисовалась под *служение,* так и лепила: никаких «общественных» чувств, никаких «высоких стремлений» на пользу прогресса у меня нет, с тем и кушайте! Высмеивала «красные кружки», но отмахивалась и от тёти своей, монашки. Бунтовала, но неизвестно против чего, а вообще. Никаких невыгодностей своих не скрывала, так и писалась, какая есть. Но и ему не прощала: жалко мне вас, во всём вы расплывчивы, ничего до конца, только брюзжите на «российские порядки», а явись вам полная свобода — вы б и не знали, как жизнь устроить. Ещё напишете ли когда настоящую книгу — неизвестно. То у неё восторг: а как, наверно, жить светло, когда молодёжь перенимает ваши мысли! То снова: в некоторые часы так жалко мне вас, вы — обойдённое в жизни нечто, хочется разгладить ваши морщины и даже поцеловать в чёрную мужицкую вашу голову. Люблю увидеть на конверте ваш мышиный почерк. «Мышиный почерк» — дерзко, неприятно, а метко, сам не замечал. И унизительно так много меткого для себя получать от девчёнки — и уже втянулся, скучал без писем её.

Вернулся полковник. В купе уже посерело, в углах и лица хуже видны, но не предлагал света зажечь — а Федя и тем более. Для такого рассказа настроение нужно, в сумеречном купе уютнее.

— Ну, конечно, чтобы такая переписка поддерживалась, иногда, сами понимаете, надо написать: *так, как к вам,*—ни к одной женщине никогда не относился, не отношусь, и сам поражаюсь: что за загадка?.. Однако звал её приехать — не приезжала. Вдруг забьётся в сомнениях: ах, ах, неужели невозможны другие отношения между разнополыми существами?.. Как будто именно *другие* ей нужны. Ну, поясняешь, Зиночка-Зиночка, если нет чувственной подкладки — люди друг другу неинтересны. Ответ: эту неделю строго рассматривала моё отношение к вам и нашла в нём ничего нескромного. Да разве на уроках вы нам о такой любви рассказывали!.. Видишь ты, уроки! то — уроки. А по-жизненному, объясняешь, всё на свете есть только порыв инстинкта. И надо брать, что жизнь даёт. Так и занозилась! — Нет! Не всё, что жизнь даёт! — а с большим выбором! Иначе столько дряни наплывёт — хорошего не заметишь! Брать всё подряд — себя не уважать! Да вы сами так не думаете, не может быть!!.. Пойди вот, объясни им, в чём мы с ними разные. Иногда, для раззадору, что ли, сбрякнешь ей, намекнёшь про какую-нибудь свою мимопутную женщину. А ну-ка, голубушка, ты со мной так откровенна — а как ты мужскую откровенность выдержишь? Всегда от женщины других женщин скрывают, а вот буду с тобой в открытую — откинешься? И что скажете? — выдержала! Не покинула писать.

Усмехнулся Фёдор Дмитрич между понимающими.

— А *их* понять — и вовсе голову сломишь, лучше не затрудняться. Заведутся три станичницы — и чего ссоритесь? — страшно мне ваших ссор. Да в сердце моём хватит любви на всех вас троих, не ссорьтесь! Над женской изломкой ещё голову трудить — пропал казак! Какая сохнет по тебе — ту и не пропускай.

Как-то подвинулся, шатнулся полковник в сумерках, — хотел сказать? Нет.

— Всё равно такой любушки не бывает, чтоб на век, всё пройдёт, всякая минует. А отдай себя бабе в руки — перекорёжит тебе всю жизнь.

А так и бывает: то пренебрёг, а то раззаришься — вынь да положь, именно её.

Зиночка! Упустим мы с вами наш праздник сердца, приезжайте! Приезжайте!

Нет! Мол, человек всегда одинок, и встретясь — мы только локтями коснёмся.

— Всё-таки приезжала раз: думала в Питере на зубоврачебные курсы устраиваться. Не локтями коснулись, один разок и грудью я её хорош-шо притянул... Нет, ушла!

И шарфик её запомнишь длинный жёлтый, как свешивался по груди. Да хоть все четыре колеса отвались и все под гору!

Уехала, но не замолчала: хоть вы и знаете женщин чуть не с пятнадцати лет — а всегда будете чужой у чужого огонька, никогда вам вашего *праздника сердца* не видать! Слишком вы осмотрительны, и желанья ваши на самом деле вялы. И фиту вашу (в Фёдоре) ненавижу, еле выписываю вам в угоду. Вам бы и грибы собрать и ноги не промочить. А идите-ка вы защищать отечество! Всех благ!

Неуговорная девчёнка, ещё и оскорбления выслушивать, тем особенно обидно, что — верные. И на войну, правда, надо: японскую пропустил — жалел, писателю — надо. А казаку — тем более.

И вот когда, наконец! Вот только когда хмуро-шутливый черноволосый кондуктор принёс и им на подносе полуведёрный, ещё поющий самовар с наставленным вверху заварным чайником. Почти уже в сумерках купе яркое самоварное поддувало полило заметным алым присветом через круговые скважинки.

Из коридора через плечи кондуктора упал электрический свет. Забеспокоился кондуктор, не испорчена ли их лампочка. Нет-нет, просто не зажигаем, — объяснил Фёдор Дмитрич. И покладистый полковник не возразил.

А сахара не приложил кондуктор, извинился, нету. Но Фёдор Дмитрич, изумляя спутника запасливостью, опять привстал наверх — и достал наощупь из корзины баночку.

— Да вы действительно всю жизнь в дороге? Как у вас прилажено!

— Люблю хозяйство, люблю порядок, — довольно устраивал Фёдор Дмитрич. — Так что, не обойдёмся ли пока без света, правда?

Ему не надо было сейчас собеседника видеть, только отвлечение. А внутри так жжёт — и света не надо.

Алые, тайные, тёплые горели скважинки самоварного поддувала — и на столике свободно отличишь стаканы, ложки, пальцы. А огоньки теплятся как из тебя самого — и выше тут, уже в черноте невидимой, — как вьётся дух её.

Полковник и тут согласен. Тоже наощупь прибавил на столик — обычная дружеская вагонная складчина, у кого что есть, вдвоём всё вкуснее. Ну и варенье у вас! Какая вишня крупная!.. Донская. У нас первее вишен — разве только виноград. Ещё — дыни.

На еде-питье отвлеченье, заминка, — можно на том историю прервать, забыть?

Но ало горят огоньки поддувала — и тревожным тоном ещё отзывается, допевает латунное туловище.

Нет, уже не остановиться. Через раз, то вслух, то про себя пробегая.

— ...Ребёнок... — (Это, кажется, вслух.)

— Ах, всё-таки?

— Нет, от другого, — размышлял Фёдор Дмитрич и волновался: правда, как же это объяснить? Сам с недоумением: — Но удивляться будете? Нисколько на том не конец. Наоборот, начало.

Что на лице полковника — не видно. То же ли нетерпеливое, сосредоточенное выражение, с которым он вошёл в вагон? Или разгладился и вот слушает?

Шестой год это всё тянется, но где же был шаг необратный сделан? И неужто сейчас — уже и ноги назад не выдернуть?..

Как и тогда на набережной, вскинув голову, но теперь другую совсем, уже окунутую и вынутую, уже освещённую знанием, смыслом, да-

же властью, не с пухлыми щёчками, но с просеченными чертами страдания, — устремлённо спрашивала как бы: *а можно — я к вам сегодня?*

— Весь Пятнадцатый год мы переписывались, ни разу не встретясь. И всё меньше у неё проскользало сочувственных или там ласковых слов, больше насмешек. А то вдруг как криком: если у вас на душе плохо — п о д е л и т е с ь! если хорошо — п о ж а л е й т е! Потому что моя душа — смятена!.. А в следующем, как ни в чём: какую книжку прочла или в театре что видела. Да ведь письма женские, сами знаете, не будешь по пять раз перечитывать, искать, где она там иголочкой между букв прошла. Они наши письма и на просвет и вверх ногами читают. А мы как читаем? — выбрал, что послаже, отжал, а письмо в сундучок. В том и по-разному мы устроены: что́ для них первой важности — мы даже не замечаем. Нам кажется — стакан разлился, для них — целое наводнение. Ей проведи пальцем по спине умело — это её сотрясает больше, чем разгон Государственной Думы. Был у неё и прежде характер путаный, а теперь и ещё испортился. Да и время военное, у всех независимости больше.

Как и обычно: оттолкнутая девушка не может же вечно крутиться одна. Того и надо ждать: какая-то компания с тамбовского Порохового завода. Там — инженер какой-то, «чистокровно чеховский», застенчивый, тоскующий, мечтательный, в общем растяпа. Жена его, узнаём от Зинаиды, конечно, «крайне бледная, мёртвая личность». Сперва за предположительное только словечко «флирт» Зинаида хлобучила ему голову. А после скольких-то поворотов сдалась, но тут же послала инженерика — открыться во всём жене. Чтобы та з н а л а!

— Прямо вот так? Самому жене открыться? — с живостью послышалось от полковника.

— Да. Самому пойти — и сказать.

— Да зачем же??

Фёдор Дмитрич и сам плохо понимал:

— Мол... не могу питаться крадеными отношениями! Чёрт его знает, этот девичий ход мысли, я говорю — мозги сломаешь, если за ним следить.

— И что ж инженер?

— Пошёл. И открылся.

Чмокнул, хмыкнул спутник.

— И?

— И так вот жили. Несколько месяцев.

— А что вы думаете? — а какой-то резон есть: честно, открыто. А почему в самом деле всегда иначе?

За тёмным окном проносился и вовсе тёмный мир, лишь с бледной дрожью от соседних освещённых окон да иногда с мерклыми сельскими огоньками.

— ...Или вдруг: а вы можете себе вообразить — бесовский полёт? Все оковы сброшены за миг полёта! — вверх? или вниз? куда бы ни пришлось — разве не завидно? Пожелайте себе пережить такое!

...Из тёмного окна девчёнка эта дальняя — как нависала, ввисала в их купе — неслась за поездом через тёмное пространство — ногами? крыльями? метлой?..

— ...Или вдруг: ау, ау! — кричит один выжатый лимон другому: как мы весело плясали, подбоченясь! а сок потёк кислый, мутно-обыкновенный, как во всех лимонах. Так стоило ли, Фёдор Дмитрич?

А Фёдор Дмитрич тебя толкал к нему, что ли? Жалко-жалко, да и Бог с тобой. Фёдору Дмитричу теперь только ребус разгадывать, почему лимон? Кончилось у них там. Жена там бледная ли, мёртвая, от истории ещё мертвей, — а мужа своего отобрала назад. А девчёнку, как с карусели сорванную, — фью-у-уть!

...Голова окунутая и вынутая, освещённая знанием и властью, на кого посмотрит... Тамбовский перрон.

Фёдор Дмитрич забыл и чай попивать, склонился над стаканом, как

прихваченный, — думал. Как будто тут, меж них двоих придуматься могло.

Огоньки поддувала умерились, запеплились.

Сидели как у погасшего костра.

— А тут: Фёдор Дмитрич! Мама у меня умерла! А я... я не могла и на похоронах её появиться... — Да почему ж? Мать-то — за что же?.. И письма уже не из Тамбова, а из Кирсановского уезда. Что, почему? Опять ребус, опять должны новые письма приходить, чтобы тебе догадаться: потому упустила смерть матери — скрывала беременность, в деревне рожала тайком.

И здесь, одна, донашивая, рожая, кормя, беззащитная, подстреленная, — именно к Фёдору она не замолкла, именно его — не стыдилась. В развалюшке с приплюснутым потолком, еле печку успевая топить, впервые сама стряпая неумело, — не старалась щегольнуть оборотом стиля или мыслью, и не разыгрывала беспечности более, и без заносов тех полоумных. Молоко высохло! Это красиво называется — внебрачная любовь, неподкупное чувство, — а вот измученная мать, слабая кроха, нет молока, смена кормилиц... Будущее России? — неизмеримо выше, согласна, но когда милый нежный ротик тянется к своему источнику жизни, а ты обманываешь, не можешь ему дать... Без прежнего хорохорства, без дерзкого тона, без подразниваний, открыто за утешением: Фёдор Дмитрич, позади ничего, впереди ничего, бестолково прожито и силы исчерпаны... И в Бога-утешителя — не верю.

Впрочем — и не раскаивается. Ни в чём. И не терзается дальней городской молвой. И — не уязвлена гордость. Только свистящий страх одиночества.

Из наружной тьмы, из вихря, через двойное стекло окна не может вступить плоть. Но — за ними вдогонку, за поездом, со скоростью их, не отставая — летит! И может быть втягивается в купе позябливающей струйкой.

Вдруг почему-то ответил ей с чувством, каким прежде никогда не писал, — с простой сердечностью, как между ними не бывало, и ничуть не испытывая ревности, что ребёнок от другого, — и в недели изменились письма Зинаиды: зачастили, перекрывались, уже не ответ на ответ. Со светом и лёгкостью писала она о своём «типуленьке», и как над ним дрожит, и смеялась, как прежде ахали все, что из такой сумасбродной девицы не выйдет матери, а она пелёнками и сосками вот занята, напевая. А когда засмеётся малыш беззубым ротиком, то даже жутко становится от наплыва счастья.

И не знает: откуда у неё столько нежности к Фёдору Дмитриевичу. И: несмотря на ваш *порыв инстинкта* (помните?), я всегда чувствовала вашу душу! Всегда знала, что через ваши мелкие увлечения вы на самом деле ищете счастья высшего.

Вдруг, неожиданным взрывом: хочу — Художественного театра!

И в дождливую августовскую ночь: сын спит, ветер толчками, стучит ведро о колодезный сруб, за окошком — тьмущая тьма, на столе — коптилка, керосин экономим, а мне — я знаю, во время войны хула, стыдно! — мне хочется света, шума, красок, музыки!.. В «Тамбовском вестнике» прочла объявление о концерте польской пианистки, я слышала её раньше, и готова хоть сейчас в Тамбов на концерт! — от нашего Коровайнова 12 вёрст до инжавинской ветки, и потом ещё ждать пересадки на кирсановский, — да нет, я шучу, я никогда же не брошу малыша.

А дальше — какой-то туманный угол, неразобранные чувства. Вслух сказать: она позвала. Но уже и сам придумал: да поехать навестить её в деревне, хоть и инжавинская ветка, хоть и на лошадях 12 вёрст.

Полковник очнулся:

— Слушайте, а почему вы на ней — раньше?.. Просто не женились? До всякого инженера?

Ну вот. Самое простое, что ты так цепко понимаешь, — а другому иди объясняй.

— Да Георгий Михалыч, да ведь... Да как же?

Неужели сам не понимает?

Бережно сдвинул к окну подносик с самоваром. Стаканы тоже. Банку с вареньем.

— Так если вам уже пятый десяток? Если жизненные взгляды ваши совершенно устоялись? Если основа вашей жизни — независимость?

И вдруг лишиться душевного простора, досуга? Ты всё время ей что-то должен? Ты — уже не ты?

Оба локтя — прочно на столик. Голову — между ладонями. И — в угадываемый четвертьсвет:

— Да как же можно быть уверенным, что из женитьбы получится? Разве характер женщины разгадаешь до женитьбы? И — что тогда?.. И если, вот, сирот вас осталось четверо, два брата, две сестры. Одна сестра больная, как говорится — с порчей. Другой — тоже никогда замуж не выйти. И младшего брата тоже ты в люди вытянул. И ради них-то четырнадцать лет уроки задавал, уроки спрашивал, удушиться можно, а какой выход? За сирот — я отвечаю? Надел и дом — неделёные, от отца. Не на казачке жениться — как же так? А на простой казачке — мне теперь?.. Да вот Петьку я усыновил, сейчас в реальном училище, славный будет казачок. Подрастёт — всю казацкую справу ему сгоношить, боевого коня, вьюк, тринадцать предметов, это кроме амуниции.

...И правда! правда! Приезжайте ко мне! Вот сюда, в глухой кирсановский угол, которого ни один писатель ещё не посетил и не опишет, и который ничем не прославится, а вы—приезжайте! Здесь Мокрая Панда — река овражная среди степи, особенное место. Фёдор Дмитрич, правда, приезжайте, вот сейчас, в сентябре! Я вас очень жду!

И как раз Фёдор мог поехать. Складывалось. Обещал.

Навстречу — испуганное письмо: сколько мы переписываемся, а как мало виделись! Как я б о ю с ь!!..

Но — не поехал, задержался в станице. Были осенние работы по саду, помогал сёстрам. Да не так, чтобы вовсе помешало, вообще-то можно было усилиться успеть. Но опять — тот туманный угол, того прежнего неназванного поворота... Какая-то заминка, или размышление... Не поехал.

...А к а к я вас ждала!.. Мне казалось, вы везёте мне обновление всего мира! Тут был вечер один лунный, такой лунный, блестела река, шелестел лес, на склонах оврага спала деревня, — а я! такая молодая, покинутая, с новой жизнью на руках, а всё равно беззаботная, — бродила, бродила по двору и даже скакала на одной ноге и загадывала: вот если б сегодня приехал! Я бы вас повела лунной просекой по лесу, тараторила бы, смеялась, мы сели бы на траву, — да почему же вы не приехали?!.. Но вы не приехали — и настроение миновало. Пишу вам с удовольствием, а видеть больше не стремлюсь. Да и ничего хорошего из этого свидания не вышло бы.

Но уже! уже какая-то сила включилась, выше обеих воль. Уже катило их друг на друга, и ничто не могло помешать. Свидание отменилось, но тут же понеслись телеграммы: что он — успевает! но не в деревню — в Тамбов! И пусть она приедет в город!

...А как же сын? Я не могу его оставить! Мне трудно оставить!.. Я никогда его не оставляла!.. Еду! Еду!!

А разогрелась, а разогрелась, а раскалилась — после родов, пусть не твоих, — какой не бывала, ни в жизни, ни на карточках, — едва узнал, встретив её. И как же был бы глуп, не приехав!

С инженером? Это и не измена была, вот удивительно. Это—к *нему* же и был путь, такой кружной.

Так не помогли никакие осторожности, ни откладывание годами:

всё равно швырнуло туда. И слушать радостно и страшно, как она, волосами, серьгами меча, над подушкою приподнявшись:

— Нет, ты ещё очень мало меня любишь! Ты ещё полюбишь меня сильней!

О-о-о, не задушило бы! До сих пор чем удачна федина жизнь была вся — никогда не завяз, не дал себя стреножить. А вот — сносило, катило с откоса, не ухватиться, не задержаться.

— Почему ты мне никогда не приказал решительно: *иди за мной!?* Из-за этого всё...

В том и захват, что сколько уже от Тамбова — а всё рядом, и рядом, и даже ещё сильней! Как тёмно-горячим брызнула — в лицо, в грудь, облила — и горело, не утихая. Вообще после женщин чуть отвернёшься — зевнёшь, забудешь, а тут... Тем опасней поддаться. Как же так? С его опытом, с его разумом, с его возрастом — и так опрометчиво не уберечься? С этой — очень серьёзно, она — до души добирается, она — его всего хочет. Нет, что-то придумать. И — написать. Спасительное дело — написать. Завтра же, из Петербурга.

Приласкивалась, объясняла:

— Это слово — расхожее, им пользуются все и по пустякам. А бывает *оно,* а бывает она, Феденька,—не часто.

Как-нибудь так: да, я увлёкся тобой, но дело в том... ио я тебе не сказал... у меня есть другая... «Другая» — это стена. От женщины ничем в мире нельзя загородиться, только другою женщиной.

Защититься — да. Но — и отдать её — грудь разрывает горячими крючьями. Под пятьдесят лет такая послана — как отдать?..

Всё реже говорил Федя вслух, потом и вовсе обеззвучнели губы его. И — слышал ли ещё что-нибудь спутник, или дремал, — не отзывался. Может, и выручил бы Фёдора советом, но — не отзывался.

Кто катится с горы — у того мало времени, его бьёт головой, затылком, подбрасывает, подбрасывает, расшвыривает руки по воздуху, — а когда они прийдутся на камень, на корень, на стебель — хватайся! хотя б глазами ие разобрав — хватайся! дальше — не будет, заборов — не будет, отлоги — не будет, ничто не спасёт!

А Воротынцев слышал из этой истории больше, чем склонен был и привык. Он невольно сманился от своего напряжённого строя мыслей — и слушал — и удивлялся.

Не — Феде, это был ещё один распространённый пример человека, напутавшего в простом вопросе женитьбы. А впрочем, уже не было к нему снисходительной жалости, но слушать его было — страшновато.

Поразила — эта женщина. Как прыгала на одной ноге... Не приведи, конечно, Бог, с такою крученою связаться, но неужели так бывает? такие — бывают? И если ещё с ребёнком чужим — и так бы притягивала? Вот эта жгучесть под бытейской коркой — она изумляла.

И вызывала зависть.

И глухое чувство упущенного.

* * *

Ты раскинула печаль по плечам,
Ты пустила сухоту по животу.

18

Вера Воротынцева была на четырнадцать лет моложе своего единственного брата, так что общего детства не было у них. Георгий кончил военное училище и ехал по назначению в полк, когда Веру лишь готовили в гимназию. В год его женитьбы она ещё не сняла гимназический передник. Она переехала в Петербург, когда Георгия уже вытолкнули из Академии в Вятку.

У них не было общего детства, и даже отец и мать запомнились их детским глазам разными: в детство Георгия — дружными, весёлыми, с ворохом надежд, с целою жизнью впереди, в детство Веры — печальными, постаревшими, разъединёнными. Разъединёнными — это тоскливей всего и очень рано почему-то понималось девочкой, хотя смысл остался загадкой для неё на всю жизнь. Надо было ей подрасти, чтоб оглянуться, сосчитать, размыслить: что её-то собственное рождение, сама она и должна была стать укрепой семьи, и даже стала — но не надолго. Будь Вера возраста Георгия — она бы вникла и поняла, чего он и искать не догадывался по самозанятости: что ж это было между мамой и папой? Как будто не взрыв, не ссора, не раскол — но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковые обращения, но что-то из них ушло? — вероятно, им двоим очень заметно, но не названо. Всё меньше они нуждаются друг во друге, опадают связи, и каждый уединён в своей покинутой горечи: как же это рассыпалось? неужели ничем не исправить? Но не выясняются причины, не высказываются упрёки, у обоих достаточно благородства, — а каждый безнадёжно устаивается в своём.

И — распалось.

Так и Застружье — разное было в воспоминаниях брата и сестры: у него — счастливыми семейными наездами, всегда полное жизни, у неё — щемящее, полупустынное, с поседевшим грустным отцом, покинувшим московскую службу. В Застружьи, таком же хилеющем, уединялся отец просторно тосковать — и одиноко, в замёте снегов, умер там.

Не было общего детства у Веры с Георгием, но вполне общей, неизменной, одинаковой в оба детства была их няня Поля — одна и та же Пелагея Степановна, от взрослого мальчика наезжавшая и вовсе уезжавшая в свою родную деревню, но тут родилась Вера — и всё милое нянино началось опять сначала. И это общее нянино осталось настолько одинаковым, общим у брата и сестры, как будто они выросли плечо о плечо. Легко, без двоенья, всегда в совпаденье вспоминалась им любая мелочь: как на окском высоком берегу стоит село Муратово — никогда ими не виданное, а видное всё до бора на обрыве, до былинки на выгоне, не тускней своего Застружья. И как там няня пряла отменный лён — расстилала на стлище, а затем чесала кудель да пряла. И как её младший брат был конокрад, за то забитый башкирами, а старший — лотовой, не такой знаменитый, как дядя их, но от московской пристани до Нижнего нигде никогда не посадил на мель каравана барж. Из их села от дедов и прадедов многие ходили по Оке лотовыми, тем и славилось Муратово, и сама няня Поля смолоду, со щеками красными, как яблоки, с весенней воды и до осенней ходила на братней барже, готовила на всех, обстирывала и пела им. Она и Георгию пела, потом и Вере — по праздникам духовное, по будням трогательное или весёлое, через четырнадцать лет всё те же песни.

Замечательно это родство — не кровное и даже не молочное, но родство через воспитание. В сознанье детей вступала жизнь этой крестьянки почти как своя родословная, часто — плотней и ярче, чем слышанное от родителей. Знали её в селе как работницу, скромницу, и хорошие женихи её брали — только к себе в дом: никому не хотелось вступать в её бедный и тянуть их со старухой и племянницами, конокрадскими детьми. Но брат-лотовой привёл ей с реки доброго жениха Ивана, не муратовского, и два счастливых года они прожили; и сын родился, и только то было огорчение, что крестил его поп Архипом, как ни отплакивала Поля, очень уж ей не нравилось.

Не ровно ли рассказывала няня или не ровно запоминалось, но вы-

ходило вперёд и в памяти заклинилось на всю жизнь будто совсем и незначащее: как няня Поля носила своего Архипушку к отцу на покос, там на заливном лугу оставались от разлива озерка-бака́лды, в них — рыбы большие, как в ловушки попаденные. Архипушка сидел на камне — и всё на воду, всё на воду смотрел. Предчувствие ли, угроза ли в том была, но особенно выговаривала няня «всё на воду», и особенно сжималось в детях.

А потом Ивана забрали в солдаты, почему-то неурочно, прежде льгота ложилась на него. И войны никакой не было, а провожала-плакала: навсегда. Год писал, обещали ему даже унтера, коль останется на сверхсрочную. Потом письма прервались, потом пришло извещение — и будто такими словами, только так говорила няня: «Иван Тихонов не́ жив». Ничего не пояснили, так Поля и не узнала никогда, почему, а — не жив.

В ту же осень Архипушка долго ходил по воде, пришёл весь мокр, зуб мимо зуба. Дала ему Поля горячего молока, положила на печку, но к утру разболелось горло, что говорить не мог. И схоронила. И тут же с последним пароходом уехала в Муром, наниматься в люди.

Отмала чаще маминого лица виделось детям лицо няни. И даже образок помнился больше не свой над кроватью, но над кроватью няни: сгорбленный старенький Николай Угодник с котомкой за плечами идет по дремучему лесу. И всякое *странствие* именно в таком виде представилось детям. (Писал Георгий: в Грюнфлисском лесу узнал он тот самый лес с няниной иконки.) Ещё висело подле образка на шёлковой ленточке фарфоровое яичко, а если на свет через дырочку в него заглянуть, то открывался Христос в Гефсиманском саду. Очень понятно рассказывала няня об Иуде, о Страстях Господних, и упрашивала маму отпускать ребёнка в церковь почаще, и на Двенадцать Евангелий непременно (сами папа и мама в церковь никогда не ходили). И своего Архипушку твёрдо верила няня встретить в будущей жизни. Не только понятная, но простая до смешного была у няни Поли вера. Варку яиц она мерила молитвами: в смятку — два раза Отче наш, три раза Богородицу. Как-то в детской, на вечерней молитве, отдала земной поклон и при том заглянулось под верину кроватку. Прервав молитву, озаботилась: «Гляди-ка, горшочек я тебе на ночь не поставила!» И с того же полуслова молилась дальше. Была ли слабость в такой простоте веры? или, напротив, сила? Для няни Поли, чем старее, все мелочи жизни проходили перед ликом Бога и ангелов, и не было, каких стыдиться.

Георгий в своей подвижности, в мальчишеском рыске по миру мало задержался на детской вере: что-то наслоилось в основанье души, а повыше сдувало ветром действий, бросков и сражений. У сестры же этот нянин мирок, эта простосердечная постройка так и сохранилась, так и носилась в груди. Ей-то досталось много больше брата прочесть книг, натекало в голову много противоположных теорий, течений, но тихий тёплый нянин заклад оставался ими всеми не уязвим, как будто даже им не сокосновенен.

Сроднясь с семьёю Воротынцевых, очень обижалась няня, если её называли «прислугой» (хотя, в отлику от городской горничной, не звала папу с мамой по имени-отчеству, а только «барин» да «барыня»). Мать, когда сердилась, говорила подросшей дочери, что Поля глупа. Веру это огорчало, она не видела так. С терпением и сочувствием читала она няне письма из деревни с длиннейшим перечислением поклонов и приветствий и под нянину диктовку писала такие же в ответ. Няня и не живя в родной деревне — жила в ней. Из нажитого, из подарков (каждое Рождество, Пасху, в день Георгия Победоносца и на Веру-Надежду получала она от каждого из родителей по золотому), накупала и слала подарки своим, хотя как будто и не осталось там никого

роднее племянниц. Её помянник, подаваемый в церкви, содержал три-четыре дюжины имён, как образованная женщина никогда не напишет, — совсем другой охват сродства и попечения. От повзрослевших детей иногда отпрашивалась няня Поля съездить в село. Долго собиралась, навязывала тюки подарков, брала извозчика до пристани, но не садилась на пароход, как все, а на дебаркадере в каморке сменных лоцманов ночевала ещё несколько ночей: как в юности, ставила им самовар, готовила обед. Подплывал же муратовский лотовой — с ним отбывала.

Папа и мама умерли, Георгий был как вырванный, перекати, а незамужняя Вера так и осталась с нянею. Перед войной вместе с нею, беззубой, а всё певучеголосой, стронулись из Москвы, и повезли воротынцевскую старую мебель в Петербург, где устроилась Вера библиографом Публичной библиотеки. И что ещё можно было назвать *домом* Воротынцевых (в согласии с сестрою брат охотно тоже называл, только от жены тайком), то и были теперь они с нянею в трёх комнатках на третьем этаже, на углу Итальянской и Караванной, у Михайловского манежа. В одни окна наискосок — Фонтанка, в другие — площадь с памятником, а летом, если высунуться с подоконника, то по изломанной Караванной в конце проглядывает Аничков дворец. Эту квартиру Вера так и нашла, чтобы близко ходить в библиотеку, всего десять минут приятной прогулки: или обогнуть по Фонтанке, чтобы вдоль воды, а потом по Невскому, или по Караванной, но обычно шла Вера мимо Благородного Собрания, сворачивала на Екатерининскую, два шага — и уже у себя, под полусумрачными сводами Публичной. И меж вечно тихих полок, глушащих шаги, таким же вечно тихим шагом, тоже узкая, тоже в сером или тёмно-коричневом, уйти в уголок за свой стол (окно на Александринку), и по два часа без единого движения, не поведя плечами, только пальцами книгу перелистывать. Никто не внушал Вере, а природны были ей бесшумные, нерезкие экономные движения. Так же и почерк (свой, кроме обязательного библиотечного) был у нее из разборчивых стянутых буковок, наклонённых не более, чем наклоняешь голову при письме, бережливый, ни лишнего прово́да пером, — писать-то приходится больше, чем говорить. Так и текла верина жизнь — днями, а то и вечерами, и даже целые недели складывались так, что лишь этот уличный отрезок она прошагивала четырежды или шесть раз в день, остального Петербурга даже не видя.

Живя за нянею, не испытала, почти не замечала она и того нового, ухудшенного Петрограда, каким он стал особенно к этой осени. В кварталах, где она ходила, хвостов не было, а недостач на столе Вера тоже не замечала бы рассеянным взглядом и ртом, если бы няня не охала, не ужасалась настойчиво: что сколько она себя помнит, и в Муроме и в Москве, и в ту войну и в бунтовское время, — повсюду купи, что тебе любо, и ступай, — а чтобы друг за дружкою, в спины уставясь, час и другой, да гляди под дождиком? да ещё не всё надобное и купить? За пшеничными булками постаивай, за молоком постаивай, да оно всего дорожей, хорошо не дети у нас. (Чего хорошего! куда б светлей с детьми! да что-то Верочку, ангела, не берут.) Сахарок уже был совсем облизнись, бери конфеты или мёд, а теперь, сла-Богу, по талонам. Когда пришла телеграмма о егоркином приезде, няня и всплеснулась, и заплакала, и зарадовалась, но пуще того и поперёд того заколотилась: Царица Небесная, муки-то ситной горсть, не купить, а шанежки беспременно испечь ведь! — Ну, пеки ржаные. — Нет уж, чего скажешь! Аржаного он и в окопах наглотался!

Брат! С начала войны ни разу не виделись. И писал не часто. Но даже в солдатских полузакрытках, даже в нескольких фразах оставалось всегда искреннее, дружеское, незатаённое, обоим несомненное: что ни даль, ни время не сделают их чужими. И отзывно к этому чувству и с двойным тем же чувством своим, Вера никогда не обижалась и не ждала ответов, а сама, в месяц раз или два, обстоятельно писала,

как рассказывала. О няне, о себе — мало было что, не менялось, зато о Петербурге, о театрах, о диспутах, общественной бурной жизни, и о многих известных личностях, не минующих Публичную библиотеку, а в ней — библиографа Веру Михайловну. Вера гордилась знакомством со многими из них, запоминала их суждения, обрывки бесед, сравнивала или оспаривала — и с большой охотой делала это в письмах к брату. Ему негде почерпнуть, а полезно и всегда нужно, он хотел знать пошире, но как-нибудь налету ухватить, не теряя времени и не садясь штудировать. Тем более в окопах в пустой тоскливый час такие письма с частицей петербургской жизни не могли не быть ему интересны. И этой осенью, уже предчувствуя свою поездку, он тоже черкнул ей из Румынии, что если будет в Петрограде — хотел бы познакомиться с кем-нибудь интересным из деятелей, на её усмотрение.

И она подготовила ему такую встречу. И после живых ему писем Вера сегодня, идя встречать брата на Николаевский вокзал, не ожидала испытать ни минуты стеснения, должна была встреча сразу быть простой, как и неотвычной. Если...

Если только он приедет без жены. По телеграмме неясно.

С Алиною Вера виделась очень редко, и не переписывались они совсем, кроме нескольких в год поздравительных. Никакой ссоры между ними не было (как, впрочем, и дружбы, а Георгий вечно мечтал их сдружить, не соглашался на расчуждение), но присутствие Алины сейчас охолодит, напряжёт, испортит всю встречу. Даже не отдельно Алина испортит, но их качество мужа и жены вместе. При нём Алина лучше, не так резка, и помолчит. Но и Георгий при Алине — всегда не тот, хотя кажется о том не знает сам, хотя кажется и не оглядывается на её суждения, и не подтягивается к её контролю, но сразу: смеётся — не так беззаботно, рассказывает — не так увлечённо, и всё, что высказывает,— мельче, чем ждёшь, чем он умеет.

Георгий мог нестеснённо жаловаться сестре, что голоден или не выспался, обезденежел или пал духом, — но никогда не открывался в своём семейном. Во всех других областях жизни друзья и близкие способны остеречь, посоветовать, помочь, и сам человек незатруднённо спрашивает их. Но в этой заколдованной запретен совет, не приняты предостережения, нетактичны попытки что-то объяснить человеку о нём самом. В этой единственной области человек и сам себя гордо обрекает, и все окружающие обрекают его обходиться всегда лишь своим недовидением и своими неуверенными движениями — как игрока в «опанаса» с завязанными глазами. И какая ты ни сестра любимая, хоть за ухо тебя потяни, хоть чёлку натрепи, а суждений твоих *об этом* — не спрашивают, не ждут.

Гимназисткой услышав о женитьбе брата, Вера радостно взволновалась, она рвалась скорее видеть Алину, и полюбить как старшую сестру, — уж если мой, такой, брат выбрал — должна быть всех милей!

Но с первых встреч — откинулась, и даже растерялась. Что-то не так, что-то не то, а даже сразу не назовёшь.

Как-то позже сказала ему: ведь женитьба — бесповоротнее перевода из полка в полк, бесповоротнее даже может быть военных команд на поле боя, — он очень смеялся...

И своего брата единственного, яркого, умного, смелого, вот так отдать — чужой, придуманной? да в любовь ли? И хотя б твой неусыпчивый взгляд уже видел потом всё отчётливо — а братовы глаза не видят. А — мама?

Угадала девочка, что маме тоже не нравилась Алина. Но мама и раньше того, ещё не тридцатилетнему капитану, не бралась ничего советовать такому решительному сыну: Егорка с годовалого возраста уже всегда точно знал, чего он хочет, чего не хочет, никакой игрушкой не отвлечь.

И потом — такт, воспитание. Мама — не могла сказать.

А мужского влияния вовсе не было, воля отца не чувствовалась никогда у них, и советы его не звучали.

Как это устроено? Почему ж Егор сам не видит — ведь смотрит ближе всех, дольше всех, пристальней всех, — и не видит?!

А в каждом соединении двоих — свои тайны. Ты видишь внешнее, и оно плохо, но может быть внутри между ними, напротив, отлично? И если это само держится год, три, пять, вот уже десять, — то значит и хорошо, не тебе судить.

Да хоть и судить, что толку? Венчанный брак.

— Не опаздывает? Благодарю вас.

Раскрыла зонтик, хотя дождь не шёл. Нависал, но не шёл. Петербургское.

Не девушке судить о семейной жизни — но и как же не судить, наблюдая, наблюдая? Когда подлинно счастливо, так видно всем, — как у Шингарёвых. Воплощённое счастье, без биенья тонов, всё в совпадении. И пятеро детей — как будто не груз, а упятерённая радость, поддающая сил. И через своих пятерых — обширное сердце Андрея Иваныча ко всем детям, где б ни увидел, где б ни знал, как и все шингарёвские чувства — обширные, щедрые.

А у Михаила Дмитрича — не так же ли наглядно? С его ровным, но и скорбным светом. Его силы никогда не могли проявиться во всю полноту — и видно же отчего: от женитьбы (связи), как железной сетки, накинутой на него.

Самонакинутой. Такой крупный, здоровый, естественный человек — и полубезумная эфироманка. Ещё и с девочкой от кого-то. И — любит?.. И любит.

Как судить, сама не перейдя порога?..

А перейдя — уже будет поздно.

Но пока видишь таких, как брат или Михаил Дмитрич, нельзя не верить, что и других же таких по земле насеяно. И как можно «лишь бы», «а, как-нибудь!» — отдать свою жизнь? В раз один — навсегда? Не настоящему?

Нет, дождь не пошёл. Со сложенным зонтиком, с сумочкой на запястьи — вдоль перрона.

«Лишь бы» — это последнее малодушие.

Если знаешь в себе сердце собранное, как буквы почерка.

Такое место в жизни у неё, так повезло: работать в лучшей русской библиотеке, для лучших русских читателей — думцев, публицистов, писателей, учёных, инженеров. Лучшая судьба женщины — тихо работать для тех, кто *ведёт*.

Но в лесу, в пустыне, в пещере — где угодно легче держаться, чем в полноте сочувствующих людей. С тобой консультируются, рассыпаются в благодарностях, принимают каталожные карточки из рук, а в глазах так и чудится сожалительный приговор. Да может быть вовсе нет, но чудится, что про себя отсчитывают, как в тебе молотками гулкими: двадцать четыре! двадцать пять! двадцать шесть! И никому не объяснишь, не топнешь: *сама* не иду! отстаньте!

И даже с братом черта: об этом — никогда вслух. Даже с братом нельзя, сцепившись руками: брат! поддержи, убеди, подтверди! Ведь стоят же в осаде?!

Паровоз. И белый парок, резко заметный в сером дне. Гудит о подходе.

Ожидая своей предназначенной грозной тяжести, счастливо стонут перед локомотивом гибкие крепкие рельсы.

Сколько ни стой, как ни угадывай, а в последние секунды к нужному вагону всё равно полубежком. А взглядом — быстрей, по череде окон — вот он, вот он! — в вагонном проходе на зеркальное стекло упав ладонями поднятыми и ими же хлопая по стеклу — уже видит!

смеётся! Бородка как будто длинней и гуще. И загорел-обветрел, не петербургская кожа.

Один?.. Кажется, один. Как хорошо!

Из вагона выходят люди медленно. Корзины какие-то, большая бутыль в оплётке.

То ли брат! — малый чемодан в левой руке, правая свободна честь отдавать, и такой же прямой, в движениях быстрый, лёгкий, — поцеловались! Сошлась с его бородой пожестевшей и не отрывалась. Обхваченная рукой и чемоданом.

Да разглядеть тебя, брат!! Да целых же три года!.. Сколько раз мог быть убит, ранен, — а ведь нет, не врал?

— Серьёзно — ни разу, правда. Там заденет, здесь, по пустякам.

Такой же поворотливый, а как будто кора на нём. Коричневая твёрдость войны.

— И всегда будешь такой?

— До генерала, — смеётся. — Значит, ещё долго.

Гладил — по шапочке, на висок, по щеке, плечу.

Как и ждала: от самой вагонной ступеньки ни натянутости, ни незнания, будто и видятся часто. Пошли плотно под руку.

— Ну как няня? Сорок два колена родословной по Матфею — так и не одолела? Так же в книгу смотрит, а читает по памяти?

— Да, только теперь через очки. И — к телефону сама подходит. И с большой важностью умеет заказать барышне номер. Сегодня тебе шанежек напекла. А ты-то как? А — Москва как? — (С усилием:) — Алина?

— Я дней на несколько.

— Это что ж, рукоять золотая, Егорка? Что тут написано? «За храбрость»?

— Георгиевское.

Брат — прежний: няня — хорошо, шанежки — хорошо, но рассиживаться сейчас не будем, день — понедельник. Письмо Гучкова Алексееву, не слышали про такое?

— Давно! Да весь Петербург читает. Да все эти списки через нас и проходят. И письмо Челнокова к Родзянке, и...

— Через библиотеку? Надо же! И имеют успех?

— Да какой! До дыр читают. Целые рукописи даже — о продовольственном кризисе, о войне... Разные *взгляды*... Куда попадут в учреждения — там размножаются. На пишущих машинках, на ротаторах. На гектографах. Любители — от руки переписывают. Нам теперь цензура нипочём...

Поражён. Головой трясёт.

В живой мелькающей суете вокзала Воротынцев, глядя на строгомилую лучистую сестрёнку, чья сборчатая коричневая шапочка набекрень была ему до носа, вдруг испытал — праздник приезда! свободу движений! свободу распоряжаться собою! И сколько можно повидать за эти дни! А пока не упустить:

— Скажи, тут на вокзале будка телефонная — где?

Все решения принять уже на вокзале, не ошибиться в направлении, куда ехать сначала.

Зашёл, вызывает.

— Могу я Александра Иваныча?.. А сегодня позже?.. И завтра не будет?.. Но вообще-то он здесь?.. Спасибо...

Озаботился.

— Нет, Веренька, домой я сейчас не пойду, — сузил светлые твёрдые глаза, соображая. — Мне поручений навешали, Главный Штаб. Да ведь и тебе, небось, на службу?

Когда ей не надо? Она и сейчас еле ушла.

— Приду к обеду. Когда?

— А вечером? Ты всё по своей программе? Или немножко и по моей?

— А что бы ты?..

Наглядываясь на брата, сама с обычной скромной тихостью:

— Ты ведь хотел с кем-нибудь знакомиться? Я о твоём приезде сказала Андрею Ивановичу Шингарёву. И он захотел тебя повидать. Просил посетить.

— Шингарёв? — удивился и задумался Георгий. — Тот известный кадет? Член Думы?

Не погоняя речь нетерпеливой мыслью, как брат, но с повторённой той же неуклонностью:

— Сказать о Шингарёве «кадет» — ничего не сказать. Он — единственный в России. Наше чудо. И любимец Петербурга.

Руку в тёмной лайковой перчатке положила на шинельный отворот, как и не коснулась:

— Ты увидишь, это совсем даже не политик, нет! Это — человек, вот нарочно сделанный по всем образцам русской литературы.

— Шингарёв? — вспоминал брат. — Это который перед войной выступал против военного бюджета?

— Ну, сейчас совсем другое! Теперь он — даже председатель думской военной комиссии. И — в Особом Совещании по обороне. Он очень старается следить, что на фронте.

— Это хорошо. Ну, зайдём кофейку выпить, что ли?

Зашли в буфет, сели.

— Знаешь, этот горящий идеал? С ранней юности уже *виновен* перед народом. Блестяще кончил естественный факультет, оставляли на кафедре ботаники — ушёл искать *правду жизни*. Потом кончил и медицинский: считал, что именно врач лучше всего может сближать народ и интеллигенцию. Знаешь эту интеллигентскую крайность: ничего не сто́ят ни наука, ни искусство, ни политика, если не служат народу?

Да какая же крайность? — выражало лицо брата, с напористым наклоном. И военное дело — тоже ведь?..

— Пошёл врачом, без земского жалованья даже. От дифтеритного ребёнка едва не умер. Собрал статистику «Вымирающая деревня» — жуткая книга. Два издания, 901-го года, — и до сих пор её спрашивают. Он просто знаешь кто? Народный радетель. Такой партии в России нет, но во всех партиях такие люди попадаются.

— Да? — подсмеялся Георгий. — А я-то подумал, не хочешь ли ты меня в кадетскую партию обратить?

Засмеялась с повинной головой, нигде не выбитые притянутые гладкие волосы:

— А вот — даже националисты так одобрили его, что сняли своего кандидата, и председательство в военной комиссии уступили Шингарёву. А просто, понимаешь, он любит Россию и любит людей, и все это чувствуют, даже в Думе. Враги кадетов ненавидят Милюкова, Родичева, кого хочешь, только не его. В кадетской фракции в шутку зовут Милюкова «папой», а Шингарёва «мамой»: у того логика, а у этого — чувство, искренность, убедит скорей, где и Милюков не сможет. Так он умеет... улыбка такая... Он, знаешь, до того отзывчивый, даже от книги, вот от Диккенса... Говорит: понимаю, что глупо садниться от книжного горя, а почему-то...

— Ах, Ди-иккенс! — кивал брат. — Ты ведь и сама над Диккенсом полдетства проплакала. — Смотрел на неё — сиял.

Соображал, и кажется благоприятно:

— А зачем ему я? Меня он — зачем?.. А сколько ему лет?

— Скажу точно... Сорок семь.

— Ну, раз старше меня, то иду.
— Честно говоря, он про тебя знает, что ты — опальный, за правду пострадал.
— Ну вот! Рассказала?
— Да он и раньше знал.
Что ж, пока нет Гучкова — отлично и к Шингарёву. Всё равно начинать Петербург... Разным духом надо подышать, это впрок.
— А как: с глазу на глаз? Или званый вечер?
— Да какой званый вечер в понедельник? Девиз: не жить лучше народа. Никакой никогда прислуги. Бутерброды если будут — то с чёрным хлебом, не с ситником. Да картошка.
— А ты со мной?
— Звали.
— Веренька, да что ж мы сидим? Пошли, нам же по дороге, я тебя провожу. Ещё расскажешь. Про кадетов мне побольше.
Уже на Знаменской площади колотнуло сердце: тоже своё, не откинешь. А повернули на Невский — эта прямь! эта даль! даже в пасмури свинцовой под аспидным небом. И, неясно, шпиль адмиралтейский — как награда в дальнем пути.
Вот так, далеко и прямо, перед Воротынцевым открывалось теперь: действовать!

(Продолжение следует)

ПОЭЗИЯ



НОВЫЕ СТИХИ

Виктор **КОЧЕТКОВ**

Ссыльная деревня

В тридцать третьем селение это рождалось,
топорами стучало на сходнях причала.
В сорок третьем уже никого не осталось.
Заполярная тундра опять задичала.

Не пропавшая в дебрях веков Мангазея,
торговавшая белой пушниной и хлебом,
а селение ссыльных — подобье музея
под открытым, безоблачным северным небом.

Задичала. Не помнит о странном народе,
привезенном сюда под суровой охраной.
Лишь в заглохшем — с ладошку мальца — огороде
по весне еще всходит борщевник багряный.

Здесь привычные вещи себя забывают,
погружаясь в беспамятство ночи недоброй.
Занавески в открытом окне дотлевают,
и кунгас обнажает зеленые ребра.

Ничего не исчезло за долгих полвека,
но тоской напиталось тяжелой и древней,
не согрелось ни раз под рукой человека
ни железо, ни дерево мертвой деревни.

Меж полярных березок, обглоданных, хилых
лиловеет стекло ли, глухая вода ли...
Все угрюмо молчит. Лишь кресты на могилах
все кричат и кричат в равнодушные дали.

* * *

Где научилась ты,
Русская Проза,
мнение сильных оспаривать дерзко?
Где похвале предпочла ты угрозы?
— На окаянной земле Пустозерска.

Русской Поэзии гордое слово,
где утвердилось
в высоких правах ты?
Где постигало уроки былого?
— На топчане полковой гауптвахты.

Где ты, великая Русская Драма,
Освобождалась от чар властелина,
правду ему повторяя упрямо?
— В гиблом,
железном мешке равелина.

Литература великого века,
где обретала ты правду и силу?
Где узнавала ты суть человека?
— На безымянных проселках
России.

* * *

В полдневный жар в долине Дагестана
с свинцом в груди лежал недвижим я.
М. Лермонтов. «Сон»

Не сон, а явь в горах Афганистана:
охваченные мстительным огнем,
душманы гульбеддиновского клана
его казнили августовским днем.

Веселый парень из деревни вятской,
девятидневный новичок войны,
с кровавою налобною повязкой
стоял он возле каменной сосны.

Глядел в чужие дымчатые дали,
короткой жизни подводил итог,
а моджахеды яростно рыдали,
протягивая руки на восток.

И тени зла сменяли тени страха
на пыльной коже смуглого лица.
Они просили гневного Аллаха
простить их за распятье пришлеца.

Из-за рядов неторопливо вышел
и приказал хозяин-феодал:
— Отрезать ему уши —
чтоб не слышал,
глаза повыжечь — чтобы не видал.

И распластали грудь ему ножами
и вырезали сердце из груди.

И как шакалы палачи визжали:
— Вовек, гяур, сюда не приходи!

Одну из веток дерева пригнули,
подвесили солдата на сосне.
А сердце в пропасть ближнюю
швырнули
и сгинули в вечерней тишине.

Сосна его растерянно качала.
Немела ночь. Ни звуков. Ни огней.
А сердце все настойчивей стучало
из-под неостывающих камней.

И все ему, бессмертному, внимало —
и тот орел, что вымерял простор,
и тот овраг,
с прожилкой речки малой,
и тот кишлак, что прятался меж гор.

И травы, омертвевшие когда-то,
очнулись вновь
и дружно в рост пошли.
Как будто сердце русского солдата
вдруг стало сердцем
выжженной земли.

Валентин СУХОВСКИЙ

* * *

Эх, гужи завяжи
Да хомут засупонь, —
Поплывет среди ржи,
Словно утушка, конь.

Будут в блеске рос,
Как огонь, гореть
Обода колес
И на сбруе медь.

С ворожбой дорог
Сердце слюбится,

Запоют у дрог
Сладко ступицы.

Да и ось не вкось,
И овес — в коня.
Только вожжи брось —
Удила звенят,

Шаркуны бренчат,
Колокольчик — в звон.
Эх, тоска с плеча,
Грусть из сердца — вон!

* * *

Когда мне тяжело,
Теснят и давят стены,
Я вспомню вдруг село
В надежде перемены.

Когда болит душа,
Не находя простора,
Я вспомню, как, круша,
Ломает лед Печора.

Когда обидой злой
По нервам пилят рваным,
Я вспомню, как смолой
Сосна врачует раны.

Тайга после огня
Зазеленеет снова.
Но почему меня
Испепеляет слово?

Рев города и гарь
Перенесут березы,

А вот меня, как встарь,
Обида бросит в слезы.

Бегу от дискотек,
Из тесноты и стада.
Ведь я же человек,
Мне воли, воли надо!

Границы нет ветрам,
Не давит небо кроны.
И птичьим голосам
Не писаны законы.

И у душ моей
Своя любовь и вера.
И плети рабьей злей
Чужой закон и мера.

Кто насаждать посмел
Неперспективность всюду?
Ужели есть предел
И красоте, и чуду?!

Матица

Основательно, без сумятицы
Избу ставили на века.
Узнаю по надежной матице
Богатырскую крепь мужика.

Глубь веков Руси неисчерпана
И не все врагом сметено...
То, что прадедом предначертано,
То исполнить мне суждено.

Двести лет стенам,
триста — матице,
А стоит изба, как дворец!
И пока я жив, не раскатится
Ни один золотой венец!

Постучу по ним — только гул идет.
Корабельный кондовый лес.
Возвратится к нам еще
в свой черед
Эра праздников и чудес.

В божьем храме люд,
каясь, падал ниц,
В ратном поле русич суров.
Возродим еще лихость маслениц
И восславим кров на Покров!

Со своей избы, с места отчего
Нам крестьянский лад возрождать,

С милой родины, славной вотчины,
Где холмов и рек благодать.

Частослойное и кряжистое,
Отстоявшее долгий век,
Угадал душой своей чистою
Это дерево человек.

И тесал топором ладно матицу
Он, кормилец Руси, сам творец.
И пока я жив, не раскатится
Ни один золотой венец.

Я люблю избу неоклеенной,
Чтобы дерева видеть цвет,
Чтоб душою вбирать рассеянный,
Заповедный, целебный свет.

Я люблю избу вековечною,
С красотой неразменной в цене:
С Богородицею сердечною
И Георгием на коне!

А без них и душа растратится,
Не спасется, хоть голоси...
В отчем доме стою под матицей,
Думу думаю о Руси...

ВЛАДИСЛАВ АРТЕМОВ

Волга

Я бы спел-придумал песню, песню долгую-предолгую,
Да печаль меня сгубила, да сожгла меня туга —
Как увидел за рекой, за той ли Волгою,
Заливные, многоцветные, весенние луга.

Приходили, потрудились люди сильные да смелые —
Стали топкими, пологими крутые берега,
Получи ты, царь морской, дары несметные,
Заливные, многоцветные, весенние луга.

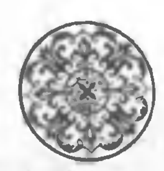
Получи поля широкие, с закатами, всё — ратные,
За холмами, под волнами скрылась Русская земля,
Получи ты, царь морской, подарки знатные —
Золотые те, ржаные те, пшеничные поля...

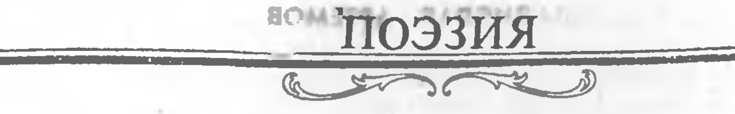
По курганам да погостам память срублена и скошена,
Раскурочены могилы, гробовая тишина.
А земля моя с размаху в воду брошена
И утоплена живьем, как та персидская княжна.

Облака светло и грозно в небе лепятся,
И торжественно сияя над последнею бедой,
Церкви белые поплыли, словно лебеди,
Над широкою, глубокою, бескрайнею водой.

Захлебнусь, зальюсь тоскою душною и тесною,
А в глазах моих — туман да пелена,
Я промою их водой, водою пресною,
Возвратится она в реку — солона!..

— Что вздыхаешь, что глядишь на землю Русскую,
Видно, долго не бывал в родном краю?..
— Угости меня, паромщик, папироскою,
Ничего я здесь, отец, не узнаю.





Отечественный архив

Михаил Кузмин (1872—1936) один из самых значительных поэтов «серебряного века» русской поэзии. В первой четверти XX века его имя в сознании любителей поэзии стояло рядом с именами Ахматовой, Волошина, Брюсова, Цветаевой, Бальмонта.

В конце 20-х — начале 30-х годов поэт и его творчество были вытеснены из литературной жизни давлением антикультурной идеологии тоталитаризма. Последняя поэтическая книга М. Кузмина вышла в 1929 году. С тех пор он не издавался. В конце прошлого года — через 60 лет безвестности — в Ярославском книжном издательстве вышла книга избранных стихотворений замечательного русского поэта. Мы публикуем из этой книги два стихотворения, ранее не известных отечественному читателю.

МИХАИЛ КУЗМИН

ПРОЖИТЬ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕРЫ И НАДЕЖДЫ

* * *

Не губернаторша сидела с офицером,
Не государыня внимала ординарцу,
На золоченом, закрученном стуле
Сидела Богородица и шила.
А перед ней стоял Михал-Архангел.
О шпору шпора золотом звенела,
У палисада конь стучал копытом,
А на пригорке полотно белилось.

Архангелу Владычица сказала:
— Уж, право, я, Михайлушка, не знаю,
Что и подумать. Неудобно слуху.
Ненареченной быть страна не может.
Одними литерами не спастися.
Прожить нельзя без веры и надежды
И без царя, ниспосланного Богом.
Я женщина. Жалею и злодея.
Но этих за людей я не считаю.
Ведь сами от себя они отверглись,
И от души бессмертной отказались.
Тебе предам их. Действуй справедливо.

Умолкла, от шитья не отрываясь.
Но слезы не блеснули на ресницах,
И сумрачно стоял Михал-Архангел,
А на броне пожаром солнце рдело.

«Ну, с Богом!» — Богородица сказала,
Потом в окошко тихо посмотрела
И молвила: «Пройдет еще неделя,
И станет полотно белее снега».

1923—1933

Римский отрывок

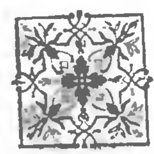
Осторожный по болоту дозор...
на мху черные копыт следы...
за далекой плотиной
конь ржет тонко и ретиво...
сладкой волной с противо-
положных гор
мешается с тиной дух резеды.

Запах конской мочи...
(недавняя стоянка врагов),
разлапая медведицы семерка
тускло мерцает долу.
Сонно копошенье полу-
голодных солдат.
Мечи блещут странно и зорко
у торфяных костров.
Завтра, наверно, бой...

Смутно ползет во сне:
стрелы отточены остро,
остра у конников пика.
Увижу ли, Нико-
мидия, тебя,
город родной?
Выйдут ли мать и сестры
навстречу ко мне?

В дрему валюсь, словно песком засыпан в пустыне.
Небо не так сине, как глаза твои, Октавия, сини!

1917. Июнь.



КРИТИКА



ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

МЕТАМОРФОЗЫ «НОВОГО» МЫШЛЕНИЯ

Памяти Федора Александровича Абрамова

> ***...Аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда.***
>
> ***А. С. Пушкин.***

Поразительны дружное согласие и гражданская страсть, с какими изобличает ныне историософствующая публицистика и литературная критика наш многострадальный народ в несчастиях и бедах страны. Любопытна метода, исходная посылка или приступ к делу, с которых начинают уверять нас в нашем же, выражаясь ученым языком, субстанциональном, онтологическом рабстве и тысячелетней духовной нищете и невежестве. «Автор этой статьи, рожденной «в нетерпении», — доверительно сообщает доктор философских наук, профессор М. П. Капустин читателю, — отдает себе отчет: во многое следовало бы влезть поглубже, посидеть в архивах, но на это уйдут годы, время же, эпоха не ждут».

Подобные признания — не новость в отечественной истории, ибо нам всегда везет на всякого рода знатоков и пророков, на короткой ноге находящихся с любым временем и любою эпохою. Понятно и нетерпение автора: эпоха никак не может обойтись без его указаний и сдвинуться с места, поскольку она, эпоха, слишком отягчена бременем прошлого, и надобно несколько облегчить ее ношу и просветить ее насчет вопроса «От какого наследства мы отказываемся?», открыв ей глаза на истинное понимание сути вещей. А суть вещей, как очень популярно, доступно, а главное — наглядно объясняет дело М. П. Капустин, заключается в том, что в недавнем прошлом «весь народ в целом играл роль пионера, а правительство — пионервожатого». Вывод этот подсказан философу романом В. Дудинцева «Белые одежды», «замечательно глубоким социально-историческим произведением», вернее, одним из его персонажей, признавшимся на старости лет с молодою непосредственностью в глазах и наивностью в разуме: «Я многое стала понимать... Мы ведь играли тогда в детские игры. Это были... детские игры, продиктованные твердым пионерским идеализмом».

Откровение литературного героя, путающего трагическую историю народа с пионерскими играми, — весьма хилый аргумент для тотального историко-философского обобщения, но что делать, если «нелепо ожидать», по Капустину, правды от народа, который в свое время кричал «За Родину!», «За Сталина!», потом «ошеломленно молчал, потом...» (тут философ уже не находит слов и многозначительно отделывается от читателя отточием). Что делать, если «художественное познание... сталинского «средневековья» — идет и набирает силу; а вот философское... пока еще не начиналось»?

Статьи М. П. Капустина («Октябрь», 1988, №№ 4, 5), надо полагать, — первопроходческая попытка философского осмысления механизма власти и ее связей с народом (пионервожатый — пионер), тем серьезнее мы должны отнестись к ее автору, пусть и тяготеющему к некоторой фельетонности письма: вероятно, он, смеясь, как и положено по К. Марксу, расстается с прошлым, не подозревая, однако, о встрече с ним в будущем. «Так что, — процитируем М. П. Капустина, — до-

кументы, документы и еще раз документы. Наше с вами их самостоятельное осмысление — только это дает некоторые гарантии того, что мы наконец сможем справиться со своим тяжким историческим наследием и, исправив былые ошибки, не будем более их повторять».

Итак, трагический 1929 год. В первую очередь приходят мысли о судьбе многомиллионного крестьянства, а не о Бухарине, Рыкове и Томском, и тем более не о Луначарском, Наркомпросе и его коллегии. Для последних, по выражению нынешних остряков, еще не вечер: Бухарин, исключенный из Политбюро ЦК, будет членом Президиума ВСНХ СССР, членом коллегии Наркомтяжпрома СССР, редактором «Известий», кандидатом в члены ЦК партии; Рыков — наркомом связи СССР и кандидатом в члены ЦК; Томский — заместителем председателя Президиума ВСНХ СССР, затем заведующим Объединением книжно-журнальных издательств, кандидатом в члены ЦК; Луначарский станет академиком АН СССР, председателем Ученого комитета при ЦИК СССР, полпредом в Испании... Положение каждого из них малость получше состояния мужицкого «быдла», на коленях ползающего от истощения по вологодскому привокзальному березнячку, известному нам из рассказа В. Тендрякова «Хлеб для собаки». Но пойдем дорогою, торимою для нас философом М. П. Капустиным.

В начале 1929 года Бухарин, Рыков и Томский, протестуя, по Капустину, против бюрократизации партии, подают повторное заявление об отставке. Далее: «В это же самое время, очевидно, не случайно, подает прошение об отставке А. В. Луначарский, пробывший в должности наркома просвещения двенадцать труднейших лет. Вместе с наркомом аналогичное прошение подает вся коллегия (!) Наркомпроса». Вывод М. П. Капустина: «Это было окончательное крушение ленинского стиля руководства с его принципом коллегиальности мнений, сознательно соединившего в составе высшего политического руководства людей, мысливших по-разному и не допускавших сюда тех, кто предпочитает борьбе мнений борьбу за власть».

Осмыслим приведенные автором «документы»: действительно ли «протест» названных лиц означал осознаваемое ими окончательное крушение ленинского стиля руководства; в самом ли деле поименованные товарищи мыслили иначе, чем Сталин, и предпочитали идейную борьбу борьбе за власть?

В том же самом 1929 году, на ноябрьском Пленуме, Бухарин поддержал чрезвычайные меры в отношении крестьянства и вкупе с Рыковым и Томским заявил: «...Правы партия и ее ЦК. Наши взгляды... оказались ошибочными», пообещав при этом повести «решительную борьбу против всех уклонов от генеральной линии... в прежде всего против правого уклона». Еще красноречивее высказался Бухарин на XVII съезде ВКП(б): «Сокрушено кулачество, особенно опасное не только потому, что в цифровом отношении многочисленнее любого другого капиталистического класса, а и потому, что кулачество является естественным организатором одной повьвинки душ мелкого товаропроизводителя — его спекулянтской души». В десяти местах своей речи воздав «должное» вождю, Бухарин закончил свое витиеватое выступление во славу «фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших — товарища Сталина!». Этих «документов» М. П. Капустин предпочитает не знать, обнаруживая в Бухарине прямо-таки гениального прорицателя нынешней перестройки. «Одна из «крупнейших проблем», — пересказывает Бухарина философ, — это «задача обработки этого человеческого сырья», то есть народа, и восторженно комментирует в скобках: «(так и читается невольно: «человеческий фактор»! — М. К.)» и без скобок: «Поразительная перекличка этих идей с нашим временем и его проблематикой говорит о необходимости открыть наши архивы, опубликовать все подобные документы с соответствующими комментариями». С комментариями, надо думать, соответствующими мнению М. П. Капустина о народе как сырье для постройки столь теоретически ненавидимого философом... «сталинского варианта социализма»: «внизу... Масса, обработанная в единый монолит, — все на одно лицо... Наверху... — вождь и аппарат власти». Итак, опять пионеры и — новые — пионервожатые, причем к последним, видимо, автор относит и себя, пребывая в надежде, что исполнит роль пионервожатого философичнее предшествующих ему духовных пастырей.

Не лучше обстоит дело и с Луначарским. Именно в 1929 году (прошение об освобождении от должности наркома просвещения) выйдет книга Луначарского «Месяц в Сибири» (Л., 1929), в которой главный просветитель страны поделится с читателями своими глубокими впечатлениями о «медвежьих углах» России, поразивших его воображение в конце 1928 (!) года — после знаменитого набега Сталина с опричниками на этот край. «Я никогда не предполагал, что социалистическая мысль запала уже так глубоко в такие места, которые ведь принято называть «медвежьими углами». Напряженно думают крестьяне над колхозным делом, но не только думают, а примериваются и так, и эдак, не только примериваются, но даже и вступают уже в колхозы...». Еще бы не вступали. Во время и после сталинской инспекции в январе—феврале 1928 года по Сибири, набирая силу, пошла мощная волна перетряски и замены окружных, районных и сельских аппаратов власти — сотен партийных, советских, хозяйственных и судебных работников — за «мягкотелость», «примиренчество» и утрату «классового чутья», началось повальное закрытие рынков, стали обыденным явлением обыски крестьянских дворов, конфискация инвентаря, изъятие семенного и необходимого для пропитания хлеба, административные аресты и судебные репрессии в отношении мужика, в ход была запущена статья 58—10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация), по которой к ответственности привлекались лица, осмелившиеся вслух говорить об издевательствах и насилии над крестьянином.

Именно в 1929 году, на Всесоюзном съезде работников искусств, Луначарский, по обыкновению произносивший речи и доклады о достижениях и глобальных перспективах в культуре, едва ли не первым в нашей истории заговорил об удушении духовной свободы в обществе: «...мы должны изолировать художника, как и всякого другого специалиста, который оказывается нашим врагом». В голодном 1933 году Луначарский, образно рассуждая о строительстве дома и будущей крыши над ним, призывал деятелей культуры видеть в жизни не то, что есть в действительности, а то, к чему в идеале стремится прогрессивное человечество. Имея в виду прекрасное будущее, он говорил: оно еще не достроено, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: «Вот ваш социализм, — а крыши-то нет». Вы будете, конечно, реалистом — вы скажете правду; но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда», и «кто не видит ее (крышу или будущее. — В. В.) так (как Луначарский. — В. В.) — тот реалист буржуазный и поэтому пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор и во всяком случае вольный или невольный контрреволюционер и вредитель».

Приведенное суждение Луначарского — не только эстетика социалистического реализма, но и в большей мере политическая практика, которую теперь можно проиллюстрировать конкретным примером. Весной все того же 1933 года, возмущенный безобразиями властей в проведении кампании по хлебозаготовкам, М. А. Шолохов писал Сталину: «Помните ли Вы, Иосиф Виссарионович, очерк Короленко «В успокоенной деревне»? Так вот этакое «исчезновение» было проделано не над тремя заподозренными в краже у кулака крестьянами, а над десятками тысяч колхозников. Причем, как видите, с более богатым применением технических средств и с большей изощренностью. <...> ...Пошлите в Вешенский район доподлинных коммунистов, у которых хватило бы смелости, невзирая на лица, разоблачать всех, по чьей вине смертельно подорвано колхозное хозяйство района, которые по-настоящему бы расследовали и открыли не только всех тех, кто применял к колхозникам омерзительные «методы» пыток, избиений и надругательств, но и тех, кто вдохновлял на это».

Сталин ответил М. А. Шолохову вполне в духе Луначарского: «Ваши письма производят несколько однобокое впечатление»; «Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Ващего района) проводили «итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели тихую «войну» с советской властью. <...> Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло бы показаться издали».

Кроме оптического обмана зрения — М. Шолохов глядел ведь на положение колхозов и крестьян в упор, — обращает на себя внимание весьма своеобразное употребление Сталиным притяжательных местоимений — не без тонкого намека на вразумление писателя в известном направлении: район и уважаемые хлеборобы, к которым применялись омерзительные «методы» пыток, — ваши, а работники, желающие «обуздать врага» и «нечаянно» бьющие по друзьям, — наши. Иначе сказать, стены возводимой постройки — ваши, а крыша — наша, и вы глубоко заблуждаетесь, утверждая, будто вас бьет град и мочит дождь, ибо так может казаться только людям, издалека наблюдающим за нами.

Говоря о досоциалистических, добуржуазных, полуфеодальных средствах, к каким прибегал Сталин при осуществлении «сверхиндустриализации» державы и коллективизации деревни, М. П. Капустин (уже из-под крыши) объясняет вроде само собою разумеющееся: «Эти средства, кстати, как нельзя более соответствовали уровню нашей страны, ее национальным традициям — общинным у русских...». После столь небрежно оброненного словца «кстати» уже как-то и сомневаться в рассуждениях М. П. Капустина не с руки, поскольку «кстати» придает утверждению философа такую безусловную истинность, какую может оспоривать только законченный невежа и круглый невежда. Воистину большую ложь для убедительности следует внедрять в сознание других как бы шутя, мимоходом, между прочим, как нечто с виду несущественное и подвернувшееся «кстати». То, что нуждается в серьезных доказательствах, преподносится с помощью ничтожного вводного слова «кстати» как аксиома, и это обстоятельство ошеломляет внешне безобидным вероломством и неожиданностью, и потому аксиома прочно удерживается в памяти.

Итак, феодальные средства, характерные для средневековья и взятые на вооружение Сталиным в строительстве социализма, адекватно, по Капустину, соответствовали общинной духовной жизни народа с засильем в ней «религиозного фанатизма, догматизма и схоластики в мышлении». Связь между властью и общинным крестьянином, по Капустину, осуществлялась с помощью директивы и приказа напрямую и в одну сторону — сверху вниз, и обратной силы не имела. Далее М. П. Капустин иллюстрирует свое умозаключение цитатой из работы Элиаса Канетти «Масса и власть»: «...Приказ старше, чем язык, иначе его не понимали бы собаки (как и любые животные. — М. К.). Дрессировка заключается в том, что животные, не понимая языка, научаются понимать, чего от них хотят...». Кажется, ясно: Сталин и

его лика управляли сплошными шариковыми, достойными полусобачьей участи.

Идеализация отношений между «пионервожатыми» и «пионерами» входит в привычку и становится выражением особенно глубокого и оригинального проникновения в «дебри» народного сознания, со школьной готовностью откликающегося на всякого рода идеи и замыслы «звеньевых» и «отрядных вожатых». Иных послушаешь — ну прямо идиллия, а не жизнь: сверху еще и не договорили какой-нибудь директивы, а просветленные массы уже бросились наперегонки претворять её в действительность и, претворив, в обновленном и радостном нетерпении ждут очередного указания свыше. В прошлого году, к примеру, на одной из научных конференций (в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР) М. Чудакова выступила с докладом «Сталин и Платонов: проблема приоритета». Речь шла о «бедняцкой хронике» А. Платонова «Впрок», появившейся в печати в марте 1931 года и посвященной коллективизации деревни. М. Чудакова начала с сообщения, что Сталин, прочитав эту повесть в журнале «Красная новь», начертал на ней нечто вроде резолюции: «Подлец!», «Сволочь!» или «Негодяй!» — во всяком случае никто этой книжки журнала с пометами вождя не видел. Потом выступающая задалась вопросом: что именно в прозе А. Платонова вызвало негодование Сталина? — и остановилась на политических клише в произведениях А. Платонова, гипнотическим внушением которых генсек и его подручные, по мнению докладчика, и превратили народ в единое послушное и легко управляемое стадо.

Выступление М. Чудаковой, весьма произвольное (книжка «Красной нови», повторюсь, с пометами и резолюцией Сталина до сих пор не обнаружена), все же интересно как материал для понимания и характеристики умонастроения некоторых современных «прогрессивных» авторов. Если человек берет на себя ответственность реконструировать чтение произведения писателя вождем, не сомневаясь в научности самого подхода к делу, то тем самым он воочию и демонстрирует мышление, питающееся модным и расхожим «образом вождя», тем самым он наглядно и вскрывает логику собственного обольщения, напрямую зависимую от считающихся прогрессивными поветрий и идей. Эта логика характеризует мышление именно данного человека, и утверждать, будто таким элементарным порядком думают все, — большое заблуждение, столь свойственное тоталитарному, схоластическому и абстрактному, а не народному, практическому сознанию.

2

Общинной, добуржуазной психологией крестьянина объясняет примирение народа с коллективизацией и И. Клямкин («Новый мир», 1987, № 11), усматривая в общине, якобы исторически склоняющей человека к коллективному ведению хозяйства, коренное отличие русского мужика от западного буржуазного и мелкобуржуазного земледельца. Однако в таком понимании крестьянской общины и «исторической закономерности» сталинской коллективизации и И. Клямкин, и М. П. Капустин всего ближе к Сталину и всего дальше от большинства крестьянства — середняка и «кулака».

«...Что привязывало, привязывает и будет еще привязывать мелкого крестьянина в Западной Европе к его мелкому товарному хозяйству? — говорил Сталин на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 года. — Прежде всего и главным образом наличие своего собственного клочка земли, наличие частной собственности на землю. <...> Можно ли сказать, что этот фактор в таком его виде продолжает действовать и у нас, в условиях советских порядков? Нет, нельзя сказать. <...> И именно потому, что у нас нет частной собственности на землю, у нас нет и той рабской приверженности крестьянина к клочку земли, которая имеется на Западе».

Тут уже не общинная психология, а нечто решительно ей противостоящее — психология сельского люмпена: бродяги, батрака, бездельника, горьковского свободолюбивого босяка и т. п. Люмпена как раз и имел в виду Сталин, распространяя его отчаянные социальные воззрения на все крестьянство и говоря об уравниловке как следствии «индивидуально-крестьянского образа мышления, психологии дележки всех благ поровну, психологии примитивного крестьянского «коммунизма». На словах выступая против принципов «уравнительного социализма», чуждого марксизму, Сталин проводил их в действительности и, опираясь в борьбе с зажиточным мужиком на бедняка и батрака, не поднимал последних до жизненного уровня середняка или «кулака», а низводил все крестьянство на положение бесправного пролетариата. Социологической демагогией о национализации земли, в считанные годы ничего не оставившей-де от прежнего мужика и его вековых ценностных ориентиров в жизни, Сталин усыплял мировое общественное мнение, глушил народный вопль о погибели крестьянства, схоластически доказывая, что теперь «мы имеем в своем распоряжении новый аргумент против буржуазных экономистов, провозглашающих устойчивость мелкокрестьянского хозяйства в его борьбе с крупным хозяйством». Отсюда понятна и нетерпимость Сталина к «антинаучным теориям «советских» экономистов типа Чаяновых», рассматривавших семью как естественно-историческую трудовую и нравственную ячейку в сельскохозяйственном производстве России.

Очевидны и причины, благодаря которым с завершением сплошной коллективизации перестали существовать сельские общины, земельные общества, потеряли свой смысл и значение деревенские сходы, помочи, оказались ненужными традиции семейного воспитания детей и принципы уличной народной педагогики, из обихода начали вытравляться фольклор и творческие традиционные русские игры, утрачивались ремесла, угасали чувства хозяйской заботы о некогда общинных лугах, выпасах, лесах, естественных водоемах и рукотворных колодцах и прудах, о содержании в надлежащем порядке школ, дорог, мостов, переправ и т. п. Короче говоря, за несколько лет «изжили себя» почти все наработанные тяжким трудом многих поколений людей традиционные институты и формы общественного крестьянского самоуправления.

Касаясь общины, современные публицисты обыкновенно говорят о пресловутой чересполосице, трехполке, земельных переделах и т. п.; но редко ныне вспоминают общину как Мир, духовным богатством которого восхищались и Ф. Достоевский, и Л. Толстой, и писатели-народники, третируемые за «квасной патриотизм», идеализацию мужика, густопсовый язык и сусальную христианскую нравственность. Духовное содержание общины до сих пор сводится в отдельных исторических работах до ее якобы процаристской, монархистской идеологии, хотя при таком взгляде на вещи становится совершенно непонятной необходимость общинности — самодеятельного народного института власти — в условиях феодальной и самодержавной государственности, разложения крепостничества и зарождения капиталистических отношений в России.

В. Белов первым из советских писателей, если не считать есенинских «Ключей Марии», сделал попытку осмыслить крестьянский мир в его целостности и полноте через социально-нравственные и эстетические идеалы мужика. Несмотря на жанровое своеобразие книги В. Белова «Лад»— очерки о народной эстетике, автора дружно обвинили в идеализации деревни, ибо, как теперь все более проясняется, идеалы, прозорливый ум и утонченное сердце могут быть только у небольшой кучки столичной интеллигенции. За пределами Московской окружной дороги, по выражению одной из представительниц прозы «новой волны», уже начинаются сплошной мрак и густой лес с медведями, среди которых живет «русский человек со всеми его порывами, невозможностью выскочить — раб самого себя. Он сам выстраивает в себе своего хозяина и причудливым образом является одновременно и рабом, и рабовладельцем себя и других...» Такого человека в нашей стране, по подсчетам народного депутата, известного своей радикальностью в суждениях, — три четверти ко всему населению, и он, такой человек, — угроза перестройке.

Не потому ли некоторые депутаты столь торопятся с революционным пересмотром обветшавших догм (большинство-де — болото, стадо и заблуждение) и до передачи реальной власти народу спешат распорядиться его достоянием: один торгует в Соединенных Штатах российскими землями за валюту, другой обещает вернуть Японии не принадлежащие ей Курильские острова?..

Вернемся, однако, к крестьянской общине. О ее крахе под ударами сплошной коллективизации В. Белов рассказал в другом своем произведении — романе «Кануны», третья часть которого — «Год великого перелома» — увидела свет в «Новом мире» за прошлый год (№ 3). В этом же журнале (1989, № 5) появилась не опубликованная при жизни писателя повесть Ф. Абрамова «Поездка в прошлое». Основное ее содержание составляют воспоминания главного героя произведения о том же 1930 годе по прошествии тридцати трех лет.

Известно, Ф. Абрамов упрекал беловский «Лад» в идеализации крестьянства. Помнится и другое: Ф. Абрамов называл В. Белова «золотым пером нашей литературы», «даром божьим», писателем, художественно мыслящим «на уровне лучших произведений русской классики». В 1982 году, незадолго до своей смерти, Ф. Абрамов с гордостью за отечественную литературу писал: «Пушкин — Михайловское, Лев Толстой — Ясная Поляна, Тургенев — Спасское-Лутовиново... А что за земля, взрастившая Белова?»; «Ни на одной карте мира не помечена Тимониха. Но есть, есть такая деревенька на Вологодчине, и свет ее далеко-далеко расходится по Земле».

Неизменно высоко оценивал Ф. Абрамов и творчество других писателей-деревенщиков: Н. Рубцова, В. Астафьева, Е. Носова, В. Распутина, с надеждой говорил о молодых тогда прозаиках — В. Личутине, В. Крупине... Об этом необходимо напомнить, поскольку сейчас входит в моду противопоставлять Ф. Абрамова всей современной русской литературе о деревне, шельмовать Ф. Абрамовым «деревенщиков» поименно (как В. Белова) и анонимно, поодиночке и скопом. Мода эта имеет своим основанием отношение к русскому человеку как к рабу, перед которым Ф. Абрамов, в отличие от «братьев-славян», не преклонял коленей и прямо резал ему правду-матку в глаза: «Нация рабов, сверху донизу все рабы» — эти крылатые слова, надо полагать, не раз приходили на ум писателю, когда складывались огненные строки его послания», — с энтузиазмом читает «в сердцах» Ю. Оклянский известное открытое письмо Ф. Абрамова землякам «Чем живем-кормимся», придавая этому письму значение и достоинства «Жития протопопа Аввакума», Письма Белинского к Гоголю, «Репортажа с петлей на шее» Фучика и уверяя публику в том, что «писатель вновь опередил время» и многие его поняли превратно, обвинили в пособничестве бюрократам, чего художник «превыше всего боялся». Добавим: не только боялся, но и сам склонялся к подобному обвинению: «...Не отвод ли это грозы от начальства? Не пособничество ли объективно? Может, и пособничество. Да где же выход?»; «Всё переживаю по поводу своего «Письма». <...> Не отвернутся ли от меня земляки?» и т. п.

Болезненное, изматывающее душу сомнение в собственной правоте как раз и отличает гражданина Ф. Абрамова от гражданина Ю. Оклянского, прячущегося за руководящую цитату Чернышевского, повторенную Лениным, но почему-то умалчивающего о жертве, предпочитаемой Чернышевским во имя свободы, — ста тысячах жизней этих самых рабов. Оно и понятно: говорить ныне о физическом насилии над народом очень несовременно, не-

гуманно, неинтеллигентно и мерзко, но уничтожить человека духовно кличкою ли раба, обвинением ли в сталинизме, неосталинизме — просто распрекрасно и соответствует уровню некоего мирового интеллекта в его отношении к черни.

Отысканием в том или ином герое Ф. Абрамова скрытого сталиниста и занимается по преимуществу Ю. Оклянский, полагая, что тем самым лучше всех понимает писателя, и возводя сталинизм прямо-таки в универсальный эстетический аршин, определяющий и большую жизненную правду, и степень художественности, и глубину постижения характеров в произведении. Вот, скажем, Подрезов в романе «Пути-перепутья», секретарь райкома партии военных и первых послевоенных лет, не совсем умещается в рамки сталинизма. А почему? Да потому, отвечает критик, что Ф. Абрамов видит в нем и хорошие человеческие качества, между тем этих качеств, по мнению критика, не должно быть, ибо Подрезов — олицетворение системы, ее столп и оплот. Так уж непременно все районщики — столп и оплот, робко возражаете вы, были ведь среди них и такие, кто и во время войны, и после нее спасал, к примеру, многодетных баб и вдов от сумы и тюрьмы, подкармливал голодных ребятишек, страдал из человеколюбия и выпадал из кресла, как Подрезов, и, подобно ему, переоценивал, оказавшись не у дел, собственную жизнь и даже подвигался под давлением жестоких обстоятельств к христианским заповедям в жизнеповедении.

Нет, настаивает на своем Ю. Оклянский, это иллюзия и романтизм Ф. Абрамова, а не действительность, потому что «в преступной идеологии незачем выискивать плюсы. Потому что злодеяния и беды, принесенные сталинизмом, не идут ни в какое сравнение с теми уступками общенародным интересам, разуму и прогрессу, к которым он вынужденно прибегал ради самосохранения и маскировки». В общем, может, и так, говорите вы, особенно если иметь в виду Сталина, но ведь речь идет о конкретной художественной реальности — Подрезове в романе, неужто и он ловко маскирующийся «враг народа»? Конечно, уверяет Ю. Оклянский, ибо В. Гроссман в «Жизни и судьбе» окончательно разоблачил тип человека, подобный Подрезову, на примере Гетманова и «не питает никаких иллюзий насчет «личной порядочности» долгие годы процветающих политиков сталинского толка», а «это уже та степень бескомпромиссности взгляда, до которой мало кто поднимался из... романистов». Странно.

Почему до примитивного понимания внутреннего мира человека, духовно исчерпывающегося официальной идеологией, надо подниматься, а не опускаться? И в чем прогрессивнее новая нормативная эстетика Ю. Оклянского того шаблона, по какому в известные годы писали свои сочинения бойкие и чуткие к духу времени беллетристы, того негласного циркуляра, который предписывал герою не спать по ночам и мучить жену разговорами о производственных планах и соцсоревновании на заводе?

Ради объективности следует заметить, что Ю. Оклянский углубляет с течением времени прочтение Ф. Абрамова. В частности, критик пересмотрел в недавней статье «Мирской набат Федора Абрамова» («Вопросы литературы», 1989, № 8) свои взгляды на письмо прозаика. Если полтора года назад пафос «Чем живем-кормимся» Ю. Оклянский сводил к цитате насчет «нации рабов», то сегодня он видит в письме нечто другое, а именно: «Абрамов ярко обрисовал, как брежневская аграрная политика, представлявшая собой сочетание «выкупных платежей» с грубым неосталинизмом в управлении людьми и хозяйством, окончательно отлучила крестьян от земли». Это, конечно, ближе к современным перестроечным воззрениям на народ, но абрамовское письмо все же не о брежневской политике и неосталинизме. Главное, однако, в том, что Ю. Оклянский несколько помягчел к деревне: «Нелицеприятно обнажая те бездны социального и нравственного падения, до которого позволил себя довести великий народ, Абрамов остерегал от извечной российской болезни — пассивности».

На российской болезни мы остановимся отдельно, сейчас же укажем на непоследовательность критика. На наш взгляд, нельзя человеку пасть ниже раба. Если, по Ю. Оклянскому, великий народ и во времена Чернышевского, и в эпоху Ленина, и в пору Абрамова был «нацией рабов, сверху донизу», то падать ему остается только в могилу. Вероятно, в данном случае Ю. Оклянский намекает на тех рабов, которые посыпались с апреля 1985 года «сверху». Так что все рабы, и верхние, и нижние, собрались теперь в одну кучу...

Еще дальше в постижении прозы Ф. Абрамова пошла Н. Ажгихина в статье «Противостояние» («Октябрь», 1989, № 9). Критик анализирует недавно опубликованную повесть Ф. Абрамова «Поездка в прошлое» в одном ряду с «Поднятой целиной» М. Шолохова, «Годом великого перелома» В. Белова, «Все течет» В. Гроссмана с произведениями, тяготеющими, по ее словам, «к построению самостоятельной концепции исторического развития».

Напомним сюжет «Поездки в прошлое». Действие повести относится к зиме 1963 года и происходит в северной деревне на Пинежье. В доме совхозного конюха Микши (Никифора) неожиданно появляется незнакомый «командированный» по фамилии Кудасов и просит свозить его на Курзию — в гиблое и неудобное для жизни место, где после раскулаченных лишенцев (спецпереселенцев) никто не бывал. И вот, покуда они трясутся в телеге, преодолевая нелегкие сорок верст сузёмом, Микша, пытаясь разговорить мрачного спутника, а заодно узнать и о цели его необычной для здешних мест поездки, вспоминает об этой самой Курзии, прозванной в народе Грузией.

В тридцатом году, когда Микше было двенадцать лет от роду, там, оказывается, размещался лагерь для раскулаченных переселенцев с Украины, а всем делом заправляли дядья Микши — Александр и Мефодий Кобылины. «Да, — вспоминает Микша, — вот революционеры были! Кремневые! Теперь таких и нету. <...> У дяди Александра хоть одна слабинка была — в части женского вопроса, а этот (Мефодий. — В. В.)... Я в жизни не видал на евонном лице улыбки. «Я, говорит, тогда улыбаться буду, когда социализм сполна построим да последнего врага в гроб загоним». В том же тридцатом году, как выяснится из рассказа Микши, убьют его дядю Александра, коменданта лагеря, и на его могиле Мефодий поклянется за каждую каплю священной крови погибшего выпустить ведро вражьей.

По возвращении с Курзии в совхоз странный «командированный» со значением пожмет руку Микше за услугу и, сверкнув в темноте железным блеском глаз, скажет: «А ты, я думал, подогадливей, Кобылин. Жидковата у тебя память...» Микшу как ударило. «Постой, постой... Так это? — Голос изменил ему. — Не может быть...» По косвенным намекам автора можно понять далее, что мрачный «командированный» и есть убийца Александра, отомстивший дяде Микши за поруганную честь родной сестры. В тридцатом году «командированному» Кудасову было четырнадцать лет и он в этих краях находился на положении спецпереселенца.

После встречи с Кудасовым «все рухнуло» для Микши — «вся жизнь вдребезги». Движимый чувством вины перед отцом (Микша по настоянию дяди Мефодия отказался в 1938 году от репрессированного отца и взял фамилию дядьев; сам Мефодий, начальник местного отделения милиции, застрелился, усомнившись в справедливости репрессивных мер против земляка-учителя), Микша мечется по совхозу в поисках стариков, знавших его родителя, а наутро его находят замерзшим на могиле отца; неделю спустя в районной газете появляется заметка «К чему приводит дружба с зеленым змием».

Публикацию «Поездки в прошлое» сопровождает богатая по фактам и мыслям статья-послесловие Л. Крутиковой-Абрамовой, составленная из черновых набросков писателя к произведению. Публикатор, правда, не сообщает читателю, насколько удовлетворяло художника написанное. Этот вопрос важен, поскольку в тексте повести есть все же темноватые, не совсем проявленные сюжетные узлы и некоторая торопливость и протокольность в изложении материала (судеб героев), затрудняющая восприятие произведения читателем. И думается, не случайно «Поездка в прошлое» снабжена пространным комментарием. В комментарии как раз и обнаруживаются иногда ответы на вопросы, не проясненные в повести.

Важно и другое: в последние годы жизни Ф. Абрамов думал о большом историческом полотне, «способном вобрать судьбу русского крестьянина в драматическом и поворотном для него двадцатом столетии»; неоднократно ловил себя на мысли, что «кое-кто заблудился в поисках правды... Как доходит дело до оценки, характеристики сил, которые мешают человеку быть свободным, самостоятельным, так начинается уход от правды! Иные мастера прозы почему-то ищут эти силы только в... самом народе... И за этот круг отношений анализ не идет, за деревенскую околицу писатель не высовывается». Признания слишком серьезные, чтобы ими можно было пренебречь и не взять их в расчет, — они могли и охладить интерес художника к повести и ее окончательной отделке. В большой эпической картине — коллективизации — «сюжет» «Поездки в прошлое» мог переместиться на периферию повествования как одно из многих побочных явлений политики раскрестьянивания деревни, не объясняющее ее причин и природы.

К тексту повести Ф. Абрамов возвращался, по всей видимости, несколько раз. Первая редакция произведения, написанного в 1963 году, его не устроила. Вариант повести, который стал известен ныне читателю, относится к 1974 году. В десятилетие, разделяющее первую редакцию «Поездки в прошлое» от сегодня обнародованной, и позже, вплоть до самой смерти, Ф. Абрамов собирал материал, связанный с коллективизацией, — изучал архивы, встречался с очевидцами событий «года великого перелома» в поездках по родному Северу, Центральной России и Сибири. Разумеется, этот материал не мог найти и не нашел выхода на страницы повести — нужна была иная, нежели детские впечатления и воспоминания Микши, точка зрения на эпоху конца 20-х — начала 30-х годов.

Говорить о том, будто в «Поездке в прошлое» Ф. Абрамова «весь собранный» писателем материал, то есть выписки из архивных документов, его дневники, записанные им рассказы очевидцев о коллективизации и т. п., «и стал основой для масштабного обобщения, создания собственной концепции не только коллективизации, но в всей послеоктябрьской истории», — очень сильное преувеличение и большое заблуждение. Замысел Ф. Абрамова скромнее: «Не о событиях, — отмечал он в дневнике, — а о преломлении событий в Микшиной душе». Иначе сказать, перед нами не историческая картина событий в их объективной реальности, самоценности и причинно-следственном развитии, а лирическая концепция истории субъективного характера, ограниченная и деформированная судьбою главного героя.

Пренебрегать родовым качеством повести Ф. Абрамова — значит отождествлять автора произведения с его героем. Судя же по дневниковым записям, не вошедшим в «Поездку», Ф. Абрамов понимал дело и глубже и шире Микши, знал многое такое, о чем Микша по условиям его жизни знать не мог; и хотя Микша и был свидетелем человеческой трагедии 1930 года, самого главного в ней он, двенадцатилетний в ту пору подросток, не видел, потом, не будучи писателем или историком, он просто жил, тяжко и трудно, — сидел в тюрьме; воевал; за неимением мужиков председательствовал в сельсовете и в колхозе после войны; ощущая невозможность что-либо переменить в деревне, ушел в конюхи и оставался конюхом до самой своей смерти. Встреча с «командированным» Кудасовым вновь воскресила в Микше памятный «год великого перелома», и кое в чем он начал прозревать...

Впечатления Микши о 1930 годе, ограниченные кругом его детства, — отец с матерью, дядья, сверстники и т. п., удобны для теории, возникшей не сегодня и разделяемой автором «Октября» Н. Ажгихиной: «Сплошная коллективизация, по Абрамову, предстает не как насильственный акт истребления инициативного начала в народе чьей-то волей, но прежде всего как самоистребление народа».

Что же движет отечественной историей, являющейся вечным самоистреблением народа и его путем в никуда? Инстинкт, природная суть русского человека, ибо, по Ажгихиной, вера дядьев Микши, Александра и Мефодия Кобылиных, в революцию «держится не на понимании исторической закономерности, а на инстинкте»; «братья Кобылины ничьей воли не исполняли, они действовали по внутреннему убеждению, соответствуя своей природной сути»; «зло творилось руками и энтузиазмом самих же крестьян» из «рабского чувства», воспитанного в них «многовековой привычкой к несвободе и долготерпению».

Разберемся, ибо дело не в Ажгихиной, а в некоем социально-нравственном явлении, приобретающем характер интеллектуального террора и нуждающемся в исследовании. Для начала установим веру Ф. Абрамова, как она сказалась в «Поездке», а также попытаемся прояснить, на понимании каких исторических закономерностей писателем она зиждется.

Представляется очевидным, что обращение Ф. Абрамова (не первое) к работе над этой повестью, в частности к фигуре конюха — человека из самых низов, человека «заурядной» и вместе трагической, очень русской судьбы, — само по себе есть принципиальное свидетельство вероисповедания художника. Несмотря на то обстоятельство, что Микша по малолетству глухо слышал голос, внушающий крестьянам идеи классовой борьбы, и нечетко видел длань, сталкивающую мужиков лбами, и повелительный зык, и долгая десница ощущаются в повести и в черновых, подготовительных материалах к ней. «Да, — Микша покачал головой, — вот какие времена были. Малых ребятишек до ненависти раскаливали. Я, как себя помню, только и слышишь кругом: кулаки, контра, враги советской власти... А какие они в натуре-то, на ощупь? У нас в деревне стали колхоз делать — караул кричи. Три хозяйства по плану распотрошить надо, а где их взять? Только одного дьячка и закрючили, да и то за культ — в часовне службу правил. Ну и когда к нам этих кулаков с Украины привезли, мы с ребятами просто воспрянули: вот они, враги-то, живые, тепленькие!»

О каких исторических закономерностях, не понимаемых темной деревней и якобы известных критику, говорит, умалчивая о них, в своей статье Н. Ажгихина, если сама история многими радикальными деятелями той поры мыслилась вне закона, если, по Абрамову, «русского крестьянина за человека не считают. Собственник. Приговорен к переделке». И все же художник открыл этот закон, сохраняющий народ и правящий миром, — открыл не в официальных уложениях правопорядка, не в модных теориях об извечном русском рабстве, а в недрах народной жизни. Имя этому закону — совесть. Она взывала к властительным ушам и всевидящим гуманным очам, затягивая на шее объявленной вне закона и обесчещенной переселенке удавку; она подвигнула «железного» Мефодия Кобылина, утратившего веру в новую жизнь, к самоубийству; ею руководствовался обреченный на погибель отец Микши, благословивший через соседку сына-отступника на дальнейшую жизнь: «Скажи Никифору, что у отца нету зла на него»; под ее бременем, наконец, надорвал свое сердце и Микша, отошедший в другой мир так и непонятым в мире этом.

Некролог Микше, заключающий повесть, хотя и появился в районной газете, а не в столичном журнале «Октябрь», звучит сегодня исключительно актуально. Имея в виду расплодившихся «благодетелей народа», с ложками путающихся у него в ногах, и их отношение к мужику с сошкой, Ф. Абрамов в некрологе словно предвидел статью Н. Ажгихиной и подобные ей исторические изыскания и философские работы о сущности и нравах русского народа, и я процитирую это благородно-лживо-пафосное посмертное слово о Микше:

«К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ДРУЖБА С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ

Н. Кобылин, конюх из Сосина, давно уже снискал печальную известность своей многолетней дружбой с зеленым змием. А ведь не теперь известно: там, где вино, алкоголь, там моральные срывы, безрассудные выходки. Ну кто, к примеру, в здравом уме и трезвой памяти поедет сейчас по бездорожью в глухой сузём, чтобы навести, так сказать, свой порядок в рыбном хозяйстве? А Н. Кобылин поехал... Кончилось все это, как и следовало ожидать, весьма печально. В ночь на 15 октября Н. Кобылин до того напился, что на ночлег решил перебраться на могильники... где его и нашли замерзшим. <...> Долг общественных организаций — ни на минуту не выпускать из своего поля зрения дебоширов и злостных пьяниц. <...> Пьянству — бой!»

Ф. Абрамов ненавидел такую «правду» о народе и находил ее пошлой. После спектакля с претенциозным кассовым названием «Правду! Ничего кроме правды!..» в Большом драматическом театре писатель, по свидетельству его многолетнего друга, долго не мог прийти в себя от гнева: «Разве так можно?! Ведь речь идет о русских людях с трагической судьбой! Зачем же издеваться над ними, только обличать их? А не пытаться понять?! <...> Бессовестно это». Представляю, какой шквал возмущений вызвал бы я на себя, если бы высказал, к примеру, такую обобщенную и не лишенную внешнего правдивого основания мысль: многие из высокопоставленных «страдальцев» второй половины 30-х годов сидели в концлагерях из любви к нарам и несвободе, потому что они почасту проводили таким образом время и до революции. О народе, однако, все можно и все позволено. По соображениям такого высокого патриотизма и такой подлинной любви к нему, какими отличался Гражданский в его отношении к Вихрову...

Н. Ажгихина находит в «подтексте повести» полемику Ф. Абрамова с «Поднятой целиной» М. Шолохова. «Так, — сообщает она читателю, — фигура Александра Кобылина, не ведающего сожаления и угрызений совести, как бы показывает оборотную сторону романтической увлеченности Нагульнова». Вынужден разочаровать критика: это «открытие» принадлежит самому М. Шолохову, написавшему еще в 30-х годах (в соавторстве с С. Ермолинским) киносценарий по роману, одно название которого — «Преступление Макара Нагульнова» — вполне однозначно характеризует деяния романтика из Гремячего Лога.

Должен также огорчить Н. Ажгихину, вводящую доверчивых читателей в заблуждение соображением о том, будто с годами Ф. Абрамов изменил свое мнение о «Поднятой целине» и это изменение вылилось в полемику «Поездки» с произведением М. Шолохова. Покойный художник не страдал злорадно-мстительной манией разоблачительства по дозволению свыше, справедливо полагая, что «разоблачительная литература — литература мелкая по своей сути. Вот что надо раз и навсегда усвоить». Да, Ф. Абрамов говорил об отдельных художественно слабых главах шолоховского романа в 1978 году, но в исторической правде этой книги не сомневался. В 1975 году, то есть по завершении работы над «Поездкой в прошлое», он записал в дневнике, выказав, кстати, и как специалист «по Шолохову», некогда защитивший диссертацию, посвященную «Поднятой целине», и свое отношение к тогдашней возне вокруг «Тихого Дона»: «Не хочу копаться в этой грязи (для меня, когда-то занимавшегося Шолоховым, этот вопрос ясен). Для этого хотя бы достаточно взять «Поднятую целину». Скажу, далее, и про подъем «в жителях Гремячего Лога», который ощущается Н. Ажгихиной при чтении шолоховского романа о коллективизации.

Деревня Северного Кавказа, куда входил и Гремячий Лог, отличалась самым высоким процентом бедняков и батраков в стране. По приблизительным подсчетам, проводившимся на ненадежной основе выборочной гнездовой переписи, она насчитывала свыше трети батраков и бедняков в составе крестьян.

Смею думать, для Дона этот процент подзанижен до обезличивающей отдельные районы средней величины, — в 1919 году по этому краю лихо погуляли заплечных дел мастера и специалисты по расказачиванию типа Троцкого и Свердлова. Печально знаменитое циркулярное секретное письмо Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года предписывало «провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применить все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти»; конфисковать все сельскохозяйственные продукты; «провести... в спешном порядке фактические меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли»...

Жестокий террор прокатился по верховьям реки Чир, станицам Еланская, Вешенская, Усть-Медведицкая и другим. Не составляет труда представить, кто уцелел не только в этой кровавой бойне, но и в период империалистической войны и революции. Вдовы, потерявшие мужей-кормильцев; сироты, выросшие к 1930 году без отцов; немощные старики и старухи; нищие, живущие подаянием... Где, когда, кто, в какой литературе мира упрекали писателя за то, что он принял сторону обездоленного человека и встал на его защиту?! Социально-нравственное ожирение захлестывает ныне радикальную беллетристику и публицистику, зараженные валютным человеколюбием и высокомерием к людям, не умеющим жить и делать деньги из ничего...

Не только М. Шолохову, по Ажгихиной, противостоит Ф. Абрамов, но и В. Белову. Причем — решительно и принципиально. Потому что В. Белов посмел «возложить вину за «раскрестьянивание» России на руководителей страны — «троцкистов», Кагановича, Яковлева и пошедшего у них на поводу ради сохранения личной власти Сталина», в то время как коллективизация-де — акт самоистребления народа, продемонстрировавшего собственное рабство, и ничего больше. В. Белову покаяться бы «за весь народ», тогда бы он, по Ажгихиной, стал наследником великих классических традиций, как это сделал, по ее мнению, Ф. Абрамов, «и в этом смыкался» бы, как опять же Ф. Абрамов, с Василием Гроссманом. В частности с оценкой коллективизации Анной Сергеевной из повести «Все течет» — «в ее глазах собственная вина не становится меньше оттого, что все вокруг были «околдованные», что само время лишало многих истинного зрения».

В вольном пересказе Н. Ажгихиной повести В. Гроссмана много лукавства. Если герои Ф. Абрамова действуют из инстинкта и по кровожадной природной сути, то персонаж В. Гроссмана невинно «околдован» и как бы позволительно лишен истинного зрения самим временем. Тут уже начинается «мистика», и необходимо кое-что прояснить, обратившись к первоисточнику. Цитирую: «И я вспоминаю теперь раскулачивание, — говорит гроссманская Анна Сергеевна, — и по-другому вижу все — расколдовалась, людей увидела. Почему я такая заледенелая была? Ведь как люди мучились, что с ними делали! А говорили: это не люди, это кулачье. А я вспоминаю, вспоминаю и думаю — кто слово такое придумал — кулачье, неужели Ленин? Какую муку приняли! Чтобы их убить, надо было объявить — кулаки не люди. Вот так же, как немцы говорили: жиды не люди. Так и Ленин, и Сталин: кулаки не люди».

И я теперь хочу спросить Н. Ажгихину: согласится ли она с тем, что Анна Сергеевна резко противостоит ей в оценке коллективизации и, за вычетом Ленина из монолога героини, разделяет мнение В. Бело-

ва? Далее: смыкается ли В. Гроссман с Ф. Абрамовым, для которого, по Ажгихиной, «идеалы русской революции на протяжении всего пути были... святы, герои революции становились примером, подчас недосягаемым, для потомков»? Действительно ли наследует В. Гроссман великие классические традиции культуры? Тогда какие — Герострата или Смердякова: «Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском крепостном честолюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопидомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков, и в исступлении сектантов, крепостная душа и в ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства».

Когда Н. Ажгихина говорит правду? Когда отлучает В. Белова от классической традиции русской литературы? Или когда геростратовский монолог В. Гроссмана называет покаянием? Или когда Ф. Абрамова изображает как вдохновенного певца извечно рабской психологии русского человека? Или когда, достигая кульминации в пафосе статьи, трибунно требует «общего покаяния литературы за весь народ, от имени народа»? Что и говорить, грандиозная картина, прямо страшный суд какой-то, даже вообразить боязно, сколько много объявится коленопреклоненных и какой кроткий, но мощный стон услышим мы из уст всех абонентов солидного справочника Союза писателей СССР. А перед кем каяться-то? Судя по обращению Н. Ажгихиной с произведениями В. Белова, Ф. Абрамова и В. Гроссмана, в бога критик не верит, ибо христианской заповеди не блюдет — лжесвидетельствует и каяться, надо думать, не собирается. А потом, что это за традиция такая — каяться за народ, откуда она взялась? По литературе хотя бы прошлого века известно: лихой разбойник кается, самозванец кается, дворянин кается, купец кается, батюшка, которого бес попутал, кается, — это есть. Но все они каются не за народ, а перед народом. Не мешало бы, конечно, возродить нам эту смиренную традицию, тем более что кающийся перед народом интеллигент — явление, привычное для дореволюционной России, почему-то прочно забылось со времени Октября.

3

В подготовительных материалах к повести «Поездка в прошлое» есть пространный диалог Микши с «командированным» Кудасовым, касающийся вопроса о том, кто виноват в трагических несчастьях 1930-го и последующих лет. Диалог этот не вошел в повесть. «Возможно, потому, — комментирует его Л. Крутякова-Абрамова, — что в этих спорах-размышлениях Микши много было от раздумий самого писателя». Тот факт, что Ф. Абрамов серьезно думал «за Микшу», предельно напрягая духовные возможности своего героя и в то же время стремясь не нарушить внутренней правды создаваемого характера, делает честь автору «Поездки» как художнику, ибо Микша в споре с Кудасовым — заведомо слабая сторона, в особенности на сегодняшний просвещенный взгляд.

В самом деле, дядья Александр и Мефодий, которыми еще совсем недавно столь гордился Микша и о которых с пафосом рассказывали как о героях в местном музее, оказались не в чести: не то чтобы их официально заклеймили — в народе всякие нехорошие слухи пошли после 1956 года. И хотя в 1957-м братское кладбище вновь украсили (в 1956-м — ни одного флага, ни одного венка), «Микше пришлось все чаще и чаще вступаться за дядьев». Что до Кудасова, то правда вроде на его стороне: убийство им Александра, дяди Микши, как-то легче списывается на его возраст (четырнадцать лет!) и на то обстоятельство, что он вступился за поруганную и наложившую на себя руки сестру. Кроме того, Кудасов спецпереселенец, объявленный вне закона, а Микша — вольный на неволе. И вот они, безвинно виноватый и повинно невиновный, спустя тридцать три года выясняют отношения:

«— ...В этой часовне вашей люди пачками дохли — думаешь, кто там, кулаки-кровопийцы все были? Да кулака-то там днем с огнем не сыщешь. Кулаки-то еще в гражданскую войну все перебиты. Волы, сивые мерины, те, кто из себя жилы рвал, — вот кто в этой часовне умирал.

— Ладно, — согласился Микша, — дров наломали. Не выгораживаю дядьев. Только еще один вопрос: много мои дядья для себя нажили? Ради денег, барахла старались?

Ответа он не дождался. Кудасов опять лежал в задке телеги.

— А, молчишь? — сказал Микша. — То-то. Дядю Александра хоронить стали — гимнастерки переодеть нету. Так в той гимнастерке, в которой зарезали, и положили в гроб. А нынче? Видал, как нынче районные власти живут?»

Ответа от Кудасова Микша не дождался. Что мог сказать Кудасов, человек сосредоточенного ума, немногословный, резкий в суждениях и выводах, человек, пришедший с годами к мысли о непротивлении злу насилием и нравственном самосовершенствовании, человек, в большей степени, чем Микша, выражающий Ф. Абрамова в его максималистских устремлениях?

Безусловно, писатель думал над ответом Кудасова. Причем необходимо было попытаться разрешить тупиковые для Микши вопросы, остро вставшие перед героем в 1956 году и до встречи с Кудасовым в 1963-м официально не только не проясненные, но и не прозвучавшие в полную силу. Как сказал Микше один бывший красный партизан на недоуменное: что, дескать, происходит? — «А я и сам не понимаю, парень... Хрущев где-то, говорят, Сталина прижал — ждут, наверно, когда будет полная ясность».

На закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года «О культе личности Сталина и его последствиях» Н. С. Хрущев, как известно, обошел проблему коллективизации и ни словом не обмолвился о судьбе народа в пору «великого перелома». Официальная концепция истории крестьянства на рубеже конца 20-х — первой половины 30-х годов осталась по существу прежней. «Представим себе на минуту, — говорил Н. С. Хрущев, — что бы получилось, если бы у нас в партии в 1928—1929 годах победила политическая линия правого уклона, ставка на «ситцевую индустриализацию», ставка на кулака и тому подобное. У нас не было бы тогда мощной тяжелой индустрии, не было бы колхозов, мы оказались бы обезоруженными и бессильными перед капиталистическим окружением. <...> ...Подавляющее большинство партии поддержало ленинскую линию, и партия сумела вдохновить и организовать трудящихся на проведение в жизнь ленинской линии партии...» [1].

Обновление и демократизация жизни, у начала которых стоял Н. С. Хрущев, не затронули коренных основ действительности — отношения власти к крестьянству, и это обстоятельство, возможно, затруднило работу Ф. Абрамова над повестью в 1963 году. Во второй половине 60-х, когда, по Абрамову, началась «вторая коллективизация» — борьба с неперспективными деревнями, нанесшая огромный социально-нравственный и материальный ущерб сельскому жителю, писатель вновь вернулся к «Поездке в прошлое». И вопросы Микши («Много мои дядья для себя нажили? Ради денег, барахла старались? А нынче? Видал, как нынче районные власти живут?») сделались актуальными и зазвучали с обновленной исторической силой. Не получившие разрешения в черновых заготовках к произведению, они были сняты в повести Кудасовым, окончательно подытожившим мучительные раздумья Ф. Абрамова о причинах народной трагедии в пору коллективизации.

«— А ты заявлял, нет, куда надо?.. — зачем-то спросил Микша (о расправе Кудасова над его дядей Александром. — В. В.).

— Насчет убийства? — сказал прямо Кудасов. — Нет, не заявлял. — И в темноте криво усмехнулся. — Все жду, когда пример покажут. Те, кто убивал людей сотнями, тысячами, миллионами...»

Ф. Абрамов и В. Белов, таким образом, «в трактовке причин происшедшего» не только не расходятся «резко», якобы вступая — несмотря на разделяющие их произведения годы — в «принципиальный спор», а обнаруживают принципиальное сходство и родство в понимании истории вопроса. «Год великого перелома» В. Белова относится к «Поездке в прошлое» Ф. Абрамова как причина к следствию, даже к одному из последствий: историческая коллизия, интересовавшая Ф. Абрамова в повести, могла бы войти в беловскую хронику на правах фрагмента без всякого насилия над ее идейным содержанием.

Не мешает, думается, прояснить реальное правовое положение крестьянина, сказать о той сокрытой силе, которая развязывала руки для тотальных экспериментов над народными судьбами. Ни «левыми» теоретиками и «вождями» (Л. Троцкий, Е. Преображенский, Л. Крицман, Ю. Ларин и др.), ни «правыми» (Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский), ни учеными-экономистами, выступавшими за равноправие мужика с рабочим в сфере хозяйственной жизнедеятельности, ни авторитетными писателями и литераторами (М. Горький, А. Луначарский и др.) даже не поднимался вопрос о политическом и правовом состоянии и положении крестьянства в стране. В крестьянине вообще не видели человека, не то что личности, на него смотрели как на нечто массовидное, сырое, темное, бескультурное, как на объект переделки, перевоспитания, принуждения и насилия, как на ту, в конечном итоге, жертву, которую без сомнения предполагалось возложить на алтарь мировой революции.

Утверждая неравноправие мужика с рабочим, Н. Бухарин писал в 1925 году, в период успехов нэпа: «Здесь люди очень часто подменяют трезвые рассуждения моральными, которые ничего общего с политикой не имеют. Говорят, например, разве крестьянин не трудится иногда больше, чем рабочий? Где же справедливость, когда вы ему даете меньше политических прав, чем городскому рабочему?.. Не есть ли это отступление от заветов равенства среди трудящихся...

Такого рода рассуждения, кажущиеся иногда убедительными, страдают, однако, тем основным пороком, что они... лишь жалкие слова. Если уж речь зашла о справедливости, то вопрос нужно поставить таким образом:

Справедливо или несправедливо было бы, если бы мы *проворонили все дело социализма?* Справедливо или несправедливо было бы, если бы мы дали возможность буржуазии *околпачить нас и возвратить старый порядок вещей.* Стоит только *таким* образом поставить вопрос, чтобы получить на этот вопрос сразу же отрицательный ответ».

Вопрос о равенстве крестьянина с рабочим отодвигался Н. Бухариным на неопределенное и гипотетическое будущее — когда «политика заменится одним лишь научным управлением и научным руководством — общественным хозяйством». Можно подумать, что политика в отношении крестьянства не выступала под псевдонимом самого последнего слова в науке — «технической реконструкции хозяйства» на рубеже 20—30-х годов и закономерностей научно-технического прогресса, требовавшего покончить с неперспективными деревнями, с конца 1960-х по 1980-е годы.

Гуманитарная подготовка, освящение и оправдание сталинской коллективизации начались задолго до «года великого пере-

[1] В настоящее время вскрыта десятилетиями насаждавшаяся ложь о невозможности успешной индустриализации страны без сталинской коллективизации деревни. См., напр.: Данилов В. П., Тепцов Н. В. Коллективизация: как это было. — «Правда», 1988, 16.09; Данилов В. Феномен первых пятилеток. — «Горизонт», 1988, № 5; Никольский С. А. Административно-бюрократическая система и коллективизация. — «Вопросы философии», 1988, № 12 и др.

ломв». С течением времени все более становится очевидным тот «невинный» вклад в крестьянский вопрос, который стал общим местом и расхожим мнением в декларациях, стихах, прозе и публицистике с конца 10-х годов. Несмотря на разницу, зачастую мнимую, в художественных установках, все эти Пролеткульты, «Кузницы», футуристы, ЛЕФы, конструктивисты, «напостовцы» и т. п., подготовившие к 1930 году монополию РАППа в литературе с ее проповедью «одемьянивания» жизни, призывом ударников от станка в поэзию и прозу, лозунгом «Союзник или враг?», — все они отличались крайним небрежением к деревне и мужику, «старой» культуре, вековым устоям и основам действительности, народным свычаям и обычаям, нетерпимостью к органическому дарованию и таланту. И «мужиковствующий» Н. Клюев имел все резоны не видеть разницы между государственной политикой и поэзией начала 20-х годов, «нутром» предчувствуя, во что обернется их крепкий союз:

По мне Пролеткульт не заплачет
И Смольный не сварит кутью.

Особое место в связи с поднятой проблематикой должно быть отведено великому М. Горькому, значение которого в пореволюционной культуре страны трудно переоценить, — все, что есть замечательного в нашей литературе 20—30-х годов, так или иначе обязано его авторитетному имени. И все же. М. Горький не знал, не понимал и не любил крестьянства. Писатель европейской известности, он издал в 1922 году в Берлине брошюру «О русском крестьянстве», сыгравшую неблаговидную роль в формировании взглядов западного человека на природу и сущность русского характера. «Про него (русского крестьянина. — **В. В.**), — писал М. Горький, — можно сказать, что он не злопамятен: он не помнит зла, творимого им самим, да, кстати, не помнит и добра, содеянного в его пользу другим», «у этого народа нет памяти» и т. п. Когда его взгляды оспаривались, М. Горький уверял, что они примиряют интеллигенцию Запада и некоторых эмигрантов с Советской властью и убеждают «порядочных людей» в правильности политики большевиков по отношению к деревне.

Писателей, обязанных деревне своим рождением и творчеством, он называл мужикопоклонниками и деревнелюбами и призывал к нещадной критике их «идеологии»: «Город и деревня должны встать... лоб в лоб», и «писатель рабочий должен понять это». В 1925 году он писал Н. Бухарину о том, что «коварство истории повелительно диктует необходимость встать к деревне именно лицом, а не затылком» из беспокойства «о целости затылка», а также из опасения, что «мужик съест» и большевика и пролетария, но по «коварству истории» вышло совершенно противоположное, и до сих пор покуда все «едят» бедного Макара и его телят. В 1929 году, накануне сплошной коллективизации, М. Горький уже прямо взывал к Сталину и «исторической необходимости — заставить мужика, истощающего землю своей неумелой — потому хищнической — работой, заставить работать коллективно, продуктивно и бережливо по отношению к почве». Заставить, находя естественным, понятным и оправданным, «если советская власть для того, чтобы поставить человека на правильный путь к лучшему или ускорить его движение по этому пути, будет применять и принуждение».

Идеология и мораль, которые исповедовал М. Горький в своих взглядах на крестьянина, органическим образом привели автора «Жизни Клима Самгина» к восторженному восприятию революционной ломки деревни. И даже большое количество писем, им получаемых и исполненных протеста против насилия, ни в чем не могли переубедить писателя, напротив — он все более утверждался в собственной правоте и праве скверно думать о миллионах своих соотечественников. «Враждебных писем, — признавался М. Горький И. Сталину 8 января 1930 года, — я, как и Вы, как все мы, «старики» — получаю много. Заскоки и наскоки авторов писем убеждают меня, что после того, как партия столь решительно ставит деревню на рельсы коллективизации — социальная революция принимает подлинно социалистический характер. Это — переворот почти геологический и это больше, неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией. Уничтожается строй жизни, существовавший тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника. Таких людей — два десятка миллионов. Задача перевоспитать их в кратчайший срок — безумнейшая задача. И, однако, вот она практически решается.

Вполне естественно, что многие из миллионов впадают в неистовое безумие уже по-настоящему. Они даже и не понимают всей глубины происходящего переворота, но они инстинктивно, до костей чувствуют, что начинается разрушение самой глубочайшей основы их многовековой жизни. Разрушенную церковь можно построить вновь и снова посадить в нее любого бога, но когда из-под ног уходит земля, это непоправимо и навсегда. И вот люди... бешено ругаются... скрывая... мстительное чувство древнего человека, которому «приходит конец». Обратите внимание: из Сибири, с Дальнего Востока ругаются всего крепче, там и мужик крепче». В заключение письма М. Горький как бы успокаивал Сталина и вместе подбадривал его: «А, в общем, все идет отлично. Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Так что не наказывайте ругателей, Иосиф Виссарионович, очень прошу Вас. Те из них, которые неизлечимы, не стоят того, чтобы думать о них, а которые легко заболели, — вылечатся. Жизнь наша — талантливейший доктор».

Концепция народного характера, ядро которого составляет психология тысячелетнего раба, «способного ужаснуть» «уродством», «инстинктом», «патриархальными пережитками», «кровожадностью», стремлением к «сильной власти»,

«монархизму» и т. п., возникла не сегодня и не сегодня оспаривается. Нельзя, однако, не заметить устойчивой закономерности в подобного рода «диалогах»: как правило, на протяжении хотя бы последних семидесяти лет они заканчиваются поражением «мужиковствующей» стороны и неизменно отражаются на состоянии деревни, которую периодически «переделывают» и «спасают», одновременно разграбляя и доводя ее до полного социально-нравственного изнеможения. 1918—1921 — «военный коммунизм»; 1929—1936 — сплошная коллективизация со страшным голодом 1932—1933 годов, охватившим Украину, Северный Кавказ, Поволжье, юг Центрально-Черноземной области, Урал, Северный Казахстан и отчасти Западную Сибирь; 1938—1941 — ликвидация восьмисот шестнадцати тысяч хуторов из боязни возрождения кулачества; 1945—1953 — нечто вроде «военного коммунизма»; с 1954-го — освоение целины и постепенное запустение всей деревни европейской части РСФСР, породившее в 60-е годы проблему Нечерноземья; с 60-х по 80-е — так называемая вторая коллективизация с ликвидацией с лица земли свыше пятисот тысяч сел и деревень как неперспективных, в результате которой по темпам сельскохозяйственного производства мы с тридцатого места в мире в 1960—1970-м годах опустились до сто первого в 1970—1980-м.

Кажется, традиции общинной патриархальности выбиты ныне основательно. И напрасно. Обобщая большой исторический материал, Н. Покровский, член-корреспондент Академии наук СССР, в статье «Мирская и монархическая традиции в истории русского крестьянства» («Новый мир», 1989, № 9) приходит к следующему выводу: «...Культ личности Сталина нельзя списать на традиции «народного монархизма» не только потому, что этот культ настойчиво и целенаправленно внедрялся сверху, а прежде всего потому, что крестьянское общественное сознание всегда отличала ярко выраженная и устойчивая антифеодальная направленность. Методы же сталинской коллективизации во многом возрождали... именно приемы «военно-феодального насилия» над крестьянином. Конечно, такое насилие тоже было традицией. Но традицией правящих верхов общества, а не самого народа».

Тысячи народных восстаний, прокатившихся по стране во время насильственной коллективизации, могут ведь рассматриваться и «как продолжение все той же многовековой антифеодальной борьбы русского крестьянства». А как же иначе? Дремучий по всем параметрам мировоззрения и бытового уклада, почему мужик не может быть косным и в этой тысячелетней традиции? И если В. И. Ленин, имея в виду 1067 крестьянских выступлений, 591 поджог владений помещиков, хуторян и отрубников за период с июня 1907-го по 1914 год, пришел к выводу о полном крахе столыпинской аграрной политики, то почему ни одного из наследовавших ему «теоретиков» не посетила аналогичная мысль даже при самом поверхностном взгляде на статистику его времени.

Только в декабре 1928 — январе 1929-го, во время избирательной кампании, было зарегистрировано около шести тысяч «кулацких» выступлений, направленных на внедрение в Советы «своих» людей, плюс до тысячи трехсот «кулацких мятежей»; в 1930 году в январе — марте — свыше двух тысяч антисоветских вооруженных восстаний, в марте — августе (после известной статьи Сталина «Головокружение от успехов», напечатанной в «Правде» 2 марта) — массовый выход крестьян из колхозов (несколько миллионов дворов) и т. д.

Традицией насилия правящих кругов по отношению к крестьянству, как свидетельствуют приведенные факты, был весьма заражен почти весь «тончайший слой» старой партийной гвардии, некоторая часть авторитетной интеллигенции, авангард в искусстве, Пролеткульты, «комсомольские поэты» и т. п. С той памятной поры осталось немало документов, однозначно «трактующих» вопрос о ней в трагедии деревни. Приведу несколько свидетельских «показаний» писателей.

Прежде чем в августе 1929 года объявить Хопер (ныне Волгоградская область) опытно-показательным округом по сплошной коллективизации, здесь была проведена большая подготовительная работа по встрече четырехсот партийных, советских, профсоюзных и кооперативных деятелей, которые, по замыслу, должны были на практике увидеть преимущества нового типа хозяйствования. Наблюдая за ходом этой подготовки, М. Шолохов писал краевому прокурору Нижне-Волжского края Берзину (ответа не получил), затем Е. Г. Левицкой (29 июля 1929): «Жмут на кулака, а середняк уже *раздавлен*. Беднота голодает, имущество, вплоть до самоваров и полостей, продают в Хоперском округе у самого истого середняка, зачастую даже маломощного. <...> Конфискованный скот гиб на станичных базах, кобылы жеребились, и жеребят пожирали свиньи... и все это на глазах у тех, кто ночи недосыпал, ходил и глядел за кобылицами... После этого и давайте говорить о союзе с середняком. Ведь все это проделывалось в отношении *середняка*.

Я работал в жесткие годы, 1921—1922, на продразверстке. Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко и комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти, а вот этаких «делов» даже тогда не слышал, чтобы делали. <...> ...Надо на густые решета взять всех, вплоть до Калинина; всех, кто лицемерно, по-фарисейски вопит о союзе с середняком и одновременно душит этого середняка».

Из дневника М. Пришвина, осмыслившего события, происходившие в деревнях близ Загорска и Переславля-Залесского (1930 год): «Шалуны государственные постановили обработать общество перед раскулачиванием: эффекты сбрасывания колоколов, разгрома церквей, музеев. В ответ на эти шалости некоторые люди молились Богу!

Поражает наглая ложь. (Умные лгут,

глупые верят.) Пишут, будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами».

«...Все ужасающие преступлении этой зимы относят не к руководителям политики, а к «головотяпам» (запись сделана 16 марта и содержит оценку статьи Сталина «Голонокружение от успехов». — В. В.). А такие люди, как Тихонов, Базаров, Горький, еще отвлеченнее, чем правительство, их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей... Для них, высших бар марксизма, головотяпами являются уже и Сталины... Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками «головотяпства».

«Трагизм Троцкого состоит в том, что он выдумал «левый курс» и сам первый от своей выдумки пострадал: Сталин взял его идею, осуществил, а самого автора выкинул вон. Да, пожалуй, тут пахнет просто комедией, а если трагедия, то, конечно, только в кино. Сталин прав, но в этом и трагедия всей революционной интеллигенции».

Из протокола допроса Н. Клюева 15 февраля 1934 года: «Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. <...> Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение».

В романе «Год великого перелома», посвященном самой яростной поре коллективизации русской деревни (декабрь 1929 — август 1930), В. Белов рассматривает 1930 год как «невиданное в истории преступление» против народа, осуществляемое по изуверскому плану руководимой Яковлевым комиссии, созданной палаческим вдохновением Кагановича по указанию вождя. Смысл романа, однако, глубже, чем выяснение вопроса, который поставил в повести «Поездка в прошлое» Ф. Абрамов. Это не только хроника судьбы крестьянства в известное время, не только произведение о Сталине, Кагановиче и им подобных радикально мыслящих деятелях — это роман о сущности и природе, корнями уходящих в тайну пещерных лабиринтов, тоталитарных режимов власти. В этом смысле роман В. Белова перекликается с замятинским «Мы», поэмой о научном, концептуальном рае, построенном мировой интеллектуальной элитой на крови крестьянства, окончательно изведенного в Двухсотлетней Войне между городом и деревней.

Можно также найти общее между В. Беловым и, скажем, Джорджем Оруэллом с его «1984» («Новый мир», 1989, №№ 2—4), книгой, знакомящей читателя с обществом «Ангсоца», управляемом Внутренней элитарной партией, подменившей жизнь концлагерем, здравый смысл ученым абсурдом, естественность в выражении чувств отработаним машинным этикетом.

В осмыслении Дж. Оруэллом сущности тоталитаризма определенную роль, как известно, сыграли и трагические периоды нашей истории (автор наделил образ Старшего Брата чертами, намекающими на его сходство со Сталиным). Идейная позиция Дж. Оруэлла, которую объективно разделяет автор «Года великого перелома» и вокруг которой ведутся споры на Западе, а теперь и у нас, связана со взглядами писателя на происхождение тоталитарного режима власти и упирается в выяснение вопроса о первоисточнике диктаторской чумы XX века. Художник честного ума и открытого сердца, Дж. Оруэлл объясняет «сталинщину» и аналогичные ей явления не темнотою и предрассудками черни, погрязшей в рабстве, не разнузданностью «шариковых», гибнущих от «самовозгорания» и самоистребления, а «диктатурой дюжины интеллектуалов, правящих с помощью террора».

Разумеется, позиция Дж. Оруэлла не может нравиться интеллектуалам, ибо истинный интеллектуал ни за что не согласится мыслить и чувствовать на уровне людей физического труда; напротив — его обособление и противостояние черни, толпе и большинству есть отличительный признак его оригинальности и своеобразия. Впрочем, интеллектуал ныне перестраивается и меняет вывеску. Ему самому уже не по душе некогда притягательное для него наименование. Изрядно скомпрометированное связью с его якобы антиподом — «тоталитаризмом» (Дж. Оруэллу принадлежит также блестящий оксиморон «тоталитарный интеллектуал»), слово «интеллектуал» вытесняется сегодня понятием «интеллигент». Мода требует быть нравственным, а не токмо умственным. Можно ожидать, что в скором времени «интеллектуальная поэзия», громко заявившая о себе с конца 50-х годов, будет прозываться «интеллигентной». Вообще, по мнению бывших интеллектуалов, слово «интеллигент» лучше, роднее, отечественнее, от него исходит некая эманация кротости и христианской добродетели, под его сенью и пишется много легче, будто рукою движет внушение свыше.

Основное занятие современых «интеллигентов» — искать в каждом человеке презренного раба и клеймить его кличкою «сталинщина», искоренять каленым железом мифы и предрассудки, отсталость и темноту. Не подписали, допустим, старухи из одноименного рассказа Ф. Абрамова письма начальству насчет повышения им пенсии — гляди в корень! Ага, в избе, где они собрались, — портрет Сталина на стене. Всё — рабы! Не откликнулись на призыв писателя повысить надои молока — уже «нация рабов». Взбунтовались против насильственной коллективизации — тоже рабы. Мешкают с ударными темпами перестройки — закоренелые сталинисты. Уже и не знаешь, какою ногой и куда ступить...

Моральный террор, какому подвергаются ныне русский народ, обвиняемый во всех исторических несчастьях страны, и его лучшие писатели, третируемые как враги перестройки, напоминает 20-е годы, время «артподготовки» к «году великого перелома», за которым нас ожидает рай, устроенный по всем законам экономической науки и техники. Скорое приближение этого рая победно внушается всем широким фронтом искусств — поэтически, прозаически, публицистически, музыкально, живописно, скульптурно, юмористически и мистически. На театре тоже великие перемены, и я могу предложить ему репертуар на ближайшую неделю. Понедельник. «Обыкновенный шовинизм», А. Толстого (прежде «Русский характер»); Вторник. «Секс по-сибирски», В. Астафьева (прежде «Людочка»); Среда. «Парад сталинистов», А. Серафимовича (прежде «Железный поток»); Четверг. «Ленин, Сталин и Гроссман», Г. Водолазова (по мотивам повести «Все течет»); Пятница. «Тайна Федора Крюкова», Р. Медведева (прежде «Тихий Дон» М. Шолохова); Суббота. «Притон убийства и разврата», Ф. Абрамова (прежде «Поездка в прошлое»); Воскресенье. «Вологодская мифология», В. Белова (прежде «Год великого перелома»).

За кассовый успех ручаюсь.

«Господи, сохрани и оборони мя от бесовского наваждения», — сказали бы пассивные абрамовские старухи — закоревелые сталинистки, своею дикостью и отсталостью позорящие нас перед «акулами империализма» и «свободным миром», даже не подозревая о том, что они теперь не старухи, а, по новой философской классификации М. П. Капустина, — всего-навсего Каменные гости на «своей родной исторической сцене».

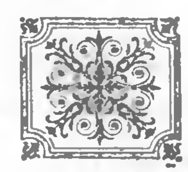
Двужильное тягло России, превозмогшее и коллективизацию, и войну, и гибель мужей и сыновей на фронте, и раннее вдовство, и безотцовщину, и послевоенную разруху, и голод, и чудовищные налоги, и собственную неперспективность последних лет, — дожили наконец-то русские крестьянки до лучших времен! Удостоились почета! Уже не пережитки они крепостничества и мелкособственнической психологии, не подкулачницы, не «бабоньки родные!», как это было в годы войны, не саботажницы, укрывающиеся от непомерных налогов после нее, не бесперспективная деревня недавней поры, а Каменные гости в перестраивающемся Отечестве, призраки «сталинщины» с ее тяжелой поступью и каменною десницей, от пожатия коей замертво падают «отважные Дон Гуаны».

О чем вы говорите, Федор Александрович, со страстью взывая: «Встаньте, люди! Русская крестьянка идет. С восьмидесятилетним рабочим стажем. Да, да, да! На пятом году взяла тетка грабли в руки, да так до сих пор и не выпускает их»?

К чему призываете, земляк?! В тетке-то с граблями и вся опасность ныне; и «нам следует не сражаться... на равных, по-рыцарски», с нею, а «взять в руки молот и разбить истукана на части. Навсегда!». «Бывают случаи в истории, — учит нас сегодня философ М. П. Капустин в недавней книжке «Октября» (1989, № 8), — когда, как говаривал «рыцарь духа» Фридрих Ницше, следует «философствовать молотом»... и таким путем философ может разрешить свои сомнения». Так что не туда зовете, земляк.

Если вы по старинке думали, что философы по-прежнему, как в недобрые застойные годы, должны сидеть по архивам и изучать ветхие документы, то глубоко заблуждались на их счет. Философы теперь («Время же, эпоха не ждут»!) забросили смиренные занятия в библиотеках и музеях и вышли на улицы. Митингуют, скрывая под полою молоты. А вы, понимаете ли, про замшелую тетку с граблями, гнилое человеколюбие да надоевшую социальную справедливость. А того не предвидели, что не устоять темной тетке против европейски образованного и интеллигентного философа с кувалдой, не устоять...

И нет меры счастью и отчаянию вашему!..



КРИТИКА



Отечественный архив

ЯЗЫКИ НЕ ВРАЖДУЮТ...

Марк Александрович Ландау вошел в литературу под именем Алданова. Его жизненный и творческий путь необычен. Сын богатого промышленника с Украины, он получил блестящее образование: окончил физико-математический, а затем юридический факультет Киевского университета. Позже получил диплом Школы общественных наук в Париже. Серьезно занимался химией, опубликовал ряд серьезных научных трудов.

В 1919 году, спасаясь от красного террора, бежал во Францию. Жил в Париже (в 1922—1924 гг. в Берлине). После начала второй мировой войны перебрался со своими друзьями известными меценатами Цетлиными[1] и бывшим российским премьером Керенским в США. В 1946 году вернулся во Францию, похоронен в Ницце.

Почти не проявив себя в России, Алданов, оказавшись на чужбине, очень быстро завоевал громкую славу писателя-романиста. Его дебютом за рубежом стала книга о В. И. Ленине, моментально разошедшаяся и переведенная тогда же на несколько языков. Исторические исследования Алданова, его очерки, заметки на злобу дня печатались в самых популярных изданиях — газете «Последние новости», журналах «Современные записки», «Числа», «Русские записки» и других.

Марк Александрович принялся за осуществление воистину грандиозного замысла — описание европейской истории, начиная с 1762 года (благоразумно опустив эпоху толстовского романа «Война и мир»).

Алданов издал шестнадцать крупных беллетристических произведений, большинство из которых — романы. Их тематическими центрами служат две революции — французская с последовавшими за ней наполеоновскими войнами и Октябрьская в России. Над обоими циклами Алданов работал параллельно. К первым относятся романы «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров».

Попытка исторического осмысления российского Октября, который автор полагает исторической катастрофой, была сделана в романах «Истоки» (1950) и «Самоубийство» (посмертная публикация в 1958 г.).

Заметим, что каждый из алдановских романов, составляющих серию, сам по себе вполне самостоятелен. Однако они между собой тонко связаны — от сложных историко-философских нитей до общих действующих лиц (или их предков и потомков). Легко заметить, что автора привлекают персонажи его книг не своей неповторимостью, в как раз обратным — взаимосвязью во времени, угадыванием родственных черт в различные исторические эпохи.

* * *

Критика (В. Вейдле, Г. Струве и др.) дружно отмечала, что, несмотря на громадный успех исторических романов М. А. Алданова (они переведены на двадцать пять языков), ему еще лучше удались его небеллетристические этюды об исторических деятелях и знаменитых современниках, вошедшие в его книги «Современники» (1928), «Портреты» (1931), «Земля и люди» (1932). В них он сделал попытку разобраться в тех мотивах, которые влекут людей к подвигам и злодействам, в том противоречивом клубке страстей и чувств, которые в конечном итоге творят человеческие судьбы — как отдельные, так и целых народов.

Одним из первых очерков на эту тему стал предлагаемый читателю — «Убийство Урицкого». Он появился в 1923 году в журнале «Современные записки» (№ 16), а затем вошел в книгу «Современники».

---

[1] О характере их «помощи» русским писателям я подробно пишу в романе-хронике «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции (1920—53)», вышедшем в 1989 г. в издательстве «Молодая гвардия».

Алданов пытается ответить на вопрос, который не удалось разрешить Петроградской ЧК во время процесса над убийцей ее главы Моисея Соломоновича Урицкого: что побудило стрелять в него Леонида Каннегисера, юношу, «исключительно одаренного от природы», «получившего от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер»? Что заставляет умного и вроде бы гуманного человека пойти на самое страшное злодеяние — на убийство? Даже если это убийство бескорыстное, из политических соображений или мести...

Конечно, при других действующих лицах все можно было бы свалить на этнические проблемы. Но здесь один еврей стрелял в другого.

Чтобы сколько-нибудь понять драматизм этой самой «этнической проблемы», нелишне будет вспомнить почти неизвестное у нас стихотворение такого подлинного интернационалиста, как И. А. Бунин, созданное в 1918 году и впервые напечатанное лишь после смерти автора его вдовой в 1960-м («Новый журнал», США, Нью-Йорк, № 62, с. 9):

Возьмёт Господь у вас
Всю вашу мощь, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и соратника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове,
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети наши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред Господом, и выраженье лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех. — Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

Замените некоторые географические названия, и стихотворение поразит вас воистину библейским пророчеством, вполне сбывшимся.

Год спустя после публикации «Убийства Урицкого» в тех же «Современных записках» (№ 21) появился документальный рассказ М. И. Цветаевой о поездке в деревню за продуктами с «реквизиционным отрядом» в 1918 году — «Вольный проезд». После очередного «трудового» дня в избу собираются рыцари реквизиций. Они «входили, выходили, пошучивали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние». И далее мы приводим сцену, где действующие лица: автор, теща красноармейца этого реквизиционного отряда, начальник отряда Левит, красноармеец Кузнецов. Речь зашла о христианской религии и вызвала возражение начальника:

«Левит: — Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: — Марксу.
Острый взгляд: — Вот именно.
Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.
(Подскок. — Выдерживаю паузу).
...Как же, — вместе в песок играли: Канегиссер Леонид.
— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!
Я, досказывая: — еврей.
Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!
Теща, не поняв: — Кого жиды убили?
Я: — Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.
Теща: — И-ишь. А что, он тоже из жидов был?
Я: — Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: — Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: — А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно), — ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: — И что же вы этим хотите доказать?

Я: — Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: — Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена РКП, товарища Каплана.

Я: — Под портретом Маркса.
Левит: — И тем не менее вы...
Я: — И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: — А это правильно товарищ говорит. Какая же свобода слова, если ты и пикнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: — Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: — Какое такое оскорбление?

Левит: — Вы изволили выразиться про идейную жертву — жид?

Кузнецов: — Да вы, товарищ, потише, я сам член К-ческой партии, а что я жид сказал — у меня привычка такая!

Теща — Левиту: — Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь — «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается, — и никакие наши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

— Христ-та-а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

— Так вы вот каких убеждений, мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! — Это и к вам, товарищ, относится! — Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да и вас в одну сотую долю секунды...

— И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет! Ишь — расходился! Вот только Кольки моего нет, а то показала бы вам, как на почтенную вдову змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, — такого срама...

Хозяйка: — Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха, отмахиваясь: — И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша — были у нас хлеб да каша, а теперь за кашей за этой — прости Господи! — как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: — Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам, ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо».

Легко предположить, что Цветаева не только читала «Убийство Урицкого», но и творчески его переработала, ввела в свой рассказ.

Надо помнить, что ни Бунин, ни Цветаева — эти два классика русской литературы — никогда не были заподозрены в антисемитских настроениях.

И Бунин, и Цветаева выражали те настроения, которые были присущи интеллигентской среде. (Добавим к ним, разумеется, и Алданова.) Персонажи рассказа Цветаевой — теща, солдат Кузнецов — выражали настроение большей части русского народа. Как и демагогический щит Левита («советскую власть раскачивать?») — на протяжении семи десятков лет безотказно защищал (да и сейчас успешно защищает!) левитов всех национальностей от всякой попытки правдивого изображения истории. Этот же щит пытался закрыть от народного взора темные и кровавые дела Троцкого, Зиновьева, Урицкого, Каменева, а позже Ежова, Ягоды, Берии и иже с ними.

Алданов все же ответил на вопрос, который сам себе поставил: что толкнуло Каннегисера на убийство? Это «и горячая любовь к России... и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых...» (Вспомним аксиому, повторенную Цветаевой: «Евреи, как русские, разные бывают»).

* * *

Перестройка в нашем государстве миллионам советских людей на многое открыла глаза. Народ твердо усвоил, что говорить правду вовсе не означает «раскачивать советскую власть». Наоборот, только правда поможет очистить наш дом от завалов лжи, которые старательно на протяжении десятилетий возводили различные демагоги.

Как это ни прискорбно, но «славный боец» Моисей Урицкий далеко не был «светлым гением революции». Его руки тоже замараны кровью безвинных людей. И надо ли, продолжая не лучшие традиции давно минувших лет, сохранять названия сотен улиц, площадей, заводов и фабрик, даже спортивных клубов (!), носящих вовсе не ангельское имя М. С. Урицкого?

Завалы надо расчищать...

Валентин ЛАВРОВ.

МАРК АЛДАНОВ

УБИЙСТВО УРИЦКОГО

I

Сократ. Или ничего не стоили по-твоему те божественные люди, которые пали под стенами Трои, и первый из них, бесстрашный сын Фетиды. Ему ведь сказала богиня: если ты отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. А он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстив за моего друга.

Платон.

«Не подлежит никакому сомнению, что всякое политическое убийство есть гнусное преступление».

Так писал недавно в передовой статье, по поводу гибели Воровского, один весьма влиятельный орган печати.

Выстрел Мориса Конради нельзя назвать иначе, как бессмысленным актом, он особенно бессмыслен потому, что Воровский был, насколько могу о нем судить, честный и убежденный человек, лично неповинный в преступлениях советской власти.

Так бывает часто. Так бывает даже всегда. Иоанн Грозный доживает до старости, а от рук убийц гибнет его малолетний сын. Николай I умирает в своей постели, а бомба разрывает на части Александра II. Пятнадцать Людовиков, в большинстве очень скверных, проводят безмятежный век на престоле, а шестнадцатый, самый добрый и лучший, всходит на эшафот. Немезида слепа, глуха и глупа.

И все-таки уж очень категорически выражается влиятельный орган печати. Неужели «не подлежит никакому сомнению»? И уж будто «всякое»? И так-таки «гнусное преступление»?

Платон, Шекспир, Вольтер, Мирабо, Шенье, Гюго, Пушкин, Герцен были совершенно несогласны с передовиком влиятельного органа печати.

Шекспир изобразил убийцу Цезаря несравненным образцом добродетели. Ни единого пятнышка не наложил он на облик Юния Брута. Дело не в том, верно ли это исторически. Дело даже не в том, сочувствовал ли великий драматург убийству римского диктатора. Важно, что он допускал возможность самых чистых и благородных побуждений у окровавленного политического террориста.

Историки, политики, поэты вот почти полтора столетия совершенно по-разному расценивают поступок Шарлотты Кордэ. Но разногласия больше не касаются ее личности. Только еще несколько изуверов отрицают высокую красоту морального облика женщины, убившей Марата.

Вечная проблема остается вечной проблемой. Но людей в политике судят не только по делам, — их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел.

Следующие ниже страницы относятся к юноше, так трагически погибшему пять лет тому назад. Я хорошо его знал. Беспристрастно, как мог, я собрал сведения об убитом им человеке. То, что я пишу, не история, а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не видавший ни Каннегисера, ни Урицкого[1].

По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов, самый грешный из всех городов мира...

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Из них были напечатаны, в «Северных записках» и в «Русской мысли», шесть или семь отнюдь не лучшие. Многое другое он мне читал в свое время. Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться.

Не знаю, сколько именно «пролетарских поэтов» породила большевистская ре-

---

Имена и географические названия сохранены в авторском написании (прим. публикатора).

[1] Это, впрочем, не так уж невыгодно для историка. Ему достанется по крайней мере полная свобода суждения и оценки. У меня полной свободы нет.

волюция, — об их шедеврах что-то не слышно. Вот зато другой, очень неполный список: казнен Гумилев, один из самых крупных талантов последнего десятилетия; казнен девятнадцатилетний князь Палей[2], в котором компетентный человек, А. Ф. Кони, видел надежду русской литературы; казнен Леонид Каннегисер...

Но, говоря об исключительных дарованиях убийцы Урицкого, я имею в виду не только его поэтические произведения. Он всей природой своей был на редкость талантлив.

Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты — со старыми заслуженными генералами.

Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейший из людей. О подобных ему сказано у летописца: «никто же их бяше, семи ся мучаху».

Мне были недавно даны выдержки из оставшегося после него дневника. Расстрелян тот, кто писал дневник, расстрелян и тот, кто убрал его в дни, последовавшие за убийством Урицкого[3]. Чудом уцелели и попали за границу эти записки, с которыми связано воспоминание о погибших людях.

Помнится, Михайловский заметил, что только очень одинокие люди могут вести дневники. Вернее было бы сказать: очень одинокие или очень несчастные. Мария Башкирцева, например, уж никак не жила в одиночестве. Но в своей жизни она не насчитывала ни одного дня без мучений. Почему? Она тоже спрашивала: почему?

Pourquoi, pourquoi dans ton oeuvre céleste
Tant d'éléments si peu d'accord! [4]

Я не буду говорить подробно о дневнике Леонида Каннегисера, во многих отношениях поистине поразительном. Он начал свои записи в 1914 году — первая помечена 29 мая. Война застала его — в Италии — шестнадцатилетним мальчиком. Ему страстно захотелось пойти на фронт добровольцем. Родители его не пустили. Как всех мальчиков, его тянуло на войну именно то, чего на войне нет. Но было еще и нечто другое.

Привожу почти наудачу несколько записей:

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кафе, и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом безусловно будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: «иду!» Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: «вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия». А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: «лучше пойду санитаром». Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь — и ничего не делаю.

Другие по крайней мере работают на пользу раненых. Я тоже был раз на вокзале. Одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При мне сняли повязку, и я увидел на его ноге шрапнельную рану в пол-ладони величиною: все синее, изуродованное, изрытое человеческое тело; капнула густо кровь. Доктор сбрил вокруг раны волосы. Фельдшерица готовила повязку. Двое студентов тихонько вышли. Один подошел ко мне, бледный, растерянно улыбаясь, и сказал: «Не могу этого видеть». Раненый стонал. И вдруг он жалобно попросил: «Пожалуйста, осторожней». Я чувствовал содрогание, показалось, что это ничего, и я продолжал смотреть на рану, однако не выдержал. Я почувствовал: у меня кружится голова, в глазах темно, подступает тошнота. Я б, может быть, упал, но собрался с силами и вышел на воздух, пошатываясь, как пьяный.

И это может грозить — мне. Знать, что эта рана на «моей ноге»... И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно-сладкое чувство: «мне не грозит ничего», тогда я знаю: «я — подлец!»

«Сейчас мне пришли в голову стихи: «О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!..» Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки разных стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строчка одушевленная и именно больно страшно заразительной. — Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте, — я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, — но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

«Я теперь сам удивляюсь, как во мне могла быть вера в силу молитвы. «Попросите с верою и дастся вам...» Это вносит путаницу в религиозные представления... Это имеет только один смысл (если это не просто неисполнимое обещание, евангелическая демагогия...). Можно толковать еще так: «С верою вы не станете просить о земных благах (а если просите о них, значит, без веры или с малою), а только о царствии небесном». Но, во-первых, это не ясно, а такие неясности не могут быть случайными, т. е. опять демагогия. А, во-вторых, здесь есть тогда небрежение человеческим сердцем, которое все создано так, что не может не желать жаждущему — студеной струи. Пока в мире есть раны, мучения, смерть, священник всегда уступит дорогу хирургу. Мне это в полной мере понятно только сейчас, когда я только что видел ужаснейшие мучения бесконечно дорогого человека. Потом я, может быть, не обойду опять мимо просветленного убеждения, что страдания — благо, ибо облегчают путь к Царствию Небесному. Ларошфуко говорит: «La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux à venir, mais les maux présent triomphent de la philosophie»[6]. Это так же было бы верно (и более жестоко), если бы вместо la philosophie подставить la religion[7], но Ларошфуко было не до нее».

Я ничего не комментирую. Все дневники немного похожи друг на друга, — даже Толстой и Амиель не составили исключения. Со всеми наивностями стиля и мысли выдержки из дневника Леонида Каннегисера меня поражают. Было бы напрасно искать в них логики. Решение уйти на войну сменяется с решением уйти в монастырь; за страницами чистой метафизики приходят такие страницы, которые жутко читать; восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронеза сменяется восторгом перед Советом рабочих и солдатских депутатов... И на каждой странице дневника видны обнаженные нервы и слышно:

«Душа из тела рвется вон»...

Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало.

Одна характерная сцена осталась, впрочем, у меня в памяти. Она относится к весне 1918 года. Мы долго играли с ним в шахматы. Я жил в том доме на Надеждинской, где помещался книжный магазин «Петрополис». Этот своеобразный кооператив библиофилов скупал тогда книги у своих нуждающихся участников, стараясь их не обижать, и без выгоды перепродавал их членам кооператива, более обеспеченным материально. В ту пору в «Петрополисе» продавалась великолепная старинная библиотека князя Гагарина, состоявшая преимущественно из французских книг 18-го и начала 19-го столетия. Я купил там кое-что, и приобретенные мною книги лежали у меня на столе в кабинете. Мой гость принялся их перелистывать. Заговорив о книгах, я высказал предположение (непроверенное мною и основанное только на их характере), что библиотека эта принадлежала в свое время тому самому князю Гагарину, которому приписывают, — быть может, неосновательно, — авторство анонимных писем, бывших причиной смерти Пушкина.

Леонид Акимович изменился в лице и даже выронил на стол книгу.

— Кем это надо было быть, — сказал он, бледнея, — чтобы написать такое письмо — о Пушкине...

И замолчал. Затем вдруг стал негромко декламировать стихи:

Свободы тайный страж, карающий
кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Для рук бессмертной Немезиды
Лемносский бог тебя сковал...

Он вообще читал плохо, как, кажется, все русские поэты (за исключением изумительного чтеца И. А. Бунина): читал без всякого выражения, неестественно однотонно, точно показывая, что никакая экспрессия, никакое искусство дикции не могут ничего прибавить к красоте самих стихов. Если не ошибаюсь, эту манеру чтения ввел Александр Блок. Но на этот раз молодой человек читал иначе, чем всегда, — или мне теперь так кажется?

— Заметьте, — сказал Каннегисер, оборвав чтение на первом четверостишии, — заметьте, здесь Пушкин сплоховал: в этой строфе нельзя было рифмовать второй стих с третьим. Если третью строчку поставить на место четвертой, выйдет гораздо сильнее... Сплоховал Пушкин, — повторил он, усмехнувшись. — Вот как я написал бы...

И он прочел четверостишие в своей редакции. Его тон был забавен, — усмешка, разумеется, ставила в кавычки эту поправку к Пушкину. Про себя я с ним согласился: так действительно было сильнее[8].

Он помолчал, а затем прочел совершенно изменившимся голосом конец «Кинжала».

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Как сейчас перед собой, вижу его в ту минуту. Он сидит в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось... Мне

---

[2] Сброшен в шахту за родство с царствовавшей династией, — другой причины не было.

[3] Большевистскому следствию этот дневник не дал бы, впрочем, ничего. Он обрывается в начале 1918 года и не касается вовсе заговорщической деятельности Каннегисера.

[4] Почему же танцует тело, в котором части так мало гармонируют друг с другом!

[6] Философия легко побеждает беды минувших дней, но и беды настоящего легко преодолеваются с ее помощью.

[7] Философия — религия.

[8] Вопрос о том, «сплоховал» ли Пушкин, оказывается, однако, довольно сложным. Беловой автограф «Кинжала» считался потерянным; знаменитое стихотворение стало печататься в России лишь с 1876 года — то по тексту «Полярной звезды», то по черновому наброску, то по записной книжке Полторацкого. Теперь же, в первой книге «Голоса минувшего» за 1923 год; М. А. Цявловский опубликовал впервые беловую рукопись Пушкина, оказавшуюся в бумагах Н. И. Тютчева. В этом тексте второй стих рифмуется не с третьим, а с четвертым (как и требовал Каннегисер), но зато третий и четвертый стихи (обычной редакции) идут впереди первых двух:

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий
кинжал,
Последний судия позора и обиды.

жутко вспоминать теперь эти строфы «Кинжала» — в чтении убийцы Урицкого... Страшная вещь искусство! Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии?

Помню, я обратил внимание молодого человека на необыкновенное техническое совершенство этих изумительных строф, на рыдающий звук второго стиха («О Занд»), состоящего из кратких односложных слов, на эффект, достигнутый гласным звуком а. Пушкин, не учившийся в цехе поэтов, знал ухом все фокусы современного стихосложения. Андрэ Шенье в оде, послужившей образцом «Кинжалу», но превзойденной им, использовал сходный драматический эффект: звук ar:

> Le poignard, seul espoir de la terre,
> Est ton arme sacrée...[9]

Но молодой человек меня не слушал (хотя о поэзии мог говорить часами). Он принялся расспрашивать о Занде... Не хочу сказать, будто я стал в тот вечер чего подозревать. Тогда, вероятно, еще ничего и не было задумано.

Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила, — кого же она не захватила так недели две или три?

Он был председателем «союза юнкеров-социалистов». Не поручусь, — как это ни странно, — что он не увлекался и идеями революции октябрьской. Ленин произвел на него, 25 октября, потрясающее впечатление, — об этом я говорил в другом месте.

События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера. Изложение его политической эволюции не входит в мою задачу (да я этой эволюции и не знаю). Но в апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел жгучей ненавистью большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга сделала его террористом.

II

> The last of all the Romans, fare well!..[10]
>
> *Шекспир.*

Петербург в ту пору кишел заговорщиками.

Заговоры, говорят, были всякие: монархические и республиканские, с немецкой ориентацией и с союзной ориентацией. О многих из них мне и теперь ничего неизвестно. Но кое-кого из заговорщиков я знал. Странные это были заговорщики...

«Пушечное мясо» — одно из самых скверных выражений, брошенных в историю Наполеоном. Случайно, должно быть, оно попалось ему на язык, а он сообщал бессмертие всему тому, что ему приходило в голову. События последних лет показали, какой громадный резервуар пушечного мяса представляет собой «цивилизованное человечество». Кто скажет, похвала ли это или брань по адресу современных людей? Чего больше — глупости или героизма — мы видели в последнее десятилетие?

Пушечное мясо революций по моральному составу еще много выше, чем пушечное мясо войны. Есть всеобщая обязательная воинская повинность, нет обязательной повинности революционной. По отношению к революциям мы все a priori белобилетчики. Революции обыкновенно творятся добровольцами.

Я слышал от боевых офицеров, что в пору мировой войны самые плохие солдаты выходили из добровольцев. Думаю, что это верно: так оно было (вопреки распространенной легенде) и в период войн Революции и Империи. Дюмурье ненавидел солдат-волонтеров; недоверчиво относился к ним и Бонапарт...

Трудно было уберечься от крайнего скептицизма при виде тех добровольцев революции, тех молодых заговорщиков, которые в 1918 году подготовляли в Петербурге разные грандиозные предприятия. Опытный конспиратор-профессионал, вроде Гершуни или Савинкова, вероятно, чувствовал бы себя среди них — ну, как фельдмаршал Гинденбург на смотру вооруженных палками, восторженно выстроившихся школьников (такая картинка была недавно напечатана в немецких иллюстрированных журналах).

Конспирация у них была детская — по-детски серьезная и по-детски наивная. Не будучи Шерлоком Холмсом, можно было в каждом из них за версту признать заговорщика. Им не хватало только черных мантий, чтобы совершенно походить на актеров четвертого действия «Эрнани». Леонид Каннегисер ходил, летом 1918 годе, вооруженный с головы до ног. Помню, раз он пришел ко мне ужинать; он имел при себе два револьвера и еще какой-то ящик, с которым обращался чрезвычайно бережно и подчеркнуто-таинственно. Ящик этот он оставил у меня на ночь; на следующее утро зашел за ним и столь же таинственно его унес. Так и не знаю до сих пор, что было в ящике. Я, по Чехову, назвал молодого человека «Монтигомо, ястребиный коготь» — он немного обиделся.

Если не ошибаюсь, он тогда предполагал взорвать Смольный институт (это называется: excusez du peu! [11]). Всякий химик поймет, как легко осуществить такое предприятие. Каннегисер о химии не имел ни малейшего представления. Чему только их учили на «ускоренном курсе» артиллерийских училищ? Химическая война, созданная гением Нернста, Фишера и Габера, была, однако, в полном разгаре.

[9] Кулаки — последняя надежда Земли — являются твоим священным оружием.

[10] Прощайте, последние из римлян!..

[11] Слабая форма извинения (вроде: ну, ладно уж, прости).

Я знал и Перельцвейге, и еще несколько молодых людей, юнкеров и офицеров, принадлежавших к тому же кружку. Они были казнены еще до убийства Урицкого, недели за две или за три. Гибель Перельцвейга, близкого друга Леонида Каннегисера, по всей видимости и была непосредственной причиной совершенного им террористического акта: она страшно его потрясла...

Все эти молодые люди стояли на одинаковой конспираторской высоте. То, что они не были переловлены в первый же день по образовании кружка, можно объяснить лишь крайне низким в ту пору уровнем техники в противоположном лагере. Вместо матерого Охранного отделения была юная Чрезвычайная комиссия, только начинавшая жизнь; вместо Белецкого и Курлова работали копенгагенские и женевские эмигранты. Отдаю должное их молодым талантам: они быстро научились своему ремеслу [12].

Такова была боевая ценность группы заговорщиков, действовавшей в 1918 году в Петербурге. Об их моральном, об их гражданском уровне скажу кратко:

Я не принимал никакого участия в их делах, я был довольно далек от них в политическом отношении; психологически никто не мог быть мне более чужд, чем они. Свое — поэтому беспристрастное — свидетельское показание приобщаю к пыльным протоколам истории: более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса — мне никогда видеть не приходилось. По жертвенному настроению, которое их одушевляло, можно и должно их сравнивать с декабристами Лещинского лагеря, с народовольцами первых съездов или с молодежью, которая в первые — короткие — славные дни добровольческой армии шла под знамена Корнилова... Этих петербургских заговорщиков никто не науськивал на советскую власть. Их на советскую власть, главным образом, науськивал Брест-Литовск.

Они ничего не желали для себя, да и не могли желать. По их молодости, по их политической незрелости им нельзя было рассчитывать ни на какую карьеру. В лучшем случае, в случае полного успеха, в случае свержения советской власти, их послали бы на фронт — только и всего. При всей своей неопытности, они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них девять шансов из десяти — попасть в лапы Чрезвычайной комиссии. Десятый же шанс заключался в том, чтобы вести — к новым Калущам — солдат, которые воевать не хотели. Но и на это почти не было надежды. «La mort, a mille aspects, le gibet en est un» [13],— говорит кто-то у Виктора Гюго, кажется, в «Marion Delorme». У них, у этих заговорщиков, в сущности, не было другой перспективы, кроме палача.

Все они палачу и достались.

Впрочем, не все... Тот, кто был тогда их руководителем, давно продал свою шпагу — и теперь верой и правдой служит Советской власти. Его я также хорошо знал. Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он ненадолго вспомнит о погибших людях, на крови которых он делал и делает политическую карьеру. Это только напоминание — так, к слову: на «угрызения совести» я нимало не рассчитываю.

III

> *Урицкий, Моисей Соломонов, мещанин гор. Черкасс, комиссионер по продаже леса... Не производит впечатления серьезного человека.*
>
> *Документы б. Московского Охранного отделения. Большевики, Москва, 1918, с. 238.*

Человек, который в ту пору почти бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной коммуне, был Урицкий.

В иллюстрированном приложении к «Петроградской правде» 31 августа 1919 года, в годовщину «предательского [14] убийства», помещена биография погибшего шефа Чрезвычайной комиссии. Вот что мы в ней читаем:

«Моисей Соломонович Урицкий родился 2-го января 1873 года в уездном городе Черкассах, Киевской губернии, на берегу реки Днепра. Родители его были купцы. Семья была большая, патриархальная. Обряды, благочестие и торговля — вот круг интересов семьи. Когда мальчику исполнилось три года, отец его утонул в реке. Мальчик остался на попечении своей матери и старшей сестры — Б. С. Молодой М. С. до 13 лет изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда. Единственным отрадным явлени-

[12] Думаю, впрочем, что и теперь Чрезвычайная комиссия по технике стоит значительно ниже Департамента полиции.

[13] У смерти тысячи лиц, и дикий зверь — одно из них.

[14] Глупость этого эпитета в применении к поступку Леонида Каннегисера достаточно очевидна. Констатирую, что самодержавное правительство обнаруживало и здесь значительно больше вкуса, чем нынешнее: оно в официальных актах убийство царей и сановников обыкновенно называло «злодейским», а не «предательским».

ем в эти годы являлась его близость к природе. В свободные минуты мальчик уходил на берег живописного Днепра. Здесь мы должны видеть первоисточник той мягкости и добродушия, которые отличают М. С. во всю его жизнь. Интересы сестры его были направлены в другую сторону. Она рано угадала блестящие способности своего младшего брата и страстно желала приобщить его к русской культуре. Ей это удается. В 13 лет М. С. против воли матери «набрасывается» на изучение русского языка, вкладывая в это весь свой юный пыл. Он блестяще выдерживает вступительный экзамен и несмотря на процентную норму поступает в Черкасскую прогимназию»...

Дальше в том же роде. Будущий русский министр внутренних и иностранных дел, начавший в 13 лет изучение русского языка, еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и «всецело отдался партийной работе». В 1906 году, «даже царские чиновники нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. М. С. переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнанья, тов. Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах... Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его».

Я не знаю, кто автор биографии Урицкого, появившейся в советском официозе; вероятно, рядовому публицисту она не могла быть поручена. Не скрываю, мне ее чтение доставило некоторое удовольствие: уж очень забавен поэтический колорит, наведенный большевистским фармацевтом на личность Урицкого. Что-то в трогательном очерке этом предполагалось, по-видимому, от Гоголя, что-то предполагалось и от Руссо. Хороша и «отрадна близость к природе» с «посещениями берега Днепра», в которых «мы должны видеть» — этакая чудесная сила днепровских берегов! — первоисточник мягкости и добродушия будущего шефа чрезвычайки. Хорош и героический характер всех поступков Урицкого. Великое будущее молодого М. С. было впервые угадано его сестрой (так же, как это случилось с Эрнестом Ренаном), и ей, на счастье родины, «удается приобщить его к русской культуре». Русскую азбуку он не просто изучал, а «набрасывается» на нее, «вкладывая в это весь свой юный пыл». В черкасскую прогимназию поступает тоже не просто, а «блестяще». Выходит из школы с «блестящими знаниями по русской и всемирной литературе». Партийной работой занимается не как тысячи других людей, а «отдается ей всецело». О русской революции до него доходит в Копенгагене «весточка». Полицейская работа его в Чрезвычайной комиссии есть «бурная, полная огня и силы деятельность». И вся личность поставщика петербургского эшафота настолько исполнена «своеобразной романтической мягкости и добродушия», что перед ней невольно снимают шляпу и враги, вроде как у Шекспира Антоний и Октавий Август почтительно склоняются над мертвым телом Брута: ведь даже царские чиновники заменили ему в свое время ссылку «принудительным отъездом за границу», — чего, кстати сказать, романтический добряк, в свою бытность руководителем ЧК, не сделал ни для одного из царских чиновников. Их подвергали другой участи, — тоже «принудительно».

Должен сказать, что в изображении необыкновенной доброты, гуманности и великодушия Урицкого еще гораздо дальше, чем анонимный поэт из «Правды», идет другой биограф, — общепризнанный авторитет по вопросам благородства и чести: Зиновьев. Он посвятил убитому чекисту большую статью в «Известиях»[15]. Статья эта начинается словами: «Убит тов. Урицкий. Убийца, как и следовало ожидать, правый эс-эр, студент Каннегисер». Каннегисер никогда не был социалистом-революционером, и большевики прекрасно это знали[16]. Кончается же статья Зиновьева так: «На контрреволюционный террор против лиц, рабочая революция ответит террором пролетарских масс, направленным против всей буржуазии и ее прислужников»[17]. Гнусный лжец-погромщик выдал Урицкому аттестат кротости и Монтионовскую премию за добродетель: «Урицкий, — пишет Зиновьев, — был *один из гуманнейших людей нашего времени*. Неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов, он вместе с тем был человеком *добрейшей души и кристальной чистоты*».

Опять замечу: много некрологов было посвящено убитым министрам и полицейским чиновникам царского времени, но я не помню, чтобы самый последний продажный писака называл Плеве «одним из гуманнейших людей нашего времени» или фон Валя «человеком добрейшей души и кристальной чистоты». Не помню также, чтобы работа Герасимова и Курлова именовалась «бурной, исполненной огня и силы деятельностью». Положительно, чувства приличия у официозов самодержавного периода было много больше, а уверенности в непроходимой глупости читателей — много меньше (...).

Урицкий был комический персонаж.

Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая, по-утиному переваливающаяся фигурка, на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, смазанный чем-то, аккуратный проборчик, огромное пенсне на огромном носу грибом. Он походил на комиссионера гостиницы, уже скопившего порядочные деньги и подумывающего о собственных номерах для приезжающих, или на содержателя ссудной кассы, который читает левую газету и держится передовых убеждений. Вид у него был чрезвычайно интеллигентный; сразу становилось совершенно ясно, что все вопросы, существующие, существовавшие и возможные в жизни, давно разрешены Урицким по самым передовым и интеллигентным брошюрам; вследствие этого и повисло раз и навсегда на его лице тупоироническое самодовольное выражение. В общем, вид у него был довольно противный, хотя и гораздо менее противный, чем, например, у Троцкого или у Зиновьева. В Троцком все отвратительно — от его острой улыбочки до приставных манжет, неизменно выскакивающих из рукавов в патетические моменты речи. Физиономию Зиновьева я затруднился бы даже описать в литературных выражениях[18]. Наружность Урицкого чрезмерного отвращения не вызывала.

Не вызывала особо сильных чувств и его личность. Коммунисты, как водится, изобразили его беззаветным рабом идеи, фанатиком большевистского Корана. Сомневаюсь, чтобы это было так. Фанатик — комиссионер по продаже леса![19] И лицом Урицкий нимало не был похож на фанатика... Да и в самый Коран он уверовал только за несколько месяцев до своего конца.

Урицкий всю жизнь был меньшевиком. В годы эмиграции он состоял чем-то при Г. В. Плеханове, — кажется, личным секретарем. Покойный Плеханов, подобно Ленину и Саре Бернар, любил окружать себя бездарностями.

У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной[20]. В 1912 году он был, однако, избран в их Организационный комитет.

Избрание это произошло при следующих обстоятельствах, на которых, быть может, стоит остановиться. В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций (преимущественно — но не исключительно — меньшевистских). Это была одна из очередных попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский Центральный Комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии не большевистского толка: Аксельрод, Мартов, Абрамович, Медем, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и др. Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором.

Попала, однако, в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу: сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить ленинский Центральный Комитет. Группу эту составляли два делегата — «Лапка» и «Петр». Действовали они по совершенно разным побуждениям.

Член Конференции «Лапка» принадлежал к большевистскому течению и, если не во всем тогда сходился с Лениным, то в некоторых отношениях был скорее левее, чем правее диктатора. Он с той поры проделал довольно значительную политическую эволюцию — и теперь благополучно издает, вместе с гг. Ефимовским и Филипповым, монархическую газетку. «Лапка» был Григорий Алексеевич Алексинский.

Член Конференции «Петр» имел несколько имен. Его иначе звали в партии «Александром» и «Кацапом». Настоящее имя его было Андрей Александрович Поляков. Но у него еще имелась и другая кличка — «Сидор». Под этим псевдонимом его знало Охранное отделение. «Петр» был секретный агент Департамента полиции.

Департамент полиции имел видных и опытных провокаторов в каждой группе РСДРП. В ленинском Центральном Комитете его представлял «Портной» (член Государственной думы Малиновский). В Центральном областном бюро партии служил другой замечательный провокатор, «Пелагея» (А. Романов), личный друг семьи Ленина. Московские организации находились в ведении Лобова, тоже очень ценного сотрудника (страдавшего, однако, запоем). «Правду» редактировал охранник «Москвич» (М. Черномазов). В Париже работал человек с нежными французскими именами: «Андре» и «Доде» (доктор Яков Житомирский) и т. д. Одним словом, дело было поставлено хорошо.

Департамент полиции трудился со вкусом и с любовью. Начальники охранных отделений (особенно столичных) были большие знатоки дела и проявляли живейший интерес ко всем идеологическим течениям подпольных партий. Они входили, так сказать, во вкус революции, перенимали язык, термины, манеру мысли партийных людей, сочувственно изучали индивидуальность отдельных революционеров. Стиль циркуляров Департамента полиции и донесений его агентов — неподражаем. Так, например, об одном из течений РСДРП Департамент неодобрительно замечает: «склонно к оппортунизму». В характеристике Луначарского имеются умиленные слова: «обладает симпатичной внешностью». Нравился Департаменту полиции лицом и Ленин: он «наружностью производит впечатление приятное». Зато менее приятен характер большевистского папы: «Ленина словом не прошибешь», — мрачно говорится о нем в одном донесении... Очень неодобрительно отозвался Департамент полиции о нарушениях партийной дисциплины: так например, в сообщении его начальнику московского Охранного отделения (24 июня 1909 года) говорится

---

15 Г. Зиновьев. Моисей Соломонович Урицкий. «Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», № 194 (337).

16 См. официальное сообщение о расстреле Леонида Каннегисера: «От Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» («Северная коммуна», № 133). Статья Зиновьева напечатана в годовщину убийства

17 Как известно, после убийства Урицкого в Петроградской коммуне, находившейся в ведении Г. Зиновьева, было в одну ночь расстреляно пятьсот ни в чем не повинных людей.

18 Это совершенно объективная характеристика. Во внешности Каменева или Рязанова нет ничего отталкивающего — напротив.

19 Замечу, что целый ряд большевистских «фанатиков» занимался до революции делами, фанатизма не требующими и не предполагающими: Калинин был служащим городского трамвая, Джугашвили (Сталин) — бухгалтером, Красин — директором завода, Свердлов — аптекарским учеником, Ганецкий — приказчиком и т. д.

20 Это подтвердил в разговоре со мной и Р. А. Абрамович. И. Г. Церетели, несколько раз встречавшийся с Урицким, говорил мне, что на него будущий народный комиссар Северной коммуны производил впечатление очень серого и ограниченного человека

почти с возмущением о том, что «члены Большевистского Центра — Богданов, Марат и Никитич (Красин) перешли к критике Большевистского Центра, склонились к отзовизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против Большевистского Центра вообще и отдельных его членов в частности. Так, они открыли школу на острове Капри, у Горького». У начальника московского Охранного отделения была, однако, своя собственная информация — и он в ответном письме Департаменту полиции (от 7 июля 1909 года) мягко заступается за Богданова, Марата и Никитича. «Никакой агитации против Большевистского Центра указанные лица не ведут; школа открывается не на похищенные в Тифлисе деньги, а на деньги, пожертвованные Горьким и другими лицами... У Богданова, Марата и Никитича идут, отчасти на почве философского и тактического разногласия, а главным образом на личной почве, трения с Лениным, и главным образом с «Виктором». Последний, вопреки положительному отношению трех названных лиц к Большевистскому Центру, хочет вызвать раскол и обвиняет их в отзовизме и ультиматизме, а равно и похищении денег». Поистине, если судить по стилю писем, то пришлось бы сделать вывод, что и Департамент полиции, и московское Охранное отделение менее всего думали о грабеже казенного транспорта[21]. Их волновало то, вправе ли Богданов и Красин давать партийные деньги на школу в Капри и действительно ли они повинны в отзовизме и ультиматизме.

Едва ли нужно пояснять, что эта поразительная мягкость и любезность слога, свидетельствующие о каком-то психологическом раздвоении, нимало не мешали Департаменту полиции вести по отношению к большевикам очень определенную (хотя и не совсем понятную) политику. О политике этой в целом я здесь говорить не буду, — о ней можно написать длинную книгу. Скажу лишь, что, по вполне понятным причинам, Департамент полиции упорно стремился помешать объединению разных фракций Российской социал-демократической рабочей партии. Об этом был даже издан особый циркуляр, требовавший от всех секретных сотрудников, «чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно-настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений и в особенности объединения большевиков с меньшевиками».

В полном согласии с руководящей идеей Департамента полиции, член Конференции Петр, он же секретный сотрудник московского Охранного отделения Андрей Поляков, с самого начала Венской Конференции подкладывал явные и тайные мины под идею объединения партии. «Петр» был избран председателем комиссии по проверке мандатов (здесь следовало бы поставить в скобках слово «sic» с восклицательным знаком). У него у самого мандат оказался, как и следовало ожидать, в полном порядке[22]. Но на правильность мандатов других участников Конференции, не являвшихся делегатами Охранного отделения, Петру удалось набросить легкую тень. После того как партийные мандаты были проверены агентом Департамента полиции, возник вопрос о наименовании Конференции. При содействии г. Алексинского «Петру» удалось сразу провалить мысль о том, чтобы Венская Конференция была признана общепартийной. Тщательно противился он — опять-таки при содействии «Лапки» — включению в резолюцию каких бы то ни было фраз, которые могли бы рассматриваться, как прямое или косвенное порицание политики Ленина и его Центрального Комитета. Такие фразы неоднократно предлагались Троцким (здесь опять следовало бы поместить слово «sic» с восклицательным знаком), Абрамовичем, Мартовым. И всякий раз делегаты Петр и Лапка, грозя немедленным своим уходом, проваливали соответствующие пункты резолюции. Настроение Конференции понижалось. Наконец, покойный Мартов, отличавшийся энергичным темпераментом, не выдержал и произнес резкое слово против большевиков, назвав их «политическими шарлатанами». Удар грома! Обиды, нанесенной Ленину, не стерпел нынешний редактор «Русской газеты»: Г. А. Алексинский с негодованием вскочил, подал заявление об уходе с Конференции и покинул зал заседания. За ним в полном восторге последовал агент Департамента полиции. Это произвело еще более потрясающее впечатление. Начались закулисные совещания. После долгих уговоров Мартова убедили заявить о том, что его слова были дурно поняты: он имел в виду не Ленина, а «беспартийные хулиганские банды». Поправка представляется не совсем понятной, но ее немедленно сообщили на квартиры «Петру» и «Лапке». Г. Алексинский и после того не счел возможным вернуться на Конференцию. Сотрудник же Охранного отделения согласился сменить гнев на милость: ему было ясно, что настоящее объединение все равно провалено.

И действительно, в результате Конференции создалось довольно грустное настроение. Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного Организационного комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции. Часть вождей, кроме того, в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуру своих людей. В Комитет попали малоизвестные и приемлемые для каждого «работники», — в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он был избран, как представитель «группы Троцкого». В эту группу входило во всей вселенной человек пять или шесть.

[21] Дело шло о тифлисском ограблении 1907 года. Это «мокрое» дело было организовано Сталиным (Джугашвили) — по всей вероятности, по поручению или, по крайней мере, с ведома Ленина.

[22] В. И. Николаевский, известный знаток истории РСДРП, показывал мне, однако, письмо Л. Мартова, писанное с Венской Конференции, — в письме этом говорится о подозрениях, которые уже тогда возбуждала личность «Петра».

Так вышел в большие социал-демократические люди будущий глава Чрезвычайной комиссии.

Во время войны он не играл видной роли. Он жил в Копенгагене и, если не ошибаюсь, был близок к Парвусу. После той «весточки», о которой говорит его биограф из «Правды», он вернулся в Россию — и стал осматриваться. Примкнув для начала к так называемой междурайонной группе РСДРП, занимавшей промежуточное место между большевиками и меньшевиками-интернационалистами. Летом 1917 года еще нельзя было сказать с уверенностью, ждет ли большевиков блестящее будущее. Но зато было совершенно очевидно, что у меньшевиков-интернационалистов нет никакого будущего. Урицкий подумал — и, как Троцкий, стал большевиком. Много честолюбцев и проходимцев переметнулось тогда в коммунистический лагерь. Урицкий не был проходимцем. Я вполне допускаю в нем искренность, сочетавшуюся с крайним тщеславием и с тупой самоуверенностью. Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком. Характеристика, данная ему Охранным отделением, весьма близка к истине.

В дни октябрьского переворота Урицкий был членом Военно-Революционного комитета. Затем стал комиссаром по делам Учредительного собрания и в этой должности вел себя крайне нагло и вызывающе. Новое повышение в чине дало ему пост народного комиссара Северной коммуны — по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела предполагали в первую очередь руководство Чрезвычайной комиссией; с ней и связана вся последующая деятельность Урицкого.

Почему он избрал для себя полицию? Перед ним были открыты все дороги. Мест было очень много, а людей — в ту пору — еще очень мало; каждый брал, что хотел. Характер отдельных большевистских вождей сказался в сделанном ими выборе: Ленин взял полноту власти. Троцкий — место, которое должно было сразу стать на виду у всего мира (Комиссариат иностранных дел), — его военный гений еще не открылся: тогда военным гением был Крыленко; Дантонов, Робеспьеров, Гошей оказалось сколько угодно. Фуше и Фукье-Тенвилей не хватало. Урицкий воевать не любил, говорить не умел. Партия предложила ему пост главы Чрезвычайной комиссии. По словам Зиновьева, для Урицкого была законом воля партии (партии, к которой он только что примкнул)...

Урицкий от природы не был жесток. Он был скорее даже несколько сентиментален. В ту пору, когда по России прогремел «Конь бледный», он зачитывался книгой Ропшина-Савинкова и, вслед за гуманным автором, растроганно повторял: «Не убий...».

Я слышал от одного видного меньшевика такое объяснение роли Урицкого: поздно примкнув к большевистскому движению, он чувствовал себя виноватым перед революцией и за свою вину наказал себя тяжким крестом Чрезвычайной комиссии. Может быть, в погоне за инфернальностью Урицкий тешил себя и этим мотивом.

В деятельности начальника тайной полиции есть нечто романтическое, соблазняющее людей и покрупнее Урицкого, — как Фуше или П. Н. Дурново. Прибавка эпитета «революционный» усиливает во сто раз романтический элемент и облагораживает его. Революционный генерал гораздо больше царского генерала. Быть «жандармом-опричником» — позорно; «расстраивать козни контрреволюционеров» — прекрасно. О, магическая власть слова! Жизнь Урицкого была сплошная проза. И вдруг все свалилось сразу: власть, — громадная настоящая власть над жизнью миллионов людей, власть, не стесненная ни законами, ни формами суда, — ничем, кроме «революционной совести»,— огромные безграничные средства[23], штаты явных и секретных сотрудников, весь аппарат государственного следствия... У него знаменитые писатели просили пропуск на выезд из города! У него в тюрьмах сидели великие князья! И все это перед лицом истории! Все это для социализма! Рубить головы серпом, дробить черепа молотом!..

Слабая голова Урицкого закружилась. Он напялил на свое кривое тело красный оперный плащ и носил его с неловкостью плохого актера, с восторгом мещанина-честолюбца, с подозрительностью нескоро оцененного неудачника. Как он вел себя в должности начальника Чрезвычайной комиссии, достаточно известно[24]. Объезжая тюрьмы, он сам говорил прежним сановникам, что ставит себе образцом — Плеве. Те «добрые задатки», которые имелись в его характере, в ужасной обстановке Чрезвычайной комиссии исчезли очень быстро и безвозвратно. Этот человек, не злой по природе, скоро превратился в совершенного негодяя. Он хотел стать Плеве — революции, Иоанном Грозным — социализма, Торквемадой Коммунистического Манифеста. Первые ведра или бочки крови организованного террора были пролиты им... Инфернальность его росла с каждым днем. Он укреплял себя в работе вином. От человека, близко его знавшего, я слышал, что под конец жизни Урицкий стал почти алкоголиком.

Я слышал, однако, и другое. Мне говорили, что труды в Чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы упорядочить террор, но встречал будто бы сопротивление в Со-

[23] Этих средств он не клал в карман. Думаю, что он был неподкупен. Слухи о его продажности ходили упорно, но об основаниях их мне ничего неизвестно.

[24] Сведения об этом можно найти и в только что вышедшей книге М. С. Маргулиеса: «Годы интервенции». «Секретарь датского посольства Петерс рассказывал Х., как ему хвастался Урицкий, что подписал в один день 23 смертных приговора» (т. 2, с. 77). Таких рассказов — возможно, преувеличенных — ходило по Петербургу много.

вете Народных Комиссаров[25] и в разнузданной стихии «районов». В «районах» людей резали без формальностей, а ему хотелось, чтобы казнимые проходили через «входящие» и «исходящие». Мне говорили даже, что за несколько дней до убийства Урицкий подал прошение об отставке. Ссылки на вину «разнузданной стихии» хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, «страдали», и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина[26]. «Упорядочить террор» чрезвычайно хотел Марат, а Робеспьер как раз за несколько дней до 9-го термидора собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня. Но я не отрицаю того, что из чекистов Урицкий был далеко не самый худший.

Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю, — несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое — резало глаз именно элементом смешного... Я видел его в залах Таврического дворца, где он был некоторое время хозяином... Если есть в мире здание, которое не следовало обращать в парламент (а тем более в революционный Совет или в Учредительное собрание), — это Старовский дворец Потемкина. Разумеется, выбор царского правительства, назвавшего Петербург Петроградом, должен был в свое время остановиться именно на Таврическом дворце. (Не проявила лучшего вкуса и революция, обосновавшаяся в Смольном институте.)[27] История Таврического дворца — сплошной парадокс. Карамзин совершенно напрасно там умер, — философски это было неуместно. Не на месте были там и Муромцев, и Головин, и Хомяков (они все трое гораздо знатнее Потемкина, это показывает, что так называемая «порода» тут совершенно ни при чем). Урицкий, в качестве хозяина Таврического дворца, казался пародией... Более самодовольной пародии я что-то не запомню.

IV

Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийцы Урицкого, мне не ясен. Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком? Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения заядлого сторонника террора.

Сообщников у Каннегисера, по-видимому, не было. Большевистскому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты[28] офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».

По признанию следствия, нашедшему отражение в том же документе, «точно установить путем прямых доказательств, что убийство тов. Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось»[29]. Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была, — и кивало, как водится, в сторону «империалистов Антанты»[30]. У Антанты были тогда — летом 1918 года — другие занятия. Ллойд-Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкэнэна, монархомаха 16-го столетия. Что до Клеманко, то, хотя он и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, но организацией покушений на русских чекистов он, конечно, не занимался и своим представителям это не поручал.

Я склонен думать, что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация — ни та, в которой он состоял вместе с Перельцвейгом, ни какая бы то ни было другая — не поручала ему убивать шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии. Непосредственной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле было желание отомстить за погибшего друга (только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого). Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники, и ненависть к ее поработителям, и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых, и дух самопожертвования — все то же «на войне ведь не был», и жажда острых мучительных ощущений — он был рожден, чтоб стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страданья», — нет, не выдумано поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура.

Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Г. А. Лопатина, и, думается мне, ставил его себе примером, — пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их заговорщическом кружке, он в тот последний год своей жизни уже был неспособен ни к какой работе, да и чувствовал бы он себя среди этих конспираторов приблизительно так, как себя чувствовал Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще следующее:

В тот самый день, когда мать Леонида Каннегисера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили из больницы, что Герман Лопатин умирает. Р. Л. Каннегисер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал Р. Л., что счастлив увидеть ее перед смертью.

— Я думал, вы на меня сердитесь...

— За что?

— За гибель вашего сына.

— Чем же вы в ней виноваты?

Он промолчал — не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов.

Едва ли он имел основания обвинять себя в чем другом, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Каннегисером, он очень любил молодого человека.

В том же документе официального происхождения говорится еще следующее:

«Установить точно, когда было решено убить тов. Урицкого, Чрезвычайной комиссии не удалось, но о том, что на него готовится покушение, знал сам т. Урицкий. Его неоднократно предупреждали, и определенно указывали на Каннегисера, но т. Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо по той разведке, которая находилась в его распоряжении».

Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террориста, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации и что в организацию эту входил (или, по крайней мере, имел к ней отношение) агент Чрезвычайной комиссии. Но это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки: «точно установить... не удалось». Притом какие же основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Каннегисера? Выследить его было очень нетрудно: он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу.

И тем не менее есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Каннегисере?.. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке г. Антипова.

Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства Каннегисер с усмешкой сказал одному своему знакомому:

— NN, знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?

— С кем?

— С Урицким[31].

Больше ничего. NN в ту пору не обратил внимания на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в Чрезвычайную комиссию! NN, как и я, пишущий эти строки, узнал об убийстве Урицкого вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как и я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Каннегисера...

В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому?.. И все-таки это очень странно... Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому не известному петербуржцу едва ли можно было — даже в то время — вызвать к аппарату самого начальника Чрезвычайной комиссии. Во всяком случае надо было себя назвать. Или Каннегисер прикрылся вымышленным именем? Но почему же Урицкий подошел к телефону на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же именно сказал народному комиссару будущий его убийца?

Не могу понять — и ни минуты не сомневаюсь в верности сообщения NN. Не сомневаюсь, ибо я знал Леонида Каннегисера. Это был его стиль... Нет, стиль — неподходящее выражение. Но я чувствую, что независимо от возможного дела (что еще такое он мог придумать!) ему нужно было, ему психологически было необходимо это жуткое, страшное ощущение... Зачем Раскольников после убийства ходил слушать звонок в квартире Алены

[25] Один из виднейших большевиков говорил Р. А. Абрамовичу: «Настоящий убийца Урицкого — Зиновьев. Он предписывал все то, за что был убит Урицкий». Этот большевик, кстати сказать, уже несколько лет не подает Зиновьеву руки.

[26] «Золотое сердце» Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечной доброте Ленина я лет шесть тому назад слышал рассказ Максима Горького: знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми.

[28] За «аресты»!..

[27] Н. Н. Суханов в «Записках о революции» (т. V, с. 195—196) рассказывает о переезде Совета из Таврического дворца в Смольный институт, который не понравился автору «Записок»: «Правда, по соседству были чудесные памятники архитектуры, во главе с монастырем; я лично помню, как я ахнул и остановился, увидев его впервые...» Н. Н. Суханов провел, кажется, бо́льшую часть жизни в Петербурге. Тем не менее Смольный монастырь он впервые увидел тогда, когда поблизости обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов. Если б некоторый интерес к художественной культуре страны считался обязательным условием для занятия устроением ее судеб, — то сколько бы у нас осталось политических деятелей?

[29] И. Антипов. «Очерки из деятельности Петроградской Чрезвычайной Комиссии». «Петроградская правда».

[30] В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, спасаясь после убийства, Каннегисер ехал на велосипеде по Миллионной — к английскому посольству, где хотел найти убежище.

[31] NN не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцвейга и его товарищей или до нее.

Ивановны?.. Зачем Шарлотта Кордэ до убийства долго разговаривала с Маратом?..

Я уехал из Петербурга еще до ареста Перельцвайга. В последний раз я видел Леонида Акимовича в июле 1918 года, в квартире его родителей на Саперном. Он был оживлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-нибудь на юг: Петербург — гиблое место...

После потрясшей его казни товарищей он больше дома не ночевал. Тогда почти половина столицы старалась ночевать вне дома (аресты почему-то производились ночью). Родные Леонида Каннегисера ничего не подозревали и ни о чем его не спрашивали. Он сам ничего о себе не говорил.

16 (29) августа (накануне убийства Урицкого) он пришел домой, как всегда, под вечер. После обеда он предложил сестре почитать ей вслух, — у них это было в обычае. До того они читали одну из книг Шницлера и она еще не была кончена. Но на этот раз у него было припасено другое: недавно приобретенное у букиниста французское многотомное издание «Графа Монте-Кристо». Несмотря на протесты, он стал читать из середины. Случайность или так он подобрал страницы? Это была глава о политическом убийстве, которое совершил в молодости старый бонапартист, дед одной из героинь знаменитого романа...

Он читал с увлечением до полуночи. Затем простился с сестрой... Ей суждено было еще раз увидеть его издали, из окна ее камеры на Гороховой: его вели под конвоем на допрос.

Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова пришел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров и не работал. Несмотря на неподходящий ранний час, он предложил сыграть в шахматы. Отец согласился, — он ни в чем не отказывал сыну.

По-видимому, с исходом этой партии Леонид Каннегисер связывал что-то другое: успех своего дела? удачу бегства? За час до убийства молодой человек играл напряженно и очень старался выиграть. Партию он проиграл, и это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом, отец предложил вторую партию. Юноша посмотрел на часы и отказался.

Он простился с отцом (они более никогда не видели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортивная кожаная тужурка военного образца, которую он носил юнкером и в которой я часто его видел. Выйдя из дому, он сел на велосипед и поехал по направлению к площади Зимнего дворца. Перед Министерством иностранных дел он остановился: в этом здании принимал Урицкий, ведавший и внешней политикой Северной коммуны.

Было двадцать минут одиннадцатого.

V [32]

Смерть не была приглашена...
Из старой легенды.

Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от арки к Миллионной улице. Урицкий всегда приезжал в министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Каннегисер? Или он в предыдущие дни следил за народным комиссаром? Допускаю, впрочем, и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда приезжает тов. Урицкий: риск такого расспроса, жажда острого ощущения — «заподозрят? арестуют? — спросить надо равнодушно, Боже упаси побледнеть», — были в его натуре, все равно как звонок по телефону к Урицкому.

В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находится лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалки для верхнего платья по выбеленным стенам — вот убранство этой комнаты, выделяющейся своим жалким видом в великолепном дворце министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил на должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как большая часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «Ваше высокопревосходительство».

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил Каннегисер.

— Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно...

О чем он думал? О том ли, что еще не поздно отказаться от страшного дела, — еще можно вернуться на Саперный, пить чай с сестрой, отыграться в шахматы у отца или продолжать чтение «Монте-Кристо»? О том ли, что жизни осталось несколько минут, что он больше не увидит этого солнца, этой площади, этого растреллиевского дворца?.. О том, не пора ли взвести на «fire»[33] предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает?.. — Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый...

Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. В двадцать минут прошла слишком короткая вечность. Вдали, наконец, послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший конец...

Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий прибыл со своей частной квартиры на Васильевском острове.

Сколько смертных приговоров упорядоченного террора он должен был подписать в этот роковой день?

Другой приговор уже был составлен.

«Смерть не была приглашена». Она явилась без приглашения.

Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман...

Шеф Чрезвычайной комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине.

Посетитель поспешно сделал несколько шагов в его направлении.

Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий: смерть?

Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю, — если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять.

Поблизости в то мгновенье не было никого[34].

Убийца бросился к выходу...

Если бы он надел шапку, положил револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую счастливую случайность — и не мог идти спокойно. Конечно, он потерял в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как э т о будет. Это вышло н е т а к... Это всегда выходит н е т а к...

Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо — к Миллионной.

В комнате, где произошло историческое убийство, суматоха поднялась через минуту. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в остолбенении перед мертвым телом Урицкого. Еще неясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены.

Человек, который первым вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был любопытный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный — залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в художественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнать, куда ехать: юноша, мчащийся на велосипеде без шапки с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего дворца.

Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню.

На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами, — желая избежать пули в спину...

Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает.

Около дома № 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор.

Огромная усадьба Английского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы.

Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись.

Судьба была против него: ворота были заперты.

В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро начал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат, перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице...[35]

Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю, — я слышал разные версии. Он почти не защищался, во всяком случае не стрелял. Спастись было, конечно, невозможно: у ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда, враждебная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были арестующие. Он мог покончить с собой—зачем он этого не сделал?..

Убийца Урицкого был во власти Чрезвычайной комиссии.

---

[32] Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами источника, который я не имею возможности назвать.

[33] Огонь.

[34] Швейцар, должно быть, раскрывал перед «Его высокопревосходительством» дверь подъемной машины. Кабинет Урицкого находился в третьем этаже.

[35] Я могу ошибиться в деталях. Будущий Ленотр русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве Чрезвычайной комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшейся в несколько минут в усадьбе Английского клуба. Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание двадцатилетнего террориста.

VI

Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрёма имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию...

В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрёма, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных.

Дело об убийстве короля Густава III.

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы...

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять — и не могу...

Бурная душа Иоанна Анкастрёма прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за муками земной смерти их ждат вечное блаженство, купленное тяжкою ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sand's Himmelfahrtswiese» [88], толпились десятки тысяч людей, смотревших на него, как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие без публики на дворе Шлиссельбургской крепости, были по крайней мере уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы. У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор» ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых, — что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятья ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий [87], отвратительный мальчишка-садист, в десять раз превзошедший своего предшественника и начальника.

Об участи Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой...

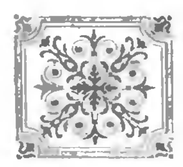
Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю, кому еще была отпущена судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слышу!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. Там должно открываться другое:

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него, хоть на миг, да иной...

---

[88] «Вознесение Карла Занда» (нем.).

[87] Сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина.



Из нашей почты

Двуликие Янусы «прогресса»

За последние годы мы стали свидетелями многих метаморфоз. Пример с В. Коротичем, воспевавшим в свое время брежневские мемуары, а ныне стоящим у руля «ударного» «Огонька», стал почти хрестоматийным. Но разве эта метаморфоза — единственная? Уверен: нас ждет еще много неожиданностей. Сюрпризы не заставляют себя ждать.

Открываем «Литературную газету» от 16 августа 89 г., наталкиваемся на крупный заголовок «Нужна «железная рука»?» и, конечно, не сомневаемся в риторическом характере этого вопроса; не сомневаемся, что услышим решительное «нет!», тем более что материал представляет собой интервью с двумя известными «прорабами перестройки» — И. Клямкиным и А. Миграняном. И напрасно не сомневаемся! Ведь не случайно некоторые нынешние «властители дум» пытаются насадить в качестве критерия «перестроечности» мышления способность сомневаться решительно во всем! (Кстати, эти усилия приносят свои горькие плоды — особенно в молодежной среде.) Так вот, на вопрос, заданный «Литературной газетой», отвечают «ДА!» — и кто же? Не Ю. Бондарев, которому определенная часть прессы усиленно пытается создать образ «реакционера», чуть ли не «душителя», а два автора с устойчивой «левой» репутацией!

Читаем в подзаголовке: «Путь к демократии — через диктатуру»; «Требуется Комитет национального спасения»; «Демократия нужна лишь для усиления власти лидера».

Вот уж воистину: «Не верь глазам своим!» Но не верить невозможно, и, после внимательного ознакомления с материалом и некоторых размышлений, становится ясно: парадокса тут нет. В конце концов разве XX век не демонстрировал человечеству многочисленные случаи идейной эквилибристики, смены полюсов, когда пламенные борцы за «свободу и гуманизм» затмевали деяния инквизиции — разумеется, во имя «свободы» же и «гуманизма»? Думаю, всем памятна шигалевская «классика»: «...Я запутался в собственных данных и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» [1]. У Томаса Манна есть имеющее горький привкус обретенного опыта замечание о «диалектическом процессе», «превращающем свободу в диктатуру ее сторонников» [2].

Так что не стоит застывать в изумлении. Ларчик, думаю, открывается просто. Ключик к «ларчику» — в следующих весьма откровенных словах И. Клямкина: «...старая политическая структура мешает реформам. И ее следует демонтировать... Однако целью демонтажа, и это надо осознавать, должно быть не развитие демократии (А мы-то, «глупые», думали... — А. Ш.), а усиление власти лидера-реформатора. Демократизация, как мы уже не раз говорили, вовсе не способствует реформам. (Да полно! Не говорили ли Вы «не раз» нечто совершенно иное? — А. Ш.) Вот, допустим, реформатор выступил за в в е д е н и е р ы н к а. Можно ли сделать это, опираясь на массы? Н е т, к о н е ч н о! 80 п р о ц е н т о в (! — А. Ш.) населения его не примут. Рынок ведь означает расслоение, д и ф ф е р е н ц и а ц и ю п о у р о в н ю д о х о д о в. Надо очень много работать, чтобы хорошо жить». (Разрядка моя. — А. Ш.)

Повторяю: откровенность поразительная. Додумать мысль И. Клямкина несложно: народ ленив и неповоротлив (в особенности, надо полагать, русский), и только «железная рука» способна пробудить его от «вековой спячки» (поневоле вспоминаешь стихотворение Евг. Евтушенко о «русских коалах», пребывающих, по мнению поэта, аж в «допетровском столбняке»).

Итак, «прорабский» дуэт вносит предложения, заведомо неприемлемые для большинства народа, т. е. предложения антинародные. В чем же тут дело? Не кроется ли за этим «казусом» явление?

Казалось бы, нет ничего общего между нашими «прорабами перестройки» и деятелями троцкистско-сталинского пошиба, идеологию которых так точно сформулировал Е. Замятин: «Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми». Какое может быть духовное родство между отрицателями всякого рынка Троцким, Сталиным и некоторыми нынешними «рыночниками»? А оно есть, это родство; оно — в одинаковой для тех и других концепции «прогресса», которая предполагает противостояние активного «прогрессивного» меньшинства (тут, думаю, уместно вспомнить понятие «малый народ», употребленное И. Шафаревичем в статье «Русофобия») и косной, пассивной людской массы (80%, по И. Клямкину), в борьбе с которой немногие и утверждают «прогресс». Эту концепцию, на мой взгляд, удачно проанализировал В. Сербиненко на примере творчества братьев Стругацких («Новый мир», № 5, 1989 г., «Три века скитаний в мире утопии»). Кстати, представители вышеназванного «активного меньшинства», так сказать, «носители огня», у Стругацких именуются «п р о г р е с с о р а м и», т. е. служителями «прогресса».

Такой «прогресс» требует жертвоприно-

---

[1] «Бесы». Ф. М. Достоевский.

[2] «Доктор Фаустус».

Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрёма имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию...

В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрёма, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных.

Дело об убийстве короля Густава III.

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы...

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять — и не могу...

Бурная душа Иоанна Анкастрёма прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за муками земной смерти их ждет вечное блаженство, купленное тяжкою ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sand's Himmelfahrtswiese»[88], толпились десятки тысяч людей, смотревших на него, как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие без публики на дворе Шлиссельбургской крепости, были по крайней мере уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы. У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор» ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых, — что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятья ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий[87], отвратительный мальчишка-садист, в десять раз превзошедший своего предшественника и начальника.

Об участи Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой...

Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю, кому еще была отпущена судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слышу!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. Там должно открываться другое:

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него, хоть на миг, да иной...

[88] «Вознесение Карла Занда» (нем).

[87] Сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина.



Из нашей почты

Двуликие Янусы «прогресса»

За последние годы мы стали свидетелями многих метаморфоз. Пример с В. Коротичем, воспевавшим в свое время брежневские мемуары, а ныне стоящим у руля «ударного» «Огонька», стал почти хрестоматийным. Но разве эта метаморфоза — единственная? Уверен: нас ждет еще много неожиданностей. Сюрпризы не заставляют себя ждать.

Открываем «Литературную газету» от 16 августа 89 г., наталкиваемся на крупный заголовок «Нужна «железная рука»?» и, конечно, не сомневаемся в риторическом характере этого вопроса; не сомневаемся, что услышим решительное «нет!», тем более что материал представляет собой интервью с двумя известными «прорабами перестройки» — И. Клямкиным и А. Миграняном. И напрасно не сомневаемся! Ведь не случайно некоторые нынешние «властители дум» пытаются насадить в качестве критерия «перестроечности» мышления способность сомневаться решительно во всем! (Кстати, эти усилия приносят свои горькие плоды — особенно в молодежной среде.) Так вот, на вопрос, заданный «Литературной газетой», отвечают «ДА!» — и кто же? Не Ю. Бондарев, которому определенная часть прессы усиленно пытается создать образ «реакционера», чуть ли не «душителя», а два автора с устойчивой «левой» репутацией!

Читаем в подзаголовке: «Путь к демократии — через диктатуру»; «Требуется Комитет национального спасения»; «Демократия нужна лишь для усиления власти лидера».

Вот уж воистину: «Не верь глазам своим!» Но не верить невозможно, и, после внимательного ознакомления с материалом и некоторых размышлений, становится ясно: парадокса тут нет. В конце концов разве XX век не демонстрировал человечеству многочисленные случаи идейной эквилибристики, смены полюсов, когда пламенные борцы за «свободу и гуманизм» затмевали деяния инквизиции — разумеется, во имя «свободы» же и «гуманизма»? Думаю, всем памятна шигалевская «классика»: «...Я запутался в собственных данных и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом»[1]. У Томаса Манна есть имеющее горький привкус обретенного опыта замечание о «диалектическом процессе», «превращающем свободу в диктатуру ее сторонников»[2].

Так что не стоит застывать в изумлении. Ларчик, думаю, открывается просто. Ключик к «ларчику» — в следующих весьма откровенных словах И. Клямкина: «...старая политическая структура мешает реформам. И ее следует демонтировать... Однако целью демонтажа, и это надо осознавать, должно быть не развитие демократии (А мы-то, «глупые», думали... — А. Ш.), а усиление власти лидера-реформатора. Демократизация, как мы уже не раз говорили, вовсе не способствует реформам. (Да полно! Не говорили ли Вы «не раз» нечто совершенно иное? — А. Ш.) Вот, допустим, реформатор выступил за введение рынка. Можно ли сделать это, опираясь на массы? Нет, конечно! 80 процентов (! — А. Ш.) населения его не примут. Рынок ведь означает расслоение, дифференциацию по уровню доходов. Надо очень много работать, чтобы хорошо жить». (Разрядка моя. — А. Ш.)

Повторяю: откровенность поразительная. Додумать мысль И. Клямкина несложно: народ ленив и неповоротлив (в особенности, надо полагать, русский), и только «железная рука» способна пробудить его от «вековой спячки» (поневоле вспоминаешь стихотворение Евг. Евтушенко о «русских коалах», пребывающих, по мнению поэта, аж в «допетровском столбняке»).

Итак, «прорабский» дуэт вносит предложения, заведомо неприемлемые для большинства народа, т. е. предложения антинародные. В чем же тут дело? Не кроется ли за этим «казусом» явление?

Казалось бы, нет ничего общего между нашими «прорабами перестройки» и деятелями троцкистско-сталинского пошиба, идеологию которых так точно сформулировал Е. Замятин: «Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми». Какое может быть духовное родство между отрицателями всякого рынка Троцким, Сталиным и некоторыми нынешними «рыночниками»? А оно есть, это родство; оно — в одинаковой для тех и других концепции «прогресса», которая предполагает противостояние активного «прогрессивного» меньшинства (тут, думаю, уместно вспомнить понятие «малый народ», употребленное И. Шафаревичем в статье «Русофобия») и косной, пассивной людской массы (80%, по И. Клямкину), в борьбе с которой немногие и утверждают «прогресс». Эту концепцию, на мой взгляд, удачно проанализировал В. Сербиенко на примере творчества братьев Стругацких («Новый мир» № 5, 1989 г., «Три века скитаний в мире утопии»). Кстати, представители вышеназванного «активного меньшинства», так сказать, «носители огня», у Стругацких именуются «прогрессорами», т. е. служителями «прогресса».

Такой «прогресс» требует жертвоприно-

[1] «Бесы», Ф. М. Достоевский.
[2] «Доктор Фаустус».

шений — человеческих, разумеется. На этом делает акцент и В. Сербиенко: «...приходит сталкер на поклон к этому главному «подарку» пришельцев, потребовавшему от него кровавой жертвы (как и полагается в таких случаях — невинного отрока)...» Все это, как говорится, до боли знакомо. И какая разница, если в одном случае народ «железной рукой», через ГУЛАГ и коллективизацию, загоняют в «светлое царство социализма», а в другом, той же рукой, через диктатуру «прогрессоров» — в рыночный «рай»? Для нас значение имеет одно: живет, хотя и сменив личину, мировоззрение, вполне допускающее новую попытку выгнать народ дубиной на дорогу «прогресса» — сейчас это называется «выйти на общую для цивилизации дорогу» (Н. Шмелев) или «стать Европой». Нельзя считать просто казусом тот факт, что от двух представителей нашего «перестроечного прорабства», критиков сталинизма и командной системы, мы услышали нечто напоминающее известный призыв времен Соловков: «Железной рукой (! — А. Ш.) загоним человечество к счастью!» Думаю, что этим «казусом» жизнь подтвердила правоту И. Шафаревича, сделавшего следующее глубокое обобщение в статье со знаменательным названием «Две дороги к одному обрыву» («Новый мир», № 7, 1989 г.): «Создание и укрепление командной системы не вызывало протестов в западном либерально-прогрессивном лагере, скорее сочувствие, стремление защитить ее от критики. Но положение в нашей стране стало вызывать раздражение, активную неприязнь, да больше того — восприниматься этим течением как нетерпимое, когда появились первые попытки вскрыть самые бесчеловечные аспекты системы, избавиться от них. Следовательно, можно предположить наличие какой-то духовной близости, каких-то существенных общих черт командной системы и западного либерального течения прогресса» (разрядка моя. — А. Ш.).

Статья И. Шафаревича появилась в июльском номере «Нового мира», а уже 16 августа, открыв «Литгазету», мы получили возможность убедиться в том, как легко под напором жизни лопается миф о противостоянии «сталинистов» и «либералов». Прав И. Шафаревич, показывая, что выбор между ними вообще не есть выбор; прав М. Антонов, говоря о «кавалеристах» и «купцах», что «оба эти направления равно ошибочны и ведут в тупики...» («Наш современник», № 8, 1989 г.).

Концепция вышеупомянутого «прогресса» предполагает вполне определенный тип ее воплотителя — речь идет о «пришельце», постороннем человеке, короче, о представителе самозваной элиты, «малого народа». (Кстати, в романе Стругацких «Трудно быть богом» «прогрессор» является в прямом смысле пришельцем, инопланетянином.) Этот типаж уже вовсю «погулял» в 20—30-х годах (в пролеткультовско-троцкистско-сталинском варианте: «рабочий-колонизатор», идущий «в дебри своей страны») и ныне возрождается, скажем, в теориях Клямкина—Миграняна под личиной «лидера-реформатора» с «железной рукой», борца за рынок. Сей «лидер» будет вершить своего рода «коллективизацию наоборот», навыворот, но «антиколлективизация» не обещает быть менее опустошительной, чем ее старшенькая «левая» сестренка.

Отношение к крестьянству — вот та «лакмусовая бумажка», показывающая, что ныне «прорабы перестройки» есть духовные выходцы из 20-х годов, хотя и носят не скрипучие «кожаны» а вполне штатские пиджаки. Троцкий, как известно, рассматривал крестьянство, т. е. абсолютное большинство населения страны, собственно народ, как врага, препятствие на пути осуществления своей лагерной утопии. Многие же нынешние критики лагерей, в частности И. Клямкин, вполне по-троцкистски записавший в «реакционеры» 80 процентов соотечественников, возлагают вину за неудавшийся «эксперимент», за те же лагеря на «темную» и «косную» деревню или на выходцев из деревни, так сказать, «извративших идею». Весьма примечателен в этом отношении ответ того же И. Клямкина на статью А. Ципко, осмелившегося поставить вопрос о доктринальных «истоках сталинизма» («Политическое образование», № 9, 1989 г.).

Конечно, за отношением к крестьянству стоит отношение к данной земле, ее культуре, своеобычности. «Малый народ», посторонние люди, вчера «железной рукой» насаждали «полную коммунию», считая, что «рабочая масса должна быть перебрасываема, назначаема, командируема, точно так же, как солдаты» (Троцкий); сегодня они не прочь той же «рукой» ввести «общество свободного предпринимательства». Что с них спрашивать, с посторонних людей, одинаково холодно примеривающих на страну различные варианты? Лики «прогрессоров» могут меняться, не меняется только их «бульдозерное» отношение к своеобычности стран и народов, остается неизменной их верность «техноцентрической», «беспочвенной» цивилизации. Не случайно И. Шафаревич поставил в один ряд трагедию североамериканских индейцев и российскую коллективизацию.

П. Паламарчук в книге «Едни Державин» (изд. «Молодая гвардия», М., 1986 г.) упоминает, что реформы Петра Первого, по словам писателя, «постигавшего» в Голландии «тамплиерские степени», стоили жизни каждому пятому русскому. Такова цена за первое приобщение «к Европе», к «цивилизации», так в тот раз прошла по России «железная рука», о которой сегодня ведут академические беседы наши «прорабы». Миллионы погибших только во время коллективизации[3], невосполнимые потери в генофонде — такова плата за еще одну атаку под флагом «прогресса» на «дремучую», «лапотную», «антисемитскую» (и т. д.) Русь. И после всего этого находятся люди (кстати, превозносимые радио «Свобода» как цвет современной отечественной мысли), которые говорят: «А не попробовать ли еще разок?» Конечно, на языке солидных статей это звучит иначе: «Сегодня нам предстоит нелегкое возвращение в цивилизацию». На эти броские слова И. Клямкина, опубликованные в февральском номере «Нового мира», «Наш современник» отвечает: «А вы не думаете, что обратный путь — тоже по костям? («Антиколлективизация»? Новый «великий перелом»?. — А. Ш.).

Какой должна быть отчужденность (разрядка моя.— А. Ш.), даже не от народа — от человечества, чьими гуманистическими ценностями так любят клясться просвещающие нас публицисты, чтобы объявить пройденный крестный путь бессмысленным!..» («Наш современник», № 5, 1989 г.). Да, сначала бессмысленным объявлялось все, что с нами было до 1917-го, теперь бессмысленным объявляется все, что после 17-го... Упоминание о «костях» оказалось весьма проницательным: спустя всего несколько месяцев после своего призыва «вернуться в цивилизацию» И. Клямкин повел речь о «сильной руке», которая и должна в очередной раз потащить нас в эту самую «цивилизацию».

Да, отчужденность... Пораженные ею в сердце, будто осколком волшебного зеркала из известной сказки, одни намечают пути в «рыночный рай», другие вычерчивают прожекты будущей внутренней структуры Союза: придумывают новые республики, перекраивают существующие, меняют статусы административных единиц — смотрите, например, статью В. Соколова «Демократия и границы» («Литературная газета» от 2 августа 1989 г.). Характерна картинка, сопровождающая статью: всем знакомый силуэт СССР, но вместо меридианов и параллелей — миллиметровые клетки, «миллиметровка». Вроде бы мелочь, но, повторяю, характерная: заведомо игнорируются вековые исторические, культурные, экономические, просто человеческие связи; тело страны представлено как табула раза, чистая доска. Такой же чистой доской был новый континент, будущая Америка для предприимчивых пришельцев.

Итак, не карта Державы, а «миллиметровка», приглашающая к экспериментам. И довершает картинку нависшая над силуэтом страны рейсшина... Вот уж «прорабы» так «прорабы»! Глаз не затуманится, рука не дрогнет...

Но вернемся к вопросу о рынке. Неплохо было бы выслушать и тех, кто далек от стремления видеть целью перестройки подгонку страны под западные образцы. Например, М. Антонов считает, что следование советам «купцов» «грозит полным развалом советской экономики». В статье «Выход есть!» («Наш современник», №№ 8, 9, 1989 г.) М. Антонов пишет о существовании в стране «компрадорской» буржуазии, «сверхбогатых людей — мультимиллионеров», зачастую образующих «вторую власть», «вторую экономику», имеющих своих идеологов в лице модных ученых-экономистов и кровно заинтересованных в сближении с Западом, в развертывании рынка. Так что же, снабдить наших «компрадоров», по рецепту И. Клямкина и А. Миграняна, дубинкой «прогрессивной», точнее, «прогрессорской», автократии? Сделать «вторую власть» «первой»? Ясно, что брезжит за такими рецептами: «перестроечный» вариант буржуазной диктатуры (в утешение, скажем, Н. Эйдельману, много сокрушающемуся из-за «относительной небуржуазности» России). Не случайно, видимо, И. Клямкин во время беседы о достоинствах «железной руки» считает нужным «успокоить» читателей: «Наполеон — это ведь не только диктатура, но и кодекс Наполеона (правовая реформа), закрепление прав собственности, развитие рынка. То есть он железной рукой создавал условия для согласия, гармонизации».

«Ну полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» Послушаешь наших «поборников прогресса» и поневоле вспомнишь этот вопрос из великого романа, на страницах которого дана беспощадная анатомия наполеоновского «права» попирать «дрожащую тварь» — «косное» большинство. В русской традиции с образом Наполеона связаны не упования на «гармонизацию», а следующие строки: «...Руки его были в крови, и липли. Топор он опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколотом блюдечке, кусочек мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки...»[4] Думаю, не случайно об «императоре французов» на Руси шла молва как об антихристе... И те, кто верен отечественной духовной традиции, не согласятся с «наполеоновскими» симпатиями наших «прорабов». Например, В. Карпец пишет: «Согласно буржуазному толкованию свободы, не изменившемуся и к настоящему времени, она обязательно должна быть письменно регламентирована как «права человека» и распространяться по всему миру, причем, для распространения ее годятся все средства — от меча до подкупа и создания «общественного мнения». Единообразие это в конце концов должно завершиться провозглашением всемирного государства (разрядка моя.— А. Ш.), в котором все оттенки человеческой культуры должны быть заменены единообразной организацией жизни, и в качестве конечной цели, установлением всемирной диктатуры (разрядка моя.— А. Ш.), и тогда отжившая и выполнившая свое назначение «свобода» будет выброшена на свалку. Именно это понимание свободы нес миру Наполеон, хотя мечта его была явно несбыточной — в то время для осуществления ее не было еще подходящего уровня промышленности, техники и общественных отношений, и самое главное, не разрушены «свободным обменом информацией и идеями», как сегодня говорят новоявленные искатели мирового господства, исторически сложившиеся границы между государствами и народами» (В. Карпец, «Муж отечестволюбивый», М., «Молодая гвардия», 1987 г.).

Приходит на ум «еретическая» мысль: а не завязывается ли за дымом и громом развернувшейся ныне критики авторитаризма, командной системы узел нового авторитаризма, новой командной системы — только уже для кого-то своей? И если раньше считалось, что мы шагаем в «близкий» коммунизм, то теперь, надо полагать, шагнем

---

[3] «...Чтобы пятнадцать миллионов крестьян безвинных полегло» (В. Солоухин. «Настала очередь слов», «Наш современник», № 9, 1989).

[4] Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».

в «западный рай» — через «расслоение и дифференциацию», т. е. через обогащение одних (и без того богатых) и обнищание других, почти нищих и сегодня. А если эти «другие» занервничают — на то есть «прогрессивная» «железная рука», «наполеон», равно как и на случай протестов против превращения страны в колониальный придаток Запада и всемирную свалку. «Наполеон» же успокоит и всевозможных «шовинистов» — ведь не так давно (в 1987 году) Европарламент выступил с осуждением «Памяти», безапелляционно причислив ее к фашистским организациям (о чем поспешили сообщить «Московские новости» от 16 августа 1987 г.). Разве наша «железная рука» дерзнет не прислушаться к голосу «мирового сообщества», «цивилизации», коль скоро мы туда «вернулись»?

...Итак, за нас вновь рассчитывают «математически безошибочное счастье» — на этот раз, похоже, на компьютере. Уж не на том ли, который некоторые «прорабы» (например, Ю. Карякин) намерены подключить к так называемому «всемирному банку памяти» — «...памяти не просто о нейтральных фактах, но и о поступках наших» (!), что А. Ланщиков метко назвал «планетарным НКВД» («Литгазета» от 2 февраля 1989 г.)? Как видим, планы у наших «прорабов» воистину «наполеоновские»! Разве можно не различить в них нечто от замыслов тех, «земшарных», «пермвиентных» революционеров? Только те пели «Мы на горе всем буржуям», а у нашего времени какая будет песня? «Мы на радость всем буржуям»?

Конечно, все помнят, как образно сказал А. И. Герцен о западниках и славянофилах: «...мы, как Янус или двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». Да, Герцен и Хомяков были едины в боли о России, в вере в нее. И вот перед нами иной Янус. Одним своим ликом он — Санта Клаус с ватной бородой плюрализма и гласности; другой же лик «диалектически» бронзовеет мыслью о «диктатуре сторонников свободы». Эти лики летучи, обманчивы: глядишь, а перед тобой уже не тот, а другой; и так же летуче, обманчиво, взаимозаменяемо то, что созерцает наш Янус: в одну сторону — черные колымские дали, опутанные «колючкой» и рассекаемые лучами прожекторов; в другую — льдистые фасады Манхэттена и каменная «богиня» с факелом, каменный пламень которого недавно позолотили, — с факелом Мамоны. Что же за сердце у этого Януса, объединяющее его призрачную двуликость? Это сердце — Утопия. И нет в нем ни боли, ни веры. Как нет и Любви.

Алексей ШИРОПАЕВ,
Москва.

К ВОПРОСУ О КОЛЛЕКТИВНЫХ ПИСЬМАХ

В журнале «Наш современник» (1989, № 11) напечатана статья Д. Ильина и В. Провоторова «Кто Вы, доктор Тимофеев-Ресовский?». В этой статье приводятся имена авторов ходатайства в Верховный суд СССР с просьбой реабилитировать Тимофеева. В их числе упоминается и моя фамилия.

Должен заявить, что никаких ходатайств в Верховный суд СССР о реабилитации Тимофеева я не подписывал. В суматохе многолюдья, после моего доклада, перед интервью телевидению, которое находилось тут же в фойе зала, я подписывал текст из 6—8 строчек о согласии с тем, что Тимофеев не является невозвращенцем. Основанием для такого мнения было то, что Тимофеев в Берлине в 1945 г. добровольно сдался в плен советским войскам. Никаких других подписей под этим текстом не было. Я ничего не знал о ходатайстве и ни с кем из подписавшихся под ходатайством не говорил о деятельности Тимофеева.

Я всегда считал, что работа Тимофеева в пользу Германии, в годы 1941—1945, когда Германия обрушила на СССР свою военную машину, является аморальной. Было бы нелепым, если бы я подписался под ходатайством в Верховный суд СССР. Я высказывал свою точку зрения Д. Гранину, который до опубликования своего романа «Зубр» пришел ко мне с вопросом: почему я высказываю недоброжелательность к Тимофееву? Гранин в романе приводит этот разговор, не упоминая моего имени. Однако из текста ясно, с кем он говорил. Гранин беллетристически пересказывает нашу беседу, но в извращенном виде, он, в частности, не упомянул о моих словах, что Гранину не удастся уверить читателя, что работа Тимофеева в Берлине все годы войны, вплоть до ее окончания, как-то может быть оправдана.

В начале 1989 г. в издательстве «Политическая литература» вышло 3-е издание моей книги «Вечное движение». В этой книге сказано следующее о пребывании и работе Тимофеева в фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. В 1925 году Тимофеев «и его жена Елена Александровна Фидлер выехали из Москвы в командировку в Германию. Они не вернулись, остались работать в пригороде Берлина Бухе, в институте биологии Кайзера-Вильгельма. В 1929 году Тимофеев был назначен директором Отдела генетики и биофизики этого института. Работая в Германии в течение 20 лет, он выполнил ряд крупных работ по радиационной генетике и по эволюции популяций.

В 1941-м и 1942 годах вместе с Х.-Дж. Борном и К.-Г. Циммером он изучал биологические эффекты, возникающие при действии нейтронов. Военное министерство фашистской Германии и имперский полномочный представитель ядерной физики заключили с Отделом генетики и биофизики несколько контрактов по изучению биологического действия нейтронов.

В книге Д. Ирвинга сообщается, что среди захваченных немецких документов обнаружено письмо, написанное в 1944 году Раевским, сотрудником института Кайзера-Вильгельма. В этом письме Раевский сообщает полномочному представителю по ядерной физике, что его группа, в числе прочих, выполняет работу по изучению «биологического воздействия корпускулярного излучения, включая нейтронное, с точки зрения его использования в качестве оружия»». Д. Гранин в романе «Зубр», описывая жизнь Тимофеева в Германии, уверяет читателя, что у него вызывали тревогу вести из Советского Союза, что Н. К. Кольцов советовал Тимофееву оставаться в Германии и не возвращаться в СССР. Тимофеев свободно выезжал из Германии. По Гранину, «до начала войны с Англией и Францией, да и позже ему выпадало несколько случаев выезжать в Скандинавию, Соединенные Штаты, Италию».

При таких возможностях Тимофеев упорно держался за свое место в Берлине. Гранин недоумевает, почему во время войны против СССР Тимофеев «отсиживался у фашистов за пазухой. Однажды я заупорствовал, выжимая из него что-то более определенное, но он отмахнулся».

Трудно судить о мыслях Тимофеева. Он не посчитал нужным рассказать, почему остался в Германии после 1927 года, когда положение генетики в СССР было нормальным, а до 1937 года было еще 10 лет. Почему он не покинул Германию в годы 1939—1940? Что было основой его работы в Берлине в годы 1941—1945, когда фашистская Германия вела войну против СССР?

Если мы обратимся к внешним обстоятельствам процветания Тимофеева в Германии в годы войны, то Гранин не сообщает читателю, что лаборатория Тимофеева входила в Урановый проект, который курировали фашистские спецслужбы.

Лаборатории Уранового проекта пользовались привилегиями. Специальность Тимофеева была далека от ядерной физики. Однако у него был контакт с физической лабораторией института Кайзера-Вильгельма, которая имела источники ионизирующих излучений и работала по технологии плутония. Результаты лабораторных исследований Тимофеева должны были быть использованы для оценки биологического влияния радиации в случае практического применения атомного оружия» (стр. 353—355). Это написано в 1989 году. В первом издании, 1973 г., и во втором издании книги «Вечное движение», 1975 г., дана характеристика невозвращения Тимофеева на Родину. В обоих изданиях книги написано: «Н. В. Тимофеев-Ресовский... покинул Россию в ее трудное время, в начале 20-х годов... Страна напрягала все силы, чтобы создать кадры специалистов. Каждый ученый стоил России больших материальных средств и нравственных забот. Однако будущее СССР, предвиденное Лениным, оправдало жертвы народа. В этих условиях оставление отчизны, воспитавшей их, было ужасным» (издание 1973 г., стр. 351; 1975 г., стр. 372).

Тимофеев переступил и эту грань. Во время войны с Германией он работал на фашистское государство.

В заключение выскажу замечание по статье в «Нашем современнике». Новое расследование так рельефно охарактеризовало деятельность Н. Тимофеева-Ресовского, что вряд ли имело смысл ссылаться на следственные материалы 46 года.

Н. П. ДУБИНИН, академик.

ИСТИНА ПО-ВЕНГЕРСКИ

Пишет вам А. Б. из Будапешта. В первую очередь я занимаюсь венгерской литературой XX века, но время от времени пишу и про русских писателей.

По сегодня уже ясным причинам, как и подавляющее большинство венгерской интеллигенции, я тоже читал в первую очередь «Московские новости» как ведущий орган перестройки. Но в один прекрасный день в этом еженедельнике была опубликована статья И. Шафаревича, в которой он ссылался на статью В. Кожинова «Правда и истина» («Наш современник», 1988, № 4). Поскольку излагаемые Шафаревичем мысли были мне очень близки, я сразу прочел и статью В. Кожинова. Эта прекрасная работа оказала на меня глубочайшее впечатление. У нас журнала такого направления, как «Наш современник», уже не существует. Венгерские Яновы и Коротичи у нас достигли большого успеха, и нам осталось только безоговорочное согласие с ними (вот тебе венгерский плюрализм мнений!). С упомянутого времени уже регулярно читаю «Наш современник» и теперь собираюсь писать статью об односторонности сообщений, предлагаемых нам венгерскими корреспондентами в СССР и другими средствами массовой информации.

А. Б.
Будапешт, Венгрия.

От редакции: автор просил не указывать его фамилию...

ЗАПРОС И ОТВЕТ

Знакомое послышалось и том разговоре на тему «Как демонтировать «образ врага», который продолжил 13 декабря 1989 года на страницах «Литературной газеты» народный депутат СССР от Харьковского территориального округа № 520 Евг. Евтушенко.

«Как бы компенсируя отсутствие «образа врага» зарубежного, — пишет он, — мы позорно начали преуспевать в конструировании этого образа из собственных соотечественников на национальной и социальной почве...»

И далее:

«Хватит лепить «образ врага» из евреев — их и без того осталось совсем немного, и нам угрожает трагическая утечка крупных ученых, инженеров, врачей, музыкантов, если мы не гарантируем им безопасность от бесконечных, никем не останавливаемых оскорблений. Настало время, когда Центральный Комитет КПСС и Верховный Совет должны наконец четко и определенно издать постановления, осуждающие и антисемитизм, и антирусизм, и антилатышство, и антиармянство, и все прочие виды национализма и шовинизма. Пора применять против этого конкретные судебные меры...»

Каждый народный депутат СССР, как известно, волен обращаться в любые инстанции с депутатским запросом. Евг. Евтушенко придется, очевидно, несколько обождать с партийно-правительственными постановлениями, осуждающими «и антирусизм, и антилатышство, и антиармянство». Сии понятия, вышедшие из-под его пера, не успели еще достаточно укорениться у нас «на национальной и социальной почве». Что же касается соответствующего постановления «Об антисемитизме», оно давно уже известно не только нашим соотечественникам.

Так называлась заметка, опубликованная 30 ноября 1936 года газетой «Правда». Точнее, была то не заметка, а — «Ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки».

В ответе том говорилось:

«Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма...»

И далее:

«В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью.

И. Сталин».

Думается, что этот ответ известного деятеля Коммунистической партии и Советского правительства вполне созвучен депутатскому запросу Евг. Евтушенко и полностью его удовлетворит.

Александр МОРОЗОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР АНАТОЛИЮ ДМИТРИЕВИЧУ ЗНАМЕНСКОМУ ЗА РОМАН «КРАСНЫЕ ДНИ» ПРИСУЖДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РСФСР ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО ЗА 1989 ГОД.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК» СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА С ЗАСЛУЖЕННЫМ ПРИЗНАНИЕМ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ.

Читайте в следующем номере:

Продолжение романа **«Красное колесо»** Александра СОЛЖЕНИЦЫНА.

Статью Валентина РАСПУТИНА **«Ищите женщину».**

Записки Петра СТОЛЫПИНА.
